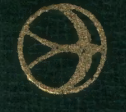
М. Барышев



Вороний мыс



Михаил Барышев

Вороний мыс

Повести, рассказы

«Современник»
Москва
1978

Р2
Б 26

Барышев М. И.

Б 26 Вороний мыс. Повести, рассказы. М., «Современник», 1978.

352 с. (Новинки «Современника»).

В книгу Михаила Барышева, хорошо известного широкому кругу читателей по его романам «Листья на скалах», «Потом была победа», «Вторая половина года», вошли новые повести и рассказы, в которых раскрывается нравственный облик советского человека, показана героика Великой Отечественной войны и мирных дней нашей жизни.

Б $\frac{70302-066}{М106(03)-78}$ 4—78 Р2

Вороний мыс

(Повесть)

Глава 1

Темные, налитые угрюмой силой волны катили, равнодушные ко всему, что было на пути. Играючи поднимали мотобот, задерживали его на гребне, словно раздумывая, что делать с деревянной скорлупкой, упрямо ползущей по фиорду, и скидывали вниз, в провал воды, в жидкую яму.

У Кобликова екало сердце, в груди становилось холодно, и тошнотворная муть круто подкатывала к горлу. Он хватался за дощатую обшивку рулевой рубки и измученными глазами смотрел вниз, в пропасть, куда он летел вместе с утлым суденышком.

Тупой нос мотобота со свежей латкой от очередной пробоины с шумом раскалывал воду, вздымал вихрь колких брызг, поплавком вылетал на поверхность и, надсадно тарахтя мотором, принимался одолевать новую гору, взбираться на ее рябой, взлохмаченный откос.

Упустив добычу, волна зло выгибала шевелящуюся спину, отбеливала ее пеной. Почуяв берег, заламывалась и с тяжким уханьем кидалась на вековечную преграду. Хлестала гранит пенным огнем, крутилась водоворотами, взметывала крутые буруны, разбивалась и уползала, чтобы набрать новую силу.

В чреве мотобота надрывался, чихал едким дымом разболтанный мотор. Стенка рулевой рубки натужно вибрировала, будто в нее, как в больной зуб, вгрызалось сверло бормашины.

Прижавшись лицом в шершавой обшивке, ефрейтор Кобликов плакал. Глотал сухие слезы, по-мальчишески всхлипывал и кривил губы.

Узкие плечи со смятыми погонами, перечеркнутыми замусоленными лычками, беспомощно вздрагивали. Грязный воротник шинели шуршал и при каждом движении немилосердно резал шею.

Надсадная тряска корпуса тупо отдавалась в голове, но оторвать лицо от стенки Ленька Кобликов не мог. Вместе с ботом качался фиорд, качались скалы и небо.

Крашеные доски рулевой рубки казались ефрейтору последней опорой.

— Заколеешь, парень,— сказал сырым басом матрос, сидевший на корме возле самодельной тумбы, на которой был пристроен тупорылый «максим», уставивший в небо сосок пулеметного дула.

У матроса было круглое лицо с белыми бровями альбиноса и коротко вздернутый нос.

— Заколеешь, говорю... Спустись в кубрик. Здесь ветром насквозь прохватывает, а у тебя на шинели эвон какое окошко...

Ленька поглядел на матроса осоловелыми от качки глазами и попытался прикрыть прореху на боку шинели.

— Не пойду. Душно там и тошнит...

— Тогда закури... Обогрейся табачком.

— Я не курю.

— Не поспел, выходит, выучиться,— шумно вздохнул матрос, сбил с головы капюшон брезентового плаща и достал кисет из оленьей замши с нарядными, цветного сукна, прошвами.— Курить еще не умеешь, а тебе такая маета выпала... Эх, жизнь, кузькина перечница...

Он свернул цигарку, зажав ее в щепоть, как это делают люди, привыкшие быть на ветру, и пыхнул дымком.

— Второй-то жив?

— Жив... У него воспаление легких.

— А ты откуда знаешь?

— У меня мама доктором работает... Под Воронежем... Я тоже хотел в медицинский поступать... На врача.

— Тогда, конечно,— согласился матрос,— должно быть у тебя понятие. Болезнь — это легче. Пуля враз человека кончает, а болезнь докторам время дает... Часа три еще нам ходу. Вывернемся в море, пройдем мимо

острова, и считай, что дома... Туману хорошо навалило, в самый раз подсыпало. Хоть ночью и пришлось из-за него постоять, зато теперь идем, как у бога за пазухой... На прошлой неделе нас здесь «юнкерс», зараза, прищучил. На велику силу отвертелись. Разве «максимкой» «юнкерс» осилишь? Что для него эта пукалка?..

Матрос хлопнул ладонью по ребристому, в облезлой краске и осколочных вмятинах, кожуху пулемета — единственной защите старенького рыбацкого мотобота, вот уже три года отбывающего нелегкую службу под военным номером.

— Рулевого, Петра Игумнова, тогда у нас убило и корму насквозь исклевало очередями...

Ленька скользнул глазами по приземистой корме, где еще сохранялся вал для спуска дрифтерных сетей, и увидел в деревянном настиле строчки перекрещивающихся выбоинок.

— Корму исклевало, живого места нет, а меня вот не царапнуло... Поди знай, как иной раз бывает... Восьмой уж я на боте пулеметчик. Туман — это хорошо...

Лохматым одеялом туман укутывал фиорд от берега до берега. Лишь у выхода в океан, у высокого мыса, к которому направлялся мотобот, тугой ветер разгонял дымчатые хвосты. Теребил их, мял, разрывал на клоки и отбивал от воды вверх, где они сливались с низкими, набухающими дождем облаками.

— Пять дней, значит, на Вороньем мысу высидели? — снова заговорил матрос. В голосе его ощущалось ненавязчивое человеческое участие. Говорил матрос потому, что одиноко было сидеть у пулемета, уставленного в пасмурное, затянутое мутной наволочью небо, потому, что услышал он возле рубки булькающие звуки и догадался, что плачет молоденький ефрейтор, оцепенело прижавшийся к стенке.

Матрос рассмотрел желоб ребячьей, неокруглившейся еще шеи, выглядывающей из просторного ворота шинели, и захотелось ему, по добросердечию, растолковать Кобликову, что на войне слезами ничего не выплачешь. Понимать солдату такое полагается...

— Пять,— откликнулся Ленька, сглотнув стыдные слезы.— Пять суток...

— Досталось вам... Проклятое место этот Вороний мыс. И в мирное время там по своей охоте человеческая

нога не ступала, а уж в войну... Зима, считай, к горлышку подходит... В холода страсть как худо на боте плавать... Трое, значит, из вашей группы полегло?.. Боле половины...

— Трое,— подтвердил Ленька и посмотрел на правый борт. Там из-за рубки торчали кирзовые сапоги. Расхлестанные, вытертые на сгибах, со стоптанными каблуками. На правом темнела аккуратная, умело прострочeнная двойным швом союзка.

Леньке Кобликову была хорошо знакома союзка на сапоге. За пять суток, когда он ползал по скалам Вороньего мыса, кирзачи с обсоюзенными головками частенько оказывались перед его глазами.

Теперь в окаменелой неподвижности рыжих солдатских сапог — безразличие смерти, равнодушие небытия, в котором не было слез, горьких дум, усталости, тошнотворной зыби, надоедливых разговоров матроса, страха перед непоправимой бедой, навалившейся на плечи ефрейтора Кобликова.

Ленька не видел, как умер сержант Докукин, недолгий командир разведгруппы. Ночью, когда Докукина переносили на бот, он еще стонал, отплевывал розовую пену и хрипло бормотал бессвязные, неразборчивые слова.

Докукина спустили в кубрик, перевязали рану на животе и уложили на койку.

Разомлев в тепле кубрика, Кобликов забылся тяжелым сном. Проснулся он словно от неведомого толчка. Круто вскочил, ударился головой о балку, разглядел тусклый свет, пробивающийся в иллюминаторы, ощутил надрывную дрожь корпуса и сообразил, где находится.

Докукина в кубрике не было. На нижней койке темнел на досках свернутый полосатый матрас.

«Где же сержант?» — удивился Ленька, и в это время кубрик стремительно начал проваливаться вниз. Тело стало неожиданно легким и пустым. Заполняя пустоту, полезла к горлу тошнотворная муть. Ефрейтор метнулся к трапу, выскочил на палубу, с облегчением ощутил свежий воздух и сырость тумана.

Тут он увидел по правому борту знакомые кирзовые сапоги. По неестественно развернутым носкам, по не-

живой тяжести распластанного тела Ленька угадал, что сержант мертв.

До боли, будто наотмашь чиркнули бритвой, зашлось, захолодело сердце. Придерживаясь за леер, Кобликов боязливо подошел, поднял волглую палатку и увидел мертвые глаза, провально закатившиеся в глазницы, тупой клин подбородка с густым высевом щетины и руку в крупных, истомленных работой жилах, с острыми, широко расставленными суставами и косой ссадиной, затянутой растрескавшейся коростой. Короткие пальцы были полусогнуты. Словно сержант напоследок хотел сжать их в кулак, а сил не хватило.

Ленька не мог представить, что эта рука уже не сделает ни одного движения, не шевельнется, не вздрогнет...

Ефрейтор медленно опустил пестрокрашеную, жестянно прошелестевшую плащ-палатку с бурыми пятнами ссохшейся крови, и сердце торкнулось где-то под самым горлом.

Не засни он в кубрике, может, был бы жив сержант Докукин. Ведь иногда немного надо, чтобы уберечь тонкую ниточку, которая в последний миг протягивается между жизнью и смертью. Порой дает ей окрепнуть глоток воды, кровь, остановленная повязкой на единственном том немыслимом пределе, шинель, подсунутая под голову, пуговица, расстегнутая на воротнике...

Ленька спал, а в это время ушел из жизни человек, ставший ему близким за страшные пять долгих суток, проведенных на Вороньем мысу.

Может, мучился Докукин последние минуты. Может, хотел сказать самое важное, самое нужное слово, попросить о чем-нибудь... Может, звал он Леньку, кричал, из последних сил, размыкая губы...

Эти мысли, вдобавок ко всему, что довелось пережить, обессилили Кобликова. Опоры, помогавшие держаться, сломались, и Ленька почувствовал опустошенность. Сил хватило только на то, чтобы припасть щекой к стенке рулевой рубки и реветь от беспомощности, страха и усталости.

Собственная жизнь показалась вдруг Кобликову бессмысленной и ненужной. Ленька плакал о себе, как о ком-то постороннем, измученном и обманутом войной. Этого постороннего ему было искренне жаль, так как

он хорошо знал его и никогда не думал, что на него свалится столько бед...

Под шинелью, под погонами с ефрейторскими лычками так и продолжал пока жить мальчик, которого мать и друзья называли Ленчиком. Который еще недавно сидел за партой, зубрил бином Ньютона и писал сочинения о Павке Корчагине. Играл в футбол, заседал в школьном комитете комсомола, собирал лом и теплые вещи для фронта, слушал сводки Информбюро и повязывал в сырую погоду шею теплым шарфом. Читал про Пастера и Мечникова. Мечтал, что станет нейрохирургом, что появятся книги в тяжелых переплетах, на которых будет стоять его фамилия.

Война сменила одежду, но не могла единым махом переделать Ленчика в ефрейтора Кобликова, стереть в памяти, в душе семнадцать прожитых лет.

Переделать не могла, но навалилась на еще не окрепшие плечи немыслимой, беспощадной тяжестью.

Не пришла еще к Леньке мужская воля, не оберегал его опыт прожитых лет, не было у него в жизни потерь, потому что не успел он еще ничего нажить. А солдатская шинель рывком распахнула перед ним дверь в войну. И с первых же шагов встретил там Ленька смерть, кровь, пожарища, нечеловеческую усталость и обнаженную жестокость схваток.

Много надо иметь силы, воли, умения, чтобы идти по узкой, гремящей разрывами и свистом пуль, фронтовой кромке между жизнью и смертью.

Только сообразил все это ефрейтор Кобликов поздно, потому что мотобот с каждым выхлопом дыма, с каждым оборотом винта приближал его к суду военного трибунала. Суд тот будет скорый и справедливый.

Виноват ефрейтор Кобликов тяжко. Погубил он, наверное, не одну сотню людей. Малой мерой сможет ответить, когда выведут его без погон перед строем солдат, зачитают приговор и своя же пуля оборвет семнадцатилетнюю жизнь Леонида Васильевича Кобликова, бывшего ефрейтора, бывшего радиста, бывшего комсомольца, десять месяцев назад окончившего десятилетку в тихом селе Заборье, что раскинулось на берегу русской реки среди полей и березовых перелесков, стекающих с заречных холмов. Добровольца, ушедшего раньше срока на фронт, чтобы сражаться за свободу, честь и незави-

симость Родины. Единственного сына пожилой несуетливой женщины, вот уже два десятка лет с утра до вечера хлопочущей в деревянной больничке, оберегая жизнь людей.

Некому будет защитить Леньку Кобликова, потому что из разведгруппы, посланной на Вороний мыс, он один возвращался живым и здоровым.

Ленька вдруг испугался, что Докукина не довезут до роты. В книжках пишут, что тех, кто умер в море, зашивают в парусину и спускают за борт.

— К ногам что привяжут? — спросил он матроса.

— К каким ногам?

— Про сержанта спрашиваю...

— Вот ты о чем,— догадался матрос и невесело усмехнулся озябшими губами.— Ничего привязывать не будем. На земле жил, земля и примет. Сколько лиха эта война, кузькина перечница, сотворила... Будут люди потом могилки разыскивать, чтобы душой успокоиться, тяжесть с нее снять. Не каждое ведь материнское сердце похоронке поверит... Ребятишки-то у него есть?

— Есть... И жена... Недалеко здесь... Лахта — так его деревня называется.

— Не слыхал... Видишь как, а ты что придумал,— укоризненно продолжил матрос, привычно обшаривая глазами небо.— За борт, да в воду... Похоронить надо вашего сержанта на твердой земле и памятку домой отписать честь по чести...

Сквозь прорывы тумана виднелись скалы. Неуютные стены сопок, обступившие фиорд угрюмой навесью гранита. Слева по борту они обрывались Вороньим мысом.

На юге раскатисто грохотало. Словно там, забавляясь, катали по каменной столешнице чугунные шары. Расстояние и низкое небо скрадывало разливающийся грохот. В нем, как в раскатах дальней грозы, нельзя было различить отдельные удары, но ясно было, что гроза бушевала нешуточная.

— Поддают наши жару егерям,— сказал матрос, вытащил кисет и снова принялся скручивать цигарку.— С раннего утра началась артподготовочка... Теперь, наверное, уже через фиорд перескочили и сели егерям, как чирей на губе...

Ленька молчал. Он услышал далекую канонаду сразу, как оказался на палубе. И тогда же понял, что опоздал. То, что теперь сообщит он капитану Епанешникову, окажется ненужным и не снимет вины с радиста Кобликова.

Глава 2

А если егеря нам по правому флангу стукнут?

Голос начальника штаба дивизии был с простуженной хрипотцой. В прищуре пухлых век скользило раздражение.

— Теоретически возможно, товарищ полковник. Но с точки зрения здравого смысла немцам разумнее сосредоточить резерв для контрудара на левом фланге, на подходах к береговым батареям... Я лично...

— Вот-вот,— сварливо перебил полковник и крутнул бритой головой.— Может, как раз егеря и рассчитывают на здравый смысл капитана Епанешникова, на его личное мнение... Если бы на войне все по правилам делалось, много легче было бы воевать. А тут иной раз получается, что самое неправильное самым верным оказывается... Смотрите сюда!

На истертой, залохматившейся карте были извилистые линии высоток, ядовито-зеленые пятна торфяных болот, кудрявые завитушки полярных березок и ерника, синие овалы озер и голубой разлив океана, причудливо изрезанного фиордами, бухтами и заливчиками.

— Авиаторы засекли движение катеров противника на Вороний мыс из норвежского рыбачьего поселка. Вот здесь!..

Твердый ноготь начальника штаба прошелся по раскрашенной бумаге, оставив вмятую линию. Она протянулась от берега через залив к остроконечному мысу, смахивающему очертаниями на голову птицы: каменная ворона разевала клюв. Это была маленькая бухточка на западном берегу мыса, единственный подход со стороны моря. В остальных местах берега обрывались неприступными срезами гранита. «Голова» соединялась с берегом узким перешейком, переходящим в пологий склон, на котором располагались береговые батареи, прикрывавшие город. По батареям дивизия должна была нанести первый удар, чтобы смять немцев, обре-

ченно цеплявшихся за каждую скалу, за каждый фиорд, мыс и распадок между сопками. Овладеть городом, портом и оседлать единственное в здешних местах шоссе.

— Или вы считаете, капитан, что егеря на катерах в собственное удовольствие раскатывают? Занимаются морскими оздоровительными прогулками?..

Епанешников молчал. Он по опыту знал, что полковнику надо дать выговориться, снять ненужное напряжение таким вот ехидненьким и, в сущности, не злым ворчанием. Поэтому командир разведывательной роты с деланным вниманием рассматривал знакомое ему изображение мыса на листе бумаги, разлинованном квадратами, усеянном множеством цифр, обозначавших высоту сопок, которых на карте навалом. Только в полосе обороны дивизии их наверняка хватило бы на иную область...

И все сплошь безымянные, пронумерованные до тошноты, без единого живого названия.

Третий год воюет капитан Епанешников на краю земли. Досталась ему в солдатской доле черствая горбушка. Гранитные сопки, торфяные болота, вода и камни, собачий холод, ветры, сбивающие с ног, непролазные заметы снега, комарье, заунывные дожди, валуны и кочки.

— Неделю назад лейтенант Кременцов был с разведчиками на Вороньем мысу,— сказал командир роты.— Прошел вглубь, до озерка. Обнаружил лишь отдельные дозоры и наблюдателей на сопках...

Епанешников не мог принять опасений начальника штаба. Удобных подходов к мысу нет. В бухточку на западном берегу могут пройти только мелкосидящие катера. Бессмысленно немцам накапливать здесь кулак для контратаки.

Выход с мыса просматривается наблюдателями почти во всю ширину перешейка. Контратакующих гитлеровцев можно здесь легко накрыть из-за фиорда артиллерийским огнем и «эрэсами» гвардейского минометного полка.

Катера, замеченные летчиками, наверняка везли обычные припасы егерским дозорам на Вороньем мысу.

— Знаю, капитан, что было неделю назад. Меня интересует, что произойдет, когда наши батальоны пойдут за фиорд к береговым батареям. На войне не только саперам ошибаться нельзя. К начальникам штабов и ко-

мандирам разведывательных рот эта присказка тоже относится. На мысу в скалах нехитро и полк спрятать.

Палец полковника снова прошелся по карте. По выгибу тонкой линии, где сливалась бурая раскраска сопок и голубизна океана.

— По самому берегу могут пройти. Во время отлива. Западная литораль мыса наблюдателями не просматривается... Теоретическую, как вы изволили выразиться, возможность контрудара по нашему флангу мы тоже обязаны предусматривать.

В простуженном голосе полковника прорезался металлический звон. Глаза его недовольно скользнули по ладной, туго перепоясанной портупеей фигуре сухощавого командира разведроты.

— Приказываю выслать на Вороний мыс разведгруппу с рацией. Пусть сидят там до самого штурма... Сидят, смотрят в оба и, скажем, ...четыре раза в сутки передают сообщения.

— Ясно, товарищ полковник.

— Вот и хорошо, что ясно,— начальник штаба убрал в голосе металлический звон и почесал пальцем шишковатый нос.— Береженого, Епанешников, как говорится в святом писании, и бог бережет.

Пружинил под ногами мох, хрустела щебенка, на гранитных взлобках сапоги цокали по камню. Вилась рядом жилка телефонного кабеля, хозяйственно поднятая связистами на кривые березовые рогульки.

Небо было по-осеннему низким и хмурым. В нем нарастал тягучий гуд. Затем из-за сопки вывалился темный, острокрылый крест «юнкерса» и, прорезав тучи, с давящим утробным подвыванием прошел над головой Епанешникова. Вдогон ударил зенитный пулемет. Светлячки трассирующих пуль выписали изогнутый пунктир и угасли, не настигнув самолет.

Епанешников присел на камень перекурить и ощутил себя бесприютным среди хмурых скал. Вспомнилось вдруг неправдоподобно далекое мирное время, шумные коридоры филологического факультета, тесная студенческая «хата» на втором этаже возле пожарной лестницы, служившей для нарушителей режима обходной тро-

пой от надзора строгой комендантши. Из окна была видна Волга, набережная, пароходы, баржи и моторки. По вечерам над водой далеко разносились гудки. У каждого парохода был свой тон, свой собственный голос...

Теперь студент третьего курса Епанешников командует разведывательной ротой. Разве думалось, что так повернется жизнь? Его же в «казаки-разбойники» всегда первым ловили, из малокалиберной винтовки в тире больше пяти очков не выбивал...

Устал капитан от сумасшедшей гонки последнего месяца, когда разрабатывался оперативный план штурма и дивизионное начальство без роздыха гоняло разведчиков по всем дыркам, требовало данных, «языков», проверок, донесений, черта, лысого дьявола...

Епанешников расплющил о камень окурок, поправил фуражку и спустился к кочковатому болоту.

Нога сразу же провалилась в жижу растоптанного торфа. Капитан, вытянул ногу, взмахнул рукой, удерживая равновесие, и упругим движением прыгнул на ближнюю кочку. С нее — на вторую, на третью. Стал одолевать болотце, как сплавщик реку.

«Вдруг егеря и в самом деле ударят с Вороньего мыса»,— набежала-таки пугающая думка.

Много на войне этих «вдруг»... Вылезают из каждой щелки, ворошатся в голове тревожными мыслями, предчувствием непонятной, неразгаданной опасности...

Епанешников тоскливо подумал, что, будь у человека хоть сорок пядей во лбу, нипочем всех «вдруг» не разгадать.

А надо понять, сообразить, какое «вдруг» оставить без внимания, на какое навалиться силой, оградить, остеречься, предусмотреть все до мелочей. Вот здесь уж война промашки не простит. Ни генералу, ни ездовому.

Против дивизии, готовящейся к наступлению, стояли за фиордом горные егеря альпийского корпуса генерала Дитла. В июле сорок первого эти вояки с медалями «За взятие Нарвика» на мундирах и в пилотках, украшенных жестяными эдельвейсами, рванулись к Мурманску по Мишуковской дороге, но были остановлены под Титовкой и на Западной Лице и перешли к обороне.

Как и капитан Епанешников, тирольские егеря тоже многому научились за три года войны в сопках, в мешанине валунов, в тундре и на заплесках береговых скал,

где один человек мог сдержать сотню, где сотня могла пройти в двух шагах от боевого охранения.

Хотя сейчас егеря и пятились назад, шутки шутить с ними нельзя...

Землянка была сложена из валунов и рыжих пластин пересохшего торфа. Прилепившись к скале, она сливалась с ней. Только вытоптанный дерн да узкий проход, прикрытый обтрепанной плащ-палаткой, подсказывали, что в норе, за стенкой валунов, обитают люди.

Огонек стеариновой плошки размытыми отсветами проливался на выкаты камней, на грубый стол, сработанный из крышки снарядного ящика, на лежанку из жиденьких стволов березок с охапкой вороничника.

Люди в роте были уже расписаны по заданиям — операциям. Тридцать пять разведчиков во главе с лейтенантом Кременцовым шли в штурмовой группе. Они первыми отправятся под покровом осенней ночи через фиорд. Проплывут на резиновых лодках страшный километр по ледяной воде, чтобы зацепиться за противоположный берег, создать крохотный плацдарм для атакующих рот авангардного батальона. Кроме того, разведчики шли еще и с саперами, артиллеристами, обеспечивали поиск на фланговых стыках, помогали морякам. Все было скрупулезно, по фамилиям не раз рассчитано, и вот теперь сверх того Епанешников получил приказ скомплектовать еще одну разведгруппу.

Командир группы есть. Утром, отправляясь в штаб дивизии, Епанешников приметил за скалой кубанку с малиновым верхом и понял, что помкомвзвода старшина Гнеушев самовольно возвратился из медсанбата. Только он мог щеголять в кубанке с малиновым верхом, крест-накрест перечеркнутым позументной тесьмой. За нее старшина уже схлопотал от дивизионного начальства не одно взыскание, но расстаться с таким шикарным головным убором, приводившим в сладостный трепет девчат из роты связи и новобранцев из маршевого пополнения, было выше сил разведчика Гнеушева. Кубанку старшина берег. В тыл к немцам в ней не ходил, чтобы случаем пуля или осколок не повредили редкий, единственный на всю дивизию головной убор.

Медсанбатовский дезертир спасался в землянке своего дружка старшего сержанта Беляева, решив до поры до времени не попадаться на глаза капитана. Подождать, пока командир роты сменит гнев на милость и зачислит старшину Гнеушева в штурмовую группу, разрешит в порядке милостивого исключения плыть вместе с Беляевым на резиновой лодчонке через фиорд навстречу смерти. Ведь рожки да ножки останутся от штурмовой группы после такого дела...

— Старшину Гнеушева ко мне!

Минут через пять плащ-палатка у входа колыхнулась. В землянку ворвался скудный отсвет сентябрьского хмурого дня, и лихая коротконосая физиономия старшины Гнеушева оказалась в неровном свете трофейной плошки.

«Вот еще ухарь»,— нагоняя на лицо сердитое выражение, Епанешников окинул взглядом знакомую фигуру старшины. Крутоплечего, с прочно ступающими по земле ногами.

— Старшина Гнеушев явился по вашему приказанию, товарищ капитан!

— Прямиком из медсанбата пожаловали, товарищ старшина?

— Так точно, товарищ капитан,— браво отрапортовал Гнеушев, уставив глаза в темный угол землянки.— Получил известие, что дивизия готовится к наступлению. Не мог больше пребывать на медсанбатовском положении. Комсомольская совесть, товарищ капитан, такого мне не позволяет...

«Беляев подучил, что говорить,— догадался Епанешников.— Вот так комсорг роты! Медсанбатовских дезертиров пригревает... Придется с ним насчет дисциплинки потолковать».

— Документы мне сейчас по всей форме представите, товарищ старшина,— перебил капитан отрепетированную речь.— Продаттестат, чтобы на довольствие поставить...

— Товарищ капитан,— голос старшины стал терять бойкие нотки.— Так я же здоров совсем... Они там...

— Они там доложат начальству о самовольном уходе старшины Гнеушева из медсанбата, отрапортуют о грубейшем нарушении дисциплины, о партизанщине, которая творится в разведроте... Опять с меня полковник

снимет стружку по всей форме. Шею крупным песочком протрет за твои фортели.

— Так я же, товарищ капитан...

Виновато помаргивая, Гнеушев принялся убеждать командира роты, что лежать в медсанбате у него не было никакой мочи, что будет старшина самым разнесчастным на свете человеком, если его оставят на госпитальной койке в те дни, когда дивизия пойдет в наступление.

— Здоров же я, товарищ капитан...

В голосе помкомвзвода было раскаяние и просительная надежда, что командир не отправит его обратно в медсанбат.

— Навылет же прошло. Все равно бы меня через неделю медицина по всей форме аттестовала.

На крутолобом заветренном лице Гнеушева выписались такие муки совести, что у Епанешникова начал истаивать, как льдинка на припеке, запал начальнической строгости.

— Уже затянулась рана, товарищ капитан,— продолжал Гнеушев, уловив, как меняется настроение командира роты, и замахал правой рукой вверх и вниз.

— Ты мне ветряную мельницу не изображай. Навалил забот на плечи, а теперь перед носом размахиваешь... Раз удрал, чего теперь назад возвращаться...

— Это уж точно, товарищ капитан!

Гнеушев ободрился, поправил кубанку, и в глазах его снова появился тугой, напористый блеск.

— А доктора, товарищ капитан, тоже пусть рты не разевают... По медсанбату слух о наступлении прошел, а они часовых ставят в завитушках, губки бантиком. У таких часовых половина медсанбата сейчас разбежится. Мало что братва сама уйдет, она еще и часовых прихватит. Они же как перышки, товарищ капитан. Их же в охапочку ухватить — одно удовольствие... Уведут часовых, вот комедь будет!

Получив приказание явиться к командиру роты, старшина Гнеушев не очень испугался, хотя и знал строгий характер капитана. В глубине души он понимал, что ни Епанешников, ни сам командир дивизии с ним ничего не сделают. Удрал старшина не к теще в гости, а на передний край и желает идти в штурмовую группу. Нет на свете такого начальства, которое загнало бы сейчас

Василия Гнеушева дальше, чем он сам просится. Некуда дальше его послать, потому что дальше — егеря и Ледовитый океан...

— Докторам порядочки надо менять...

— Ладно уж, не нахальничай,— остановил Епанешников разговорившегося помкомвзвода.— Поведешь разведку на Вороний мыс.

— На Вороний мыс? — опешил Гнеушев.— Прошу в штурмовую группу назначить...

— У мамки просятся, старшина, а в армии выполняют приказание. Слушайте задание.

Капитан развернул карту и объяснил Гнеушеву задачу группы.

— Заберетесь на мыс и будете сидеть там до начала штурма. Докладывать обстановку. Не исключена возможность, что противник попытается создать на мысу группировку для контрудара по нашему флангу. Связь по рации четыре раза в сутки. Режим и позывные получите в обычном порядке.

— Прошу назначить в штурмовую группу, товарищ капитан... Разве это задание?.. Чистый же курорт!

— Вот-вот, в самый раз тебе и подойдет. Что не добрал в медсанбате, на Вороньем мысу нагонишь.

Старшина горестно вздохнул, сообразив, что просьбы и слезливые слова не помогут. Допек-таки его капитан за самоволку. Умеет это ротный. Ткнуть, например, в порядке воспитания дисциплины в такую дыру, как Вороний мыс, и ничего не скажешь — боевой приказ.

— В группе пойдут сержант Докукин, Забара и Лыткин...

— А радистом кто, товарищ капитан?

— Новенького возьмешь... Кобликова.

— Это пацаненок-то?

— Не пацаненок, а ефрейтор Советской Армии...

Гнеушев подумал, что, пожалуй, зря удрал из медсанбата. Лучше уж там было кантоваться до законной выписки. С сестричкой же из перевязочной явно дела налаживались. Аккуратная такая сестричка со всех сторон, скороногая, и глаза — словно она их каждое утро синькой промывает. Надечкой звать...

— Нет других, Гнеушев,— сказал Епанешников, сворачивая карту.— И этих едва набрал.

— Радиста хоть стоящего дайте... Четыре раза в сутки связь держать.

— И радиста другого нет,— ответил капитан.

Получив приказ отправиться с разведгруппой на Вороний мыс, Кобликов понял, что наконец сбывается его давняя мечта. То, о чем он думал, обивая пороги военкомата с просьбой отправить на фронт, думал на курсах радистов, ворочаясь под шинелью на нарах в бараке, где холод люто донимал курсантов, отощавших на тыловой норме. Чего вот уже второй месяц дожидается на фронте, околачиваясь в дивизионных тылах.

И все потому, что Ленька ростом не вышел, что до восемнадцати лет ему еще не хватает трех месяцев. А по секрету сказать, так целых восьми, потому что слукавил Ленька. Исправил он в графе «год и месяц рождения» неясно написанную шестерку на единицу, чтобы поскорее попасть на войну.

— Есть, товарищ капитан!

Глаза на мальчишеском лице ефрейтора Кобликова, покрасневшем от волнения, были чисты и незамутнены, как весенние проталины на снегу. Широкие брови, редкие конопатинки на переносице и веточки вен на гладкой шее заставили капитана вспомнить слова Гнеушева. «Пацаненок... Как есть пацаненок»,— подумал Епанешников. Таким, как Кобликов, он должен был преподавать русский язык и литературу, а вместо этого он посылает их в немецкий тыл.

Толстоплечий Остап Забара равнодушно выслушал приказ. На Вороний мыс, так на Вороний... В этих местах все одинаково — камни, вода и болотина. Здесь, видно, и в мирное время беда везла беду, а третья погоняла. Животина, считай, не проживет в таком гиблом краю, а люди, как шалены собаки, насмерть хлещутся.

Остап Забара был силен и флегматичен до удивления. Лишнего шагу он по своей инициативе никогда не ступал. За войну Остап уже нашагался досыта и накрепко решил, что торопиться резону нет. Сколько еще той войне воевать? Хоть стронулся теперь германец, а настоящего конца ей пока не видно.

Для разведки Забара не очень подходил, и капитан Епанешников наверняка бы сплавил его из роты, если

бы не давний, рассказываемый как легенда случай, когда Остап приполз к нашему боевому охранению из поиска с раненым разведчиком на плечах и с «языком», спеленатым в плащ-палатку. «Языка» Забара тащил волоком, уцепив зубами для надежности край плащ-палатки.

Игорь Лыткин удивился, что командир роты посылает его на Вороний мыс. Потом подумал, что, пожалуй, все складывается к лучшему. Второй год служит Лыткин в разведроте, а на груди у него одиноко красуется лишь ленточка «За боевые заслуги». Простенькая медалька, которую выдают и ездовым, и поварам, и девчонкам-связистам.

Незавидной оказалась военная судьба Игоря Лыткина. Виной тому был красивый, каллиграфически четкий почерк, отработанный в мирное время, когда Лыткин заполнял в сберегательной кассе денежные документы. Этот почерк увидел заместитель командира роты и определил Лыткина на писарскую должность.

Игорь хотел драться с фашистами, ходить в немецкие тылы, добывать трофеи и получать ордена. Мечтал, что про него напишут во фронтовой газете, а может быть, даже поместят портрет.

Он не раз уже подумывал подать, как положено, рапорт начальству, но понимал, что некому пока заменить его, и терпеливо строчил строевые записки, донесения, переписывал длиннющие ведомости на вещевое довольствие и прочую бумажную муть, почти не разгибаясь, корпел над осточертевшей канцелярщиной.

Кроме того, Игорь единственный из всей разведроты умел играть на трофейном аккордеоне «Синий платочек», «На позицию девушка...», а также «Марш артиллеристов».

— Слушаюсь, товарищ капитан,— четко ответил Лыткин. Вертко крутнулся и бегом, придерживая сумку, набитую бумагой, карандашами и копиями ротной документации, отправился готовиться к выходу на задание.

Пятым в группе шел сержант Докукин, усатый приписник из местных поморов. В роте Докукин служил всего три месяца. До этого ему довелось потопать и в пехоте, и побывать минометчиком, и с полгода покантоваться ездовым в хозвзводе банно-прачечного батальо-

на, именуемого в солдатском просторечии «мыльным пузырем». Получив под начало пару старательных коней, Докукин было решил, что так и кончит войну, доставляя в батальон белье и прочие нужные вещи. Но осколок шального снаряда угодил ездовому в бок и перебил ребро. После госпиталя Докукин оказался на очередной переформировке. Там неизвестный майор, перепоясанный ремнями, прошелся из конца в конец перед строем, задержал взгляд на усатом сержанте и коротко бросил:

— Разведрота...

Капитан Епанешников, увидев в прибывшем пополнении сержанта далеко не первой молодости, качнулся на каблуках и мысленно пустил нелестный эпитет в адрес того, кто комплектовал пополнение разведчикам. Он уже было собрался завернуть усача обратно в резерв, но в последнее мгновение пришла мысль спросить, чем Докукин занимался до войны. Оказалось, что сержант промышлял семгу, а зимой, когда путины не было, работал по плотницкому делу.

— И по сапожному тоже,— добавил он.

Капитан услышал за спиной облегченный вздох старшины роты Якимчука.

Якимчук до бессонницы измучился, что сотня молодых ребят, умеющих снимать часовых, чертом проскакивать под носом у егерей, орудовать финками и брать «языков», ничего не смыслит в плотницком и тем более в сапожном деле. Ума у них хватало только на то, чтобы вдрызг бить на камнях новенькие сапоги и ботинки, а потом их ощеренными совать под нос Якимчуку, тыкать пальцем в дыры на сгибах, показывать отлетевшие каблуки и требовать немедленной замены. Словно у Якимчука была собственная обувная фабрика или завскладом вещевого довольствия приходился ему родным племянником.

Якимчук сразу же раздобыл Докукину сапожный молоток и клещи, а сержант согнул из трубы «лапу», впрок напилил из березы чурбачков для шпилек и стал добросовестно набивать каблуки, латать прорехи и надежно прихватывать дратвой подошвы.

«Кавалерия»,— ухмыльнулся Гнеушев, оглядывая выстроенную группу. Строй был похож на забор у худого

хозяина. Верзила Забара, щекастый и плотный, лениво помаргивал, косолапо расставив тяжелые ноги. Рядом с ним, не доставая до плеча, притулился тоненький ефрейтор Кобликов в мешковатой, не по росту, шинели, перепоясанной брезентовым брючным ремнем. Шмыгая простуженным носом, он «ел глазами» старшину, видно опасаясь, что в последний момент Гнеушев выставит его из разведгруппы. Рослый, крупный в плечах писарь тянулся, словно новобранец на смотру, выпячивал грудь и косил глазами на отдраенные кирзачи со щегольски ушитыми голенищами. Шеренгу замыкал сержант Докукин, приземистый и большеголовый, с морщинистым лицом и короткой шеей, похожий на кряжистый пенек, случайно оставленный в молодой поросли.

Приказ капитана связал Гнеушева и четверых, стоящих перед ним. Связал полученным заданием, общими заботами, одной опасностью. Хорошие или плохие люди идут в группе, но бедовать им сообща, выручать друг друга, а придется круто — вместе принимать смертный бой.

«Какой там, к лешему, смертный бой,— усмехнулся Гнеушев собственным мыслям.— Штурмовая группа пойдет на смертный бой, а мы так — случайной дыре затычка... Отправимся собакам сено косить. Попродаем в скалах дрожжака, слопаем паек, увидим трех егерей и героически возвратимся в роту... Комедь!»

Но, как было положено командиру группы, Гнеушев внимательно осмотрел обмундирование и оружие. Приказал Докукину сменить в автомате диски на плоские магазины, а Лыткину выкинуть к чертям собачьим прицепленный к поясу штык от немецкой винтовки.

— Пойдем, чтобы и ноготок не брякнул, а ты по камням будешь греметь этим коромыслом. Нож возьми, самый обыкновенный финкарь... Удобнее, и шуму никакого не будет... Ты, Кобликов, пилоточку подальше засунь. Ушанку надень, если не хочешь, чтобы уши от холода отвалились.

Гнеушев качнулся на каблуках, точь-в-точь как это делал перед строем капитан Епанешников, когда начинал сердиться.

— Гляди, Кобликов, чтобы питание для рации выдали надежное. Предупреди там, что в случае чего стар-

шина Гнеушев чикаться долго не будет. Если подведут, в полмомента с ними разделается...

Докукина и Забару старшина отправил получать сухой паек.

— Скажите Якимчуку, что группа идет выполнять особое задание командования. Консервы... чтобы мясную тушенку дал, сгущенное молоко и колбасу. Горохового концентрата не берите.

Якимчук не стал наваливать разведчикам осточертевший концентрат. Докукин и Забара принесли сухари, брынзу и консервы «тресковая печень».

— А сахар где? Чего он вам сахару не дал?

— Дал, товарищ старшина,— ответил Докукин.— Только он его на тресковую печень пересчитал. Три банки добавил, а тушенки — сказал, что на складе нет...

— А вы и расставили глаза,— напустился Гнеушев на разведчиков.— Поверили Якимчуковой брехне! Давай мешок, я с ним сам потолкую.

Поменять тресковую печень на тушенку командиру разведгруппы не удалось. Старшина Якимчук за войну навидался и рассерженных разведчиков, и грозных начальников. В заданиях он разбирался не хуже капитана Епанешникова. Знал, что главное дело будет выполнять штурмовая группа лейтенанта Кременцова. Для нее Якимчук приберегал и тушенку, и сгущенное молоко, и полканистры вонючего трофейного рому. Группа Гнеушева обойдется и тресковой печенью, не велики баре. Питательный же продукт!.. Слопают от безделья за милую душу вместе с сухариками и брынзой. А водички запить на Вороньем мысу хватит, небось не пустыня Сахара.

Гнеушев принес тресковую печень обратно и для поддержания собственного престижа громогласно заявил, что по возвращении он прижмет пройдоху Якимчука за такое обращение с разведчиками, отправляющимися на задание. В полмомента придавит этого прихлебая так, что у него из заднего места юшка брызнет.

— Вы не расстраивайтесь, товарищ командир,— басом сказал Докукин.— Тресковая печень — это же первейшая еда. Из нее рыбий жир производят, который детишкам и больным в питание идет... У меня брательник до войны салогреем работал. Завернешь, бывало, к нему на хозяйство, он краник у чана отвернет и жиру тебе алюминиевую кружку нацедит... Тепленького еще. Как

слеза, помню, светится, и аромат от него пахучий. Сольцы в него щепоть кинешь, хлопнешь такую кружечку и — благодать! День на тоне без обеда ворочаешь...

Гнеушев отправился с лейтенантом Кременцовым на наблюдательный пункт. Уселся у рогатой стереотрубы с двадцатикратным увеличением и метр за метром стал обшаривать угрюмый, в диких гранитных отвесах, берег Вороньего мыса. Нашел приметную, похожую на башмак скалу, возле которой, по словам лейтенанта, можно было приткнуться к берегу и по расселине подняться на кручу. Старшина до боли пялил глаза, высматривая темную косую щель, прорезавшую сумрачный обрыв камня. Не очень было похоже, что по такой щели можно забраться на мыс.

— Заберетесь,— успокоил его Кременцов.— Мы же с ребятами забрались. Деться будет некуда — и заберетесь... Веревку только с собой прихватите, а то нам пришлось ремни связывать... Место там одно пакостное есть. Гладкий пупырь, и ни с какой стороны обхода нет. Всего в нем метров пять, а хуже не придумаешь...

В вечерние сумерки группа Гнеушева погрузилась на старенький мотобот. Раздалась негромкая команда, и берег стал отдаляться. Слеповато подсвечивая воду синими огнями, мотобот не спеша зачапал на север. По морю, в обход немецких батарей и приземистого наволока, до Вороньего мыса было километров двадцать.

Глава 3

— Чухаемся, как на ярмарке,— ворчал пожилой мичман, круто вывертывая руль то в одну сторону, то в другую.— А ну сюда глянь, старшина... Вроде похоже.

Заря, бросив над сопками первый ломоть неясного света, разливалась над землей, над оловянным туловом фиорда, стиснутого отвесными берегами. Мотобот на малом ходу тащился от заворота к завороту, разыскивая похожую на башмак скалу.

— Мне артиллеристам сегодня надо еще поспеть снаряды подкинуть, а я с вами валандаюсь... Приткнусь сейчас к берегу и — махайте. У меня приказ высадить

вас на Вороний мыс, а уж как будете наверх забираться, не моя забота... Может, здесь?

Ближние скалы приметно расступились, открыв косую расселину в граните. Гнеушев задрал голову, оглядывая щель.

— А где же скала?

— Тебе еще скала требуется! — рассердился мичман.— Щель нашли, так ему еще скалу подавай!.. Вон их сколько! Любую выбирай, какая нравится.

Мичман с бережением повел мотобот в узкий лаз расступающегося камня. В теснине волны вспучивались стекленеющими буграми, то вскидывая бот вровень с береговым уступом, то опуская его ниже бородатых пупырчатых водорослей, пахнувших сыростью и йодом.

Прыгать пришлось с борта.

— Рация!.. Рацию осторожно...

Придерживая локтем дюралевую коробку рации, Ленька Кобликов со страхом скосил глаза в темный провал между бортом и скальным отвесом, где угрюмо хлюпала вода, прижмурился и прыгнул на берег. Мотобот задним ходом выбрался из щели и скрылся за заворотом.

Пятеро остались на уступе, клином врезающемся в отвесные скалы. Ввысь, разодрав твердь нависающего над головами гранита, уходила расселина. Темная и узкая, с зазубренными острыми камнями, тронутыми плесенью лишайников. Неровным шрамом в отвесной круче она вздымалась почти отвесно и метрах в тридцати исчезала за угловатым срезом.

Старшина Гнеушев недоверчиво хмыкнул, вспомнив слова лейтенанта Кременцова, что именно здесь он с разведчиками забрался на мыс.

Может, все-таки перепутал старшина место. Здесь же крылья требуются, такую откосину одолеть!

Над морем занимался рассвет. Разведчики, боязливо посматривая на щель, инстинктивно жались друг к другу, ощущая затаенную опасность уходящих в небо сумрачных скал.

Плавными кругами, раскинув крылья, ходили над водой чайки. Празднично белые, остроклювые и легкие. Качалась, колыхала водоросли, заплескивала на уступ сине-зеленая морская зыбь.

— Двинули, орелики! — приказал командир группы.— В полмомента! Докукин с веревкой за мной... Потом Кобликов... Рацию береги, ефрейтор. Голову отвинчу, если рацию кокнешь! Забара и Лыткин подстраховывают...

Метров двадцать прошли легко. Подъем был крут, но хватались руками за выступы и ощущали под ногами опору.

Иногда вниз срывались камни. Гулкими мячиками прыгали по уступам, распугивали птиц, рикошетировали о нижнюю площадку и улетали в море. Чайки кидались на всплески и, обманутые, взмывали вверх, суматошно хлопая крыльями.

Старшина поворачивал лицо на каждый звук нечаянно стронутого камня, ругался и поторапливал ползущих вверх разведчиков.

— Веселей двигай... В полмомента!

Щель вильнула в сторону, образовав что-то вроде наклонного, в метр шириной, карниза. По карнизу прошли, стараясь не смотреть вниз, где пугающе росла пустота.

Гнеушев подумал, что самое трудное они миновали, но за поворотом кромка карниза, заляпанного чаячьим пометом, сузилась, помельчала и без следа размазалась на округлом вывале. Старшина понял, что это и есть тот самый пакостный «пупырь», о котором толковал лейтенант Кременцов.

Значит, группа шла правильно...

На покатости камня не было ни единой выбоины, ни бугорка, ни малой трещины. Словно кто-то нарочно огладил здесь гранит, чтобы преградить путь наверх.

Осторожно, подтягивая ногу к ноге и прижимаясь телом к каменной стенке, старшина прошел по карнизу, насколько было возможно, и начал шарить по вывалу растопыренными пальцами, как человек, потерявший кошелек. Он даже сумел заглянуть за выступ, но там была монолитная скала, обрывающаяся в море.

Ход наверх был через гранитный вывал. За ним должна продолжаться щель. Гнеушев самолично видел в стереотрубу, что расселина идет от воды до кромки берегового откоса.

— Давай веревку, сержант!

Докукин смотал метров пятнадцать тонкого троса, соорудил на конце петлю-удавку и широкими кругами повесил на руку.

— Кидай!

Раз пять сержант забрасывал наверх кольчатую змейку, но она сползала по гладкому камню.

— А ну, дай я... Сюда встань! За руку меня будешь держать.

Пальцы охватили запястья, соединив Гнеушева и Докукина зацепом схлестнутых рук. Затем старшина откинулся и повис над пустотой.

В раненой руке, где под гимнастеркой возле плеча розовела ямина, затянутая тонкой кожей, вспыхнула боль. Остро закогтила плечо и обжигающим огнем налила локоть, перебралась к шее, и стали слабеть напряженные до предела мышцы. Мелкий пот выступил на лице, колыхнулся перед затуманившимися глазами гранитный вывал. Солоновато кольнула язык струйка крови из прокушенной губы.

Гнеушев судорожно напрягся и, не чувствуя уже ничего, кроме оглушающей боли, широко взмахнул рукой. Трос полетел за овал гранитного выступа. Распускаясь на лету, мелькнул перед пятью парами напряженных глаз и не сполз обратно. Провис тонкой жилкой, чуть раскачиваясь под ветром.

Зацепило!

Гнеушев подтянулся на карниз, с облегчением опустил руку и, кривясь лицом, принялся растирать, оглаживать плечо.

Отдышавшись, старшина повис на тросе. Тот подался сантиметров на пять и напружинился под тяжестью командира группы.

— Вроде полный порядок,— неверящим голосом сказал Гнеушев.

— Может, полегче кому...

— Кобликов у нас самый легкий,— с веселой яростью ответил старшина и тоскливо поглядел на гранитный вывал, за которым невидимо захлестнулась петля.

Затем глаза ушли вниз, в пятидесятиметровый провал, где выпирали грани уступов, каменные ребра, где равнодушно плескалась вода. На дне темнели обломки скал, сорвавшихся с крутизны. Волны колыхали на них

бахрому водорослей, казалось, что скалы, как живые, шевелятся в воде.

— Кобликов у нас легче всех,— повторил командир группы и ухватился за трос.

— В старину мужики при таком деле крестились,— тихо сказал Докукин.

— А я, сержант, в черта верю!

Гнеушев оттолкнулся от карниза, завис, качнулся из стороны в сторону, стукнулся плечом о камень и, торопливо перебирая руками и ногами, полез по тросу.

Четверо прикрыли глаза. Когда открыли, увидели над собой сапоги со сбитыми каблуками и вздрагивающий от рывков трос. Гнеушев отставил зад, обтянутый пятнистым маскировочным комбинезоном, взмахнул рукой, за что-то зацепился и утянул за камень крупное тело.

Затем послышался его злой и облегченный голос.

— Сейчас получше закреплю, и давай по очереди... В полмомента чтобы!

Потом они лежали без сил на площадке, усыпанной щебенкой. Тяжело дышали, глядели на воду фиорда и не верили, что осилили отвесные скалы, оберегающие Вороний мыс. Забрались на них без крыльев. Залезли с рацией, оружием, с гранатами и патронами, с консервами «тресковая печень», с брынзой и сухарями.

Всходило солнце. Каленый багровый шар поднимался над каменными волнами сопок, преображая их, смывая безликую угрюмость. На краю щебеночной плеши качались, кланяясь морскому ветру, жиденькие гривки осоки. Из-под камня высунул плоскую мордочку лемминг, зло свистнул, учуяв людей, и оскалился в неожиданном страхе.

Докукин смотал веревку, надежно закрепленную за рогатый валун, присыпал ее щебенкой и аккуратно разровнял мелкие похрустывающие камни.

— Ну вот, и места не узнать,— сказал он.— Валун получше приметьте, ребята. В случае чего, чтобы всем знать. Другого хода отсюда нет.

— Тоже верно,— негромко согласился старшина и взял на изготовку автомат.— Теперь потопали дальше,— приказал он и сторожко, припадая к камням, пошел вниз

по склону щербатой, изрезанной трещинами, в выбоинах и уступах, сопке. За ним потянулись разведчики.

Когда совсем уже ободнилось, старшина остановил группу в крохотной седловинке, с которой открывался обзор в глубь Вороньего мыса.

— Мы с Докукиным впереди посмотрим, а остальным здесь оставаться,— приказал Гнеушев.

Через полчаса командир группы возвратился в седловинку и сказал, что вокруг вроде все спокойно.

— Пока тут осядем. Передадим сообщение, а потом уж сообразим, что дальше...

— Поисти надо,— сказал Забара.

От этих слов почувствовали облегчение, заговорили, стали снимать вещевые мешки, ослабили ремни, начали устраиваться в затишке под каменной стенкой.

Ленька Кобликов развернул рацию и отстучал «Чайке», что «Волна-один» достигла заданного квадрата и приступает к выполнению задания.

Докукин делил на плащ-палатке сухари и брынзу. Прикидывал на глаз кучки, перекладывал куски из одной в другую. На лбу его сбежались сосредоточенные складочки человека, занятого нужным делом.

— В крайнюю добавь, сержант,— подсказывал Забара, наблюдавший за дележкой провианта.

Остап глядел на куски брынзы и вспоминал повара Ряхина, с которым он водил дружбу. Возвращаясь с заданий, Забара приносил ротному кормильцу то трехцветный фонарик, то компас со светящимися стрелками, то жестяной портсигар, куда была встроена машинка, скручивающая цигарки. За это Ряхин из общего котла наливал Остапу особо. Повар умел провести черпак так, что в котелке мог оказаться и наваристый суп, и жиденькая мутная водичка. Масло в каше Ряхин всегда сгонял в один угол, а потом уж смотрел по человеку, с какого краю зачерпнуть законный половник.

— Консервов сколько на брата, старшина? — спросил Докукин, вытаскивая плоские, экономные по размерам, баночки тресковой печени.

— По банке на нос,— расщедрился Гнеушев.— После такой горки надо основательно заправиться, а то враз баллоны спустят...

— Ну что ж, давай для пробы усы помараем,— ска-

зал Докукин, ловко взрезав жесть.— Ешь, дружки, набивай брюшки, словно камешки...

Подцепил на сухарь скользкий кусок тресковой печени и аппетитно чмокнул.

Ленька Кобликов страдальчески сморщил лицо. Есть ему хотелось, но он знал, что не проглотит и грамма печени, залитой рыбьим жиром. Стойкое отвращение к этому продукту осталось у Леньки с детских лет, когда заботливая мама-врач заставляла сына каждое утро глотать ложку противной, вонючей до рвоты желтой жидкости.

Повертев в руках банку, Ленька отдал ее Забаре.

— Возьми, я эти консервы есть не могу.

Остап взял банку, и лицо его подобрело.

— Погоди,— остановил Гнеушев.— Ты, Кобликов, телячьи деликатности брось... Святым духом будешь пять дней питаться? Этак и рацию не осилишь таскать...

— Не могу я рыбий жир, товарищ старшина... Честное слово, не могу! — Ленька приложил к груди грязную руку, и губы его смялись в страдальческую улыбку.— Вытошнит меня...

— Да что вы, товарищ старшина, к нему причапились,— вступился Забара.— Не может же человек утробу насиловать... Я ему половину сухарей отдам и брынзы... Брынза, она сытная...

Гнеушев махнул рукой и снова подумал, что радиста капитан Епанешников дал в группу нестоящего. Печень трески он, видите ли, кушать не может! К ночи, глядишь, пуховичок у командира попросит. Небось мамаша учила, что на сырой земле вредно спать... Комедь!

Небо прочертила ракета, взлетевшая километрах в двух из-за береговых западных сопок. Вскинулась, выгнув дугу, неживым огнем в свете дня и сгорела, оставив дымный хвост. Потом в той стороне, где находился перешеек, просыпался рыкающий перестук пулемета.

— Фрицевский колотит,— озабоченно сказал Забара.— С чего они, товарищ старшина, пальбу открыли? Может, пробуют...

— На нас бы не попробовали,— ответил Гнеушев и прошел к крайним валунам.

Пологий склон сопки, где в седловинке притаились разведчики, медленно стекал к середине мыса. Там, хо-

рошо видимое, протянулось кочковатое болото с круглым, будто обведенным циркулем, озерком. Из него на запад уходил ручей. Темный, без веселых извилин, опушенный по берегам плотным ерником — зарослями полярной ивы. Километра на полтора ручей просматривался из седловины, потом заворачивал в распадок между сопками.

За лощиной горбатилась каменная гряда, полукругом опоясавшая подходы к бухточке на западном берегу мыса, куда, по сообщениям авиаразведки, шныряли катера из норвежского рыбачьего поселка.

Ракеты и непонятная стрельба насторожили командира группы. Чутье бывалого разведчика подсказывало, что ракеты егеря пускают не зря. Из пулемета им тоже вроде палить ни к чему.

«Ладно, раскумекаем в полмомента все задачки»,— подумал Гнеушев прикидывая, как подобраться к бухточке. Напрямик, по пологому склону, где тебя будет видно за километр, где у егерей наверняка посажены и секреты и наблюдатели, не пройти. Нацеливаться надо было на ручей, что тянулся от озерка к бухточке. Если и дальше, в распадке, по берегам густой ерник, то в сумерках или на утренней неясной зорьке, когда дозоры клюют носами, можно, пожалуй, проскочить к бухточке. Идти надо по двое, по обеим берегам ручья. Это уже завтра. А пока надо прогуляться до озерка и понюхать, кто татакал из пулемета в стороне перешейка и по какой надобности была там стрельба.

Старшина понимал, что пройти к бухточке будет не просто. Если егеря, в самом деле, накапливают кулак для контрудара через перешеек, они позаботятся, чтобы ненужный глаз не заглянул в бухточку. Это они умеют делать. Не раз Гнеушев натыкался в разведке на такую частую гребенку охранения, что приходилось поворачивать оглобли.

Возвратившись от валунов, старшина сказал, что попробует пройти к озерку.

— Ты, Докукин, двигай в сторону перешейка. Лыткин и Забара останутся здесь для наблюдения и охраны рации. Сидеть тихо и без надобности не высовываться. Чую я, что какую-то пакость егеря соображают,— озабоченно добавил он.

— Я, Кобликов, коней люблю... Как настоящего коню убачу, у меня на душе прямо смуток делается. Я в нашем колхозе за конями шесть лет ходил. Душевное занятие. Жеребец у меня был по кличке «Угуп»... Ну, не конь, а чистая картинка! Головка маленькая и на лбу белая звезда. Спина ровная, как стрелочка, и ноги в белых чулках... Уши сторожкие, а глазины, как две спелых сливы. Утром я еще пять дворов до конюшни не дойду, а он уже меня слышит. Тонюсенько так заржет... Хлебные горбушки с солью очень он уважал...

— Тоже на войну взяли,— помолчав, добавил Забара.— В один день мы с Угупом воевать отправились. Живой ли он теперича? Человек хоть может письмо написать, а конь что скажет?.. Всякой живности от войны тягота... Купаться Угуп любил...

Слушать россказни Остапа про колхозного жеребца Кобликов не мог. Несерьезно это — группа во вражеском тылу, а Забара несет околесицу. Поэтому Ленька открыл рацию и сосредоточенно стал крутить ручки, проверять, хорошо ли ходит штырь антенны и мягко ли работает ключ.

— Худые здесь, ребята, места... На других фронтах хоть живые люди встречаются, деревни, а то и настоящие города. Туточка я за два года ни дороги, ни дома не побачил... А еще у нас льны цветут...

— Кончай балабонить, Забара,— перебил Лыткин, оставленный Гнеушевым за старшего.— Наблюдение надо вести, а ты «льны цветут»... Ложись вон к тому краю!

В седловинке стояла тишина вековых скал, седых, с жесткими скорлупками лишаев, с красными прожилками гнейсов. Замшелые валуны казались каменными каплями, скатившимися с гранитных волн. Словно неровные заплаты зеленели лоскуты вороничника и желтел ломкий ягель. В полкилометре на склоне кудрявилась поросль березок, уже тронутая северной осенью. В лощине стыла завязшая, остекленевшая от холодных рос пушица.

В той стороне, куда ушел Докукин, снова просыпались короткие пулеметные очереди.

Первым в седловинку возвратился старшина. Выскользнул из-за валунов прямо к рации, с которой без

нужды, чтобы прогнать тревожное ожидание, возился Кобликов.

— Ну, чего глаза растопырили? — недовольно сказал Гнеушев, отряхивая с колен налипший торф.— А если бы вместо меня егеря?

— Та нет, товарищ командир,— откликнулся Забара.— Я вас еще от озерка убачил... Там, где вы под большой каменюкой лежали... Нет пакуль егерей...

— «Пакуль»... Все у тебя, Забара, «пакуль». Только тогда и почешешься, когда жареный петух в зад клюнет... Есть егеря! За озерком на сопке дозор. Из-за камней пилотки торчат. Не очень и прячутся фрицы... А ближе подойти нельзя. Скала ровная, как стол... Надо место менять.

— Мы здесь тихо сидели, товарищ старшина,— подал голос Лыткин.

— Вы-то тихо, а вот Докукин, похоже, нарвался. Опять из пулеметов стреляли.

Сержант явился живой и невредимый. К груди он прижимал ушанку, доверху насыпанную крупными, темно-красными ягодами.

— Брусницы я нашел, ребята, хоть пригоршнями греби,— протяжно заговорил он.— На одной проплешинке, дак ногой ступить некуда. Скалы там, а в середине затишок и припек солнечный...

— Егерей видел? — строго перебил Гнеушев.

— Нет, товарищ старшина. И следочка не приметил. Сопка нехоженая совсем, а за ней болото. Жидкая дрябь, не пройдешь. Я шагнул шаг и по колено втяпался...

— По тебе стреляли?

— Нет, в стороне пулемет стучал... Худой здесь проход к перешейку, товарищ командир. Один-два человека, может, пройдут, а, скажем, рота или поболе — берет меня сомнение... У нас в Лахте брусницы иной раз тоже навалом уродит. На карбасах вверх по реке уйдем и там прямо с бочками выгрузимся. Первейшая по здешним местам ягода...

— Может, нам вместо разведки брусникой заняться? — насмешливо спросил старшина и первым запустил руку в ушанку. Выгреб горсть ягод и кинул их в рот.

— Я так полагаю, что перешеек немцам ни к чему,— убежденно повторил Докукин.— Неспособное это место...

— Разберемся, способное или неспособное... Глянул разок и уже считаешь, что все тебе на ладошке. Нет, в разведке иногда пять раз носом ткнешься, пока сообразишь, что к чему... Может, у них берегом проход к перешейку есть. Не зря бухточку сторожат... Ладно, завтра мы там пощупаем... Ночь здесь перебудем, а на рассвете переберемся на новое место. Мне одна хорошая ухороночка попалась... Кобликов, готовь связь!

«Чайка» приняла сообщение, приказала продолжать наблюдение и во что бы то ни стало разведать бухточку.

— А то без их команды не соображаем,— ворчливо сказал старшина, выслушав ответ.— Ясно, что в бухточке самый гвоздь программы.

Ночь лежала тяжело и глухо. Чернильная темень навалилась так, что ничего нельзя было различить и в полметре.

Остап ворочался под валуном и изо всех сил таращил глаза. Когда глаза открыты, уши лучше слышат. В такую ночь глухому крышка.

Из темноты, как шуга на осенней реке, наплывал холод. Забирался под ватник, жег колени и тяжело застывал между лопаток. В плечи, в грудь, в спину втыкались сотни ледяных иголок и обламывались, оставляя в теле кусачие жальца. Валун, под которым устроился Забара, казался глыбой льда...

Супешнику бы сейчас хлебануть. Консервы и сухари — разве это для человека еда. Нет в них настоящей сытости. Так, вроде брюхо запакуешь, а потом внутри опять сосет. Супешнику бы сейчас горячего добрый котелок. Здорово Ряхин гороховый суп с треской варит. Подумать только — горох да рыба, а вкуснотища. До дна выскребешь, под гимнастеркой жарко...

Ночь наискось располосовали ракеты. Взвились одна за другой в стороне сопок, загораживающих бухточку, и стали опадать клочьями мертвого огня, бросая на скалы зеленоватые отсветы.

Затем впереди булькнула вода. Может, подбирались егеря, а может, в ближней болотине просто лопнул вонючий пузырь, расплескав застоявшуюся воду.

Остап отогнул клапан ушанки, но больше подозрительных звуков не услышал.

К рассвету, когда его уже должен был сменить Лыткин, загрохотала пулеметная стрельба. По ночному времени звуки выстрелов казались близкими, но трассирующие пули прочертили небо где-то за сопками.

Пулеметной стрельбы Забара не испугался. Знал по солдатскому опыту, что перед рассветом, одуревшие от дремоты и холода, пулеметчики частенько шпарят вот так наугад, разряжая страх прожитой ночи.

Потом приполз Лыткин. Забара возвратился под гранитную стенку, где, прижавшись друг к другу, ворочались в тревожном сне разведчики. Старшина тотчас же поднял голову и, узнав Остапа, снова заснул.

Чтобы согреться, Забара съел половинку сухаря, поднял воротник и надышал под телогрейку. Затем втиснулся между Докукиным и Кобликовым. Ленька всхрапнул и разметался. Забара натянул ему на ноги полы шинели, подоткнул их под бок и подумал, что радист по молодости еще не очень сообразительный. Консервы за сухари отдал! Разве солдаты так меняются?

Глава 4

В предутренний час, когда природа и люди еще не могут отойти от ночного оцепенения, старшина увел группу из седловины. Неясными тенями скользнули по сопке и оказались возле треугольного лаза, косо уходившего под расколотый гранит. Вход был скрыт завалом камней и порослью путаных березок, тянувшихся в ту сторону, где ртутно светлело, курилось холодным туманом круглое озерко.

В пещерку заползли на карачках.

— Если здесь егеря прижмут, уходить некуда,— сказал Докукин.— Худа та мышь, товарищ старшина, которая одну лазею знает.

— А мы не будем голову в мышеловку совать... Пещерка так, на крайний случай. И от дождя укрытие... Огонь ведь для обсушки не разведешь, а мокрому в здешних камешках сидеть — егерей никаких не потребуется. Вон Лыткин уж перхать начал.

— Пустяки, товарищ командир,— отмахнулся Игорь и прокашлялся.— Холодно было очень под утро...

— Подходы будем держать в кустиках,— распорядился Гнеушев.— Если с умом смотреть, здесь отойти можно незаметно... По кустам или вдоль осыпи махнуть...

Докукин поглядел в сторону озерка и мысленно согласился с Гнеушевым. Если охранение вынести вперед, от пещерки легко отойти незамеченными. И окрест все хорошо просматривается. За кустами открытая лощинка, а позади голый склон. Верно маракует командир группы, смекает, что к чему, и глаз имеет приметливый. И насчет дождя тоже правильно решил — мокрому здесь ночь не пересидеть. Жирово местечко командир углядел...

— Значит, так,— сказал старшина.— Мы с Докукиным попробуем пройти к бухточке по левому берегу ручья. Лыткин и Забара пойдут по правому, доберутся до поворота и поглядят, что делается в распадке. Кобликов здесь пока один посидит... Заползешь в кусты и смотреть будешь в оба!

Ленька кивнул и подтянул к себе карабин.

— Неужто не отыщем щелочки, чтобы в бухту заглянуть? — задумчиво сказал Гнеушев, и темные глаза его стали озабоченными.— Неужели так запаковали, что не просунешься?

Едва пробрались за озерко и залегли в ернике, как на сопке показался дозор егерей. Двое, с автоматами на изготовку, в пятнистых маскировочных плащ-палатках, в пилотках с длинными козырьками и жестяными кокардами эдельвейсов, вольно шли по склону. Передний дымил сигаретой, второй, чуть поотстав, наклонялся, на ходу ощипывая бруснику.

Дозор пропустили. С полчаса лежали в ернике без движения, затем поползли вперед. Одолели метров двести, проклиная острые камни и закрученные, непролазные, как колючая проволока, ветки низкорослого ивняка.

— Вон еще егеря сидят,— чуть слышно прошептал Докукин, ворохнув глазами на обрывистый выступ скалы в стороне распадка. На фоне неба четко вырисовывалась пилотка с длинным козырьком.

— Этим всю округу видно,— ответил старшина и подался назад.— Здесь ходу нет...

— Может, сопку окружить и берегом попробовать?

— Послушаем, что Лыткин с Забарой скажут... Можно и берегом, мы люди не гордые...

В это время в стороне распадка за ручьем грохнул взрыв.

Гнеушев и Докукин припали к камням, ожидая нового разрыва. Но в воздухе не послышалось ни скрипучего воя мин, ни нарастающего шелеста снарядов.

— А ну, давай, сержант, назад по-быстрому... В полмомента!

Лыткин и Забара подползли к распадку, куда заворачивал ручей, усталые и потные. За это время Остап не раз помянул неласковым словом Лыткина, назначенного старшим в паре.

Едва прошли кустарник, примыкавший к пещерке, как писарь дал команду ложиться.

— Чего без надобности ползти? — запротестовал Забара.— На Вороний мыс нашего пуза все равно не хватит... Здесь между каменюк и по-людски пройти можно.

— Ложись, тебе говорят,— строго повторил Лыткин, распластался на камнях и проворно пополз вперед.

Забара вздохнул и огорчился. Но он уважал армейские порядки и всякую команду выполнял добросовестно. Аккуратно подоткнув под ремень полы шинели, он лег на камни и двинулся вслед за Лыткиным.

Взмыленные от такого способа передвижения, как кони после доброй пробежки, они лежали теперь на закраине лощинки. Чтобы пройти в распадок, надо было одолеть метров полтораста пологого склона, на котором бугрились кочки, на удивление ровные и продолговатые, как могильные холмики на деревенском кладбище. Для полного сходства недоставало только крестов. Потом начинался ерник, вдоль которого можно было пробраться за поворот.

— Ну, поползли, что ли,— предложил Остап.— Поглядим, что там, и назад повертаемся.

Лыткин передернул плечами, словно ему вдруг стало холодно, и повернул к Забаре узкоскулое лицо.

— Гляди, вон тот крайний бугорок вроде как с места стронут,— свистящим шепотом заговорил он.— Видишь,

с одного краю на срез идет... С одного на срез, а с другого ровно...

Остап вгляделся, но никакого среза не увидел. Кочка как кочка. Таких кочек по здешним местам — миллионы...

— И вот там, подальше,— часто дыша в ухо, шептал напарник, то и дело передергивая плечами.— Видишь, как мох развален и осока примята.

— Ну?

— Баранки гну, балда непонятливая! — рассердился Лыткин, и глаза его округлились, стали похожи на рябенькие воробьиные яички. Левый глаз приметно начал косить, сбиваться к переносице, словно Игорь заглядывал внутрь самого себя.— Может, там минное поле... Полезем, а мина — трах! И ваши не пляшут.

— Какое там, к чертякам, минное поле? — растерянно сказал Остап, удивившись предположению напарника.— Егеря же не сплошные дурни, чтобы в пустом месте мины ставить... Ну и сочинил же ты! Кавуны на огуречной грядке шукаешь. «Минное поле»...

Забара подумал, что Лыткин первый раз в разведке и потому напала на него опаска сверх меры. На пузе вон с километр елозили, а теперь — «минное поле». Конечно, каждый к своему делу привычку имеет. Чего Лыткина на Вороний мыс понесло? Писал бы в роте всякие нужные бумаги и не совался, куда ему несподручно...

Никаких мин на склоне нет. А вот фрицевский секрет альбо снайпер где-нибудь в каменюках может запросто ховаться. Сунешься сейчас из-за валунов и схлопочешь свинцовую дульку. Обойти здесь никак нельзя. Только ерником и можно к завороту добраться.

— И вон там еще бугорок,— разгоряченно шептал напарник. Лицо его под нахлобученной ушанкой было маленьким и суетливым.

Забара вдруг рассмотрел, что голова у Лыткина длинная и сплюснутая с боков, как у хруща-бронзовика.

— Туточки всех бугорков не пересмотришь... Камни да эти лешачьи бугорки, только и есть... Коню попастись негде.

Высовываться первому на склон Остапу не хотелось. На войне Забара усвоил мудрость пословицы, которая не советует лезть поперед батьки в пекло. Старшим в паре был Лыткин, и рядовой разведчик Забара резонно ждал, что решит его командир.

Игорь вперед не двигался, а Остап никаких советов не давал, хотя и понимал, что лежать за камнями нет никакого толку. Старшина по справедливости выдаст хорошую прочуханку, если они не пройдут в распадок, испугавшись неведомого минного поля.

Да и худо получалось с советами у Забары. Стоило раскрыть рот, как сразу же находились насмешники и начинали сыпать, будто из мешка, ехидные подковырки. Обрезать зубоскалов Остап не умел, от насмешек тушевался и замолкал. Что мог сейчас он посоветовать Лыткину, который казался ему, колхозному конюху, человеком во много раз перешибавшим умом, грамотой и авторитетом.

— Пясец! Гляди-ка, зверина бежит! — удивленно прошептал Остап, и его палец с обломанным ногтем ткнулся в сторону ерника, где между кочек мелькнул проворный рыжий силуэт.— Точно пясец! Ух ты, рыжая морда...

— Мышкует... За леммингами охотится... На зиму жирок запасает...

— Кругом война, а природа, дивись, своего требует...

Песец петлял между кочек, то и дело застывая на месте с опущенной мордочкой. Вынюхать лемминга ему не удавалось. Остановившись на середине склона, зверек обиженно, совсем по-собачьи взлаял, задрал лапу, сделал нужное дело и стал напрямик подниматься туда, где в камнях темнели норы.

Песец прошел возле кочки, на которой по уверению Лыткина был подозрительный срез, и обежал пару раз ту, где показалась примятой осока.

— Видал? — не выдержал Забара.— Вот тебе и минное поле... Поползли!

— Куда поползли?

— К кустам... Ну что ты на меня очи выкатил?.. Давай я первый двину, а ты по моему следу...

— Нет, ты лучше один ползи, Забара... Зачем нам двоим туда соваться. Ты один ползи, а я тебя буду прикрывать...

— Прикрывать? — удивленно переспросил Остап. Вот как старшой дело поворачивает! Забара пусть под пули суется, а он за камешками полежит. Остап отправится распадок разведывать, а Лыткин издали его будет от смерти оберегать. Жди-дожидайся, что такой прикроет.

Нет, для разведки писарек не годится. В разведке вера в товарища должна быть крепкая. По краешку у смерти ходить доводится. Больше Остап с Лыткиным в паре и шагу не сделает. По возвращении он все, как есть, доложит старшине. В таких делах темнить нельзя. Пропадать по вине Лыткина Забара категорически не желает. У него еще много дел впереди. Коней же война под корень порушит, надо кому-то их снова поднимать. В селе, наверное, и хаты ни одной не осталось, тоже руки потребуются...

Ладно, раз так дело повернулось, один пройдет к распадку. Проскочит к ернику, а там уже не на пузе, а на своих двоих быстренько проберется к завороту скал, высмотрит, что надо, и возвратится к пещерке.

Остап поправил ремень автомата и высунулся из-под валуна. Уперся в камень носком сапога и неожиданно ловко подал крупное тело к ближней кочке. На мгновение сжался, застыл, оберегаясь очереди или снайперского выстрела.

Все было тихо. Раскачивались возле щеки граненые стебельки пушицы, кололся в подбородок вороничник. Из мха выжалась вода, промочила брюки и обволокла холодом ноги. Скосив глаза, Остап приметил, как из норы высунулась мордочка песца, встревоженного присутствием человека.

«Порядок,— подумал Забара.— Нема туточка егерей». Проворно виляя задом, разведчик пополз между кочек. Как опытный пластун, прижимался лицом к земле и чуть не до плеч подтягивал колени. Грузное, неловкое с виду тело приобрело в движении гибкость и упругую силу. Руки сами собой находили опору и подтягивали тело. Ноги подбирались в ритм движения, уверенно подталкивая вперед.

Забара был доволен самим собой, собственной решительностью и тем, что егерей поблизости не оказалось.

Сробел Лыткин по первому разу... С кем такое не случается?.. Увидит, что Забара запросто добрался к ернику, пересилит себя и тоже приползет... «Прикрывать». А от чего тут прикрывать? И про мины с перепугу выдумал. Злякался, одним словом, писарек...

Рука, выброшенная вперед, укололась о что-то пронзительно острое. Остап ничего не успел понять, как из мха вырвался слепящий, нестерпимо обжигающий лос-

кут желтого пламени. Земля вздыбилась, встала торчком, взлетела вверх и с грохотом посыпалась на разведчика Забару.

Лыткин оцепенел. Стиснув потной ладонью рот, он едва удержал крик. Игорь был уверен, что рядом с ним тоже всплеснется пламя и убьет его, как секунду назад убило Забару.

Они же на минном поле!

Игорь поднял голову и напряженными глазами стал обшаривать все вокруг. Каждый сантиметр, каждую складочку, каждый крохотный камешек. Увидел собственный след. Примятый мох, полосы на щебенке. Сообразил, что по следу можно уйти из страшного места. Проползти там, где они ползли раньше, не отклоняясь и на сантиметр в сторону.

Не послушал его Забара, полез без соображения... Нет, Игорь так не сделает. Он уйдет... Он придумает, как уйти...

Осторожно выбравшись из-под валуна, Лыткин пополз в камнях. От волнения и суетливости вдруг напал кашель. Писарь закусил грязный, пахнущий торфом рукав ватника. Перхал, не имея сил удержаться, елозил грудью по валуну, перебивая шершавую сухость в горле, боясь, что его могут услышать.

И вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Егеря же придут на взрыв! Увидят Забару, пойдут по следу и накроют Лыткина. Ползком от них не уйдешь...

Забару надо было вытащить с открытого склона, спрятать в камнях, чтобы фрицы не приметили, не догадались, что на Вороньем мысу русские разведчики, Игорь Лыткин...

И зачем только он пошел в разведгруппу!.. Можно же было все объяснить капитану. Сказать, что перед штурмом нельзя оголять участок боевой документации. Это же очень важная работа... Это же, если разобраться, в десять раз важнее, чем разведка на Вороний мыс. Можно было в дивизию позвонить, там в штабе Игоря тоже знают. Товарищ майор Алексеенко не согласился бы отпустить на Вороний мыс лучшего писаря. Он же всегда в срок все бумаги представляет! Мало ли что Епанешникову взбредет в голову. Если он Лыткина не-

долюбливает, это не значит, что можно его тыкать в каждую дыру. На командира роты тоже начальство есть...

Новый страх заставил писаря выползти на склон и одолеть сотню метров до неподвижного Забары.

Остап лежал возле черной воронки калачиком, как замерзший ребенок, подвернув большие ноги. Смертельный холод, с разрывом обрушившийся на него, заставил разведчика в последнее мгновение инстинктивно сжаться, чтобы уберечь последние капли исчезающего живого тепла. Крови не было видно. Лишь под шапкой, на левом виске, в коротких стриженых волосах, спеклась смертельная пробоинка. Глаза застыли, подернулись тусклой пленкой. Развороченный торф пах жженым железом и сладковатой гарью взрывчатки.

Под рукой тело Остапа безвольно колыхнулось, и снова накатил испуг. Забару можно затащить в камни, но взрыва же не скроешь. Егеря же захотят узнать, почему рванула мина...

Лыткин беспомощно огляделся, и в груди облегченно затукало. Метрах в пяти от развороченной кочки лежал убитый песец. Видно, при приближении разведчика зверек не выдержал, метнулся из норы в тот самый момент, когда взорвалась мина. Осколки и его уложили наповал.

Надо сделать так, чтобы егеря подумали, будто на мину наткнулся песец. Бывает ведь! Прошлый месяц в соседней дивизии олень на минном поле подорвался... И песец тоже мог! Для мины силы не надо. Задень усики, и она сразу бабахнет...

Лыткин ухватил песца за облезлый хвост и подтянул к краю опаленного взрывом торфа.

Не разберутся егеря! Издали увидят, что возле воронки лежит песец, и повернут назад. Не попрутся же они по минному полю, чтобы все до тонкости высмотреть.

Лыткин повернул к воронке оскаленную, залитую кровью голову песца и повиднее откинул облезлый хвост. Затем с трудом ухватил грузное тело Забары, повесил на шею его автомат и пополз к спасительным валунам. Мертвый Остап тяжелел с каждым метром, прижимал писаря ко мху, к колкой осоке, к камням, к затхлому торфу. Щетинистый, костенеющий уже его подбородок при каждом движении пугающе тыкался в шею.

Как хватило сил затащить тело Забары в валуны, Лыткин не мог сообразить. Он плашмя, без единого дви-

жения лежал на щебенке. Пот, заливавший лицо, осох, и навалился озноб. От валунов, как из погреба, подобрался холод, растекаясь по телу мелкой неудержимой дрожью. В груди закололо — и стало трудно дышать. Словно воздух загустел и с усилием, раздирая горло, протискивался в легкие. Сухой кашель начал выворачивать грудь. Писарь опять закусил рукав, но на этот раз ему не удалось справиться с кашлем. Увидев рядом лужицу воды, он подполз к ней, сделал глоток и вздрогнул от обжигающего холода. «Ну и пусть,— отчаянно подумал Лыткин.— Пусть уж лучше так...» Решительно приник к воде и стал торопливо глотать ее, пока не зашлись в судорогах челюсти. Кашель перебился, но озноб стал колотить с такой силой, что мелко начали клацать зубы и невозможно было остановить противное клацанье.

«Заболел я, теперь я больной...» — подумал писарь. От этой мысли пришло облегчение. Он больной и может только лежать под камнем и ждать, когда к нему придут на помощь. Не имеют же права кинуть без помощи больного...

Пришли егеря. Трое выскользнули из-за скалы в сотне метрах от Лыткина и сторожко приблизились к склону, где на торфе темнела оспина воронки. Увидели возле нее тощенького, одеревенело вытянувшегося песца. Оживились, опустили автоматы, стали переговариваться друг с другом, поочередно тыкая руками в сторону воронки.

Лыткин лежал, забившись под валун. Он понимал, что надо уходить, отползать подальше. Но слабость и накативший страх лишили сил. Стук собственного сердца казался буханьем парового молота, сотрясавшего громаду сопки. Писарь отчаянно думал, что немцы услышат этот стук, пройдут верхним краем, увидят и в упор ударят очередями...

Постояв на склоне невероятно долгие минуты, егеря скрылись за камнями.

Радость неожиданного спасения помогла Лыткину перебороть страх. Он не исчез. Просто удалось загнать его внутрь, и он застыл там, холодный и липкий, как недавний пот, выступивший на ладонях, сжимающих бесполезный автомат.

Неожиданно стало жарко. Душная испарина выступила под ватником, облепила тело банным теплом. Лицо

снова залил пот. Лыткин подполз к лужице и опять до ломоты в скулах напился ледяной воды. В горле ощутимо нарастала тупая боль.

— Лыткин! — негромко позвали из-за камня.— Ты чего тут ворошишься?

Усатое лицо сержанта Докукина оказалось рядом.

— Вот, Забару убило... Минное поле здесь,— ответил писарь, и кашель снова навалился на него.

— Дела,— протянул Гнеушев, выслушав рассказ разведчиков, притащивших к пещерке тело Остапа.— На кой хрен егерям понадобилось там мины ставить?

— Может, старое минное поле? — предположил Докукин.— Три года ведь война идет. За это время, считай, что под каждую кочку мин насовали. Может, старое...

— Не было боев на Вороньем мысу. В сорок первом мы южнее от границы уходили, а потом на мыс никто не толкался.

— Егеря и по-другому могут рассуждать. Вдоль ручья удобный подход к бухточке, вот его и перекрыли минным полем.

— Проще дозоры у распадка посадить...

— Ночи теперь темные... Мимо дозора и пройти можно, а минное поле не перескочишь.

— И так может быть,— согласился Гнеушев.— Раз минное поле устроили, значит, есть, что в бухточке хоронить... Не зря, значит, туда катера шныряют... А почему егеря по следу не пошли?

— Песца я к воронке подбросил, товарищ старшина,— слабым голосом ответил Игорь и раскашлялся.— Знобит меня... То в холод, то в жар кидает.

— Заболел,— озабоченно сказал Докукин.— Вишь, даже лицом срезался. Простыл, наверное, вчера в камнях, вот и прохватило...

— Ничего, Лыткин, пересидишь здесь в пещерке с Кобликовым и поправишься... Мы с Докукиным будем пока вдвоем орудовать. Насчет песца ты пустое говоришь. Не сплошные же фрицы дураки. Не нравится мне такое их поведение.

В рассказе Лыткина старшине было непонятно и то, почему Забара пошел на минное поле, а Лыткин остался в валунах. Он же был старшим в паре, первым должен

был двигать... Или парня слабость от болезни скрутила, и он не мог уже дальше ползти. Как же у него тогда сил хватило Забару вытащить и к пещерке возвратиться?..

— Остапа похоронить надо,— сказал Докукин.— Наповал кокнуло. Махонький осколочек, а так угодил, что нет человека. Тело надо земле предать...

— Разве в этих камнях земле предашь? — неожиданно тоскливым голосом откликнулся Гнеушев.— Насмерть деремся, а убьют, и могилы выкопать нельзя... Жалко Остапа.

— Про коней он мне рассказывал,— вздохнул Ленька Кобликов, поджал губы, и глаза его построжали.— Про жеребца Угупа... Родные у него есть?

— Конечно, есть,— ответил Докукин.— У каждого человека на свете родные есть. Без этого он произойти не может... У меня в Лахте, считай, полдеревни свояков. Нашей Докукинской фамилии целых два порядка домов наберется... В роте узнаем про родных и все отпишем... Вон меж тех камешков надо Забару упокоить.

В гранитную щель кинули охапку привянувших папоротников и на жидкую подстилку положили окоченевшее тело. Накрыли лицо ушанкой с подпаленным наушником и навалили сверху вороничник. Затем собрали плоские обломки скал, вывернули с десяток шершавых, источенных временем валунов и завалили гранитную щель, приютившую останки разведчика.

— Куча и куча,— сказал напоследок Докукин, оглядывая завал.— Поди догадайся, что под ней человек похоронен... Вздумают после войны могилу искать, ни за что не найдут. Мы и то запамятуем. Признак надо хоть какой-нибудь оставить. А, старшина?

— Для егерей твой признак в самый раз подойдет... Может, у Забары и родных никого не осталось. Ведь два раза война по его местам прокатилась.

— У кого родных нет, тому воевать свободнее. Убьют, так хоть смертью не осиротишь. А у меня четверо дома дожидаются... Надо в роту сообщить, что много егерей на Вороньем мысу.

— Сообщить, что много, это значит, ничего не сообщить,— возразил старшина. Он сидел на камне, комкая в руках ушанку, и в глазах его было тяжелое раздумье.— «Много» — понятие, сержант, растяжимое. Иногда и полк мало, а иногда и роты больше, чем достаточно. Ка-

питан «много-мало» не любит, ему подавай все до точности. Пока к бухточке не пройдем, не разберемся мы в здешних загадках... Почему все-таки егеря по следу не пошли?

— Берегом надо к бухточке пробираться.

— Попробуем берегом,— согласился старшина и, помолчав, добавил: — Если только они на нас по всем правилам облаву не наладят... Наследили мы здесь. Не разобрались толком, что к чему, и начали нахрапом пихаться... Должны были егеря по следу пойти. Или уж слепые они совсем, или есть у них насчет нас особое соображение... Кобликов, налаживай свою машинку. Чтобы в полмомента связь была!

Ленька развернул рацию и старательно принялся вертеть черные ручки, отстукивать позывные.

— «Чайка! Чайка!..» Я «Волна-один», прием!.. Я «Волна-один». Прием!

Капитан Епанешников принял сообщение про минное поле, и гибель Забары, и про странное поведение егерей, по всем признакам сосредоточивающимся в районе бухточки на западном берегу мыса.

Про болезнь Лыткина старшина сообщать не стал. Смешно было докладывать капитану, что человек, отправившись в разведку, схватил не пулю, не осколок, а обыкновенную простуду.

Привычно выбивая замысловатую дробь тире и точек, сообщавших о сосредоточении егерей на Вороньем мысу, Ленька Кобликов вдруг подумал, что не видели ведь они пока егерей. Не видели, а сообщают...

Получив приказ активизировать действия и уточнить численность противника на мысу, свернули рацию, устроили из вороничника в углу пещерки ложе для Игоря, помогли ему туда добраться и укрыли сверху ватником убитого Забары. Ватник снял Докукин, рассудив, что теперь он Остапу не нужен.

Потом пожевали сухарей с осточертевшей тресковой печенью. Холодный жир липко застревал в зубах, стягивал рот, и каждый глоток приходилось делать с усилием. Ленька Кобликов решился было проглотить серый, остро пахнущий кусок печени, но тут же сморщился и едва не вывалил на камни съеденные сухари.

Лишь Докукин с аппетитом уплетал тресковую печень. Подцеплял куском сухаря жир, с причмокиванием

обсасывал его и запивал водой на верхосытку. Он искренне удивлялся, что люди не имеют аппетита к такой еде. Это же повкуснее мясной тушенки!..

Солнце уже перевалило небесный пригорок и стало приметно склоняться к вершинам сопок.

— Не пошли бы егеря на нас облавой.

— Теперь уже не пойдут,— успокоил Гнеушев сержанта.— К вечеру дело двинулось. В темноте нас упустить можно. Сейчас они, наверное, только маракуют, как нас верняком накрыть... Завтра высмотрим подходящую ухоронку и устроим новоселье. Надо фрицам под самый нос залезть. Возле себя они шарить как следует не будут, кинутся подальше на мысу искать... Плохо, что Лыткин расхворался... Слышишь, опять его кашель одолел.

— Да, неловко вышло,— согласился Докукин.— Порошков бы каких-нибудь ему дать... Только нет ведь у нас порошков...

— Теплым его нужно напоить,— предложил Ленька.— Вскипятить воды и напоить... Ему бы легче стало.

Костер Гнеушев разводить не разрешил.

Глава 5

Гнеушев сидел на камне, сбив на затылок грязную ушанку. Старшина умел снимать часовых, кидать гранаты в блиндажи и пеленать «языков» так, что они не могли и пикнуть.

Сейчас он должен был сообразить, почему егеря не пошли по следу, почему сегодня они не устроили облаву.

Гнеушев морщил лоб, тер ладонью заросший подбородок и не мог понять, что тут к чему. Ерзал на камне и мучился собственной беспомощностью и ощущал, как исподволь, неотвратимо вызревает предчувствие беды.

Надо пробраться в бухточку. Как бы немцы ни перекрывали подходы, надо туда проникнуть, а уж потом... Что будет потом, Гнеушев представлял смутно, но решил отвлеченными мыслями себя не изводить, а соображать дальше по обстоятельствам.

«Пройду! — зло думал Василий Гнеушев, распаляя дерзкую самоуверенность, не раз выручавшую в трудные минуты.— У Муста-Тунтури на Рыбачьем потяжелее было, а ведь прошел...»

Полдня Гнеушев лазил по скалам, мок в торфяных болотцах, продирался сквозь ерник. Дал крюк с десяток километров, обошел дозоры и наблюдательные посты и в вечерние сумерки пробрался на сопку, загораживающую бухточку.

И теперь он лежал на покатом гранитном выступе и ничего толкового не мог разглядеть в загустевшем сумраке. Тьма круто наползла из расселин, смазала контуры, размыла видимость. Неумолчный шум прибоя мешал звуки, растворял их в темноте. Лишь изредка Василий видел, как в двух сотнях метров ниже, у подножья сопки рассыпались по ветру жидкие хвостики гаснущих искр, по которым можно было догадаться, что егеря сидят в тепле у железных печурок.

Старшина ежился на каменном пупыре и с солдатской терпеливостью ждал, когда придет рассвет. Ветер порывами гулял на плешине сопки. Уныло выл в щелях и накалял гранит пронизывающим холодом. Гнеушев изо всех сил натягивал куцые полы ватника, запахивал маскировочный комбинезон, дул на коченеющие пальцы.

«Ничего, вытерплю»,— уговаривал он сам себя, понимая, что не может уйти со скалы, куда с великими ухищрениями удалось пробраться. Слишком многое зависело теперь от того, что сумеет Гнеушев высмотреть здесь на рассвете, какие сведения сообщит «Чайке». Может, два-три слова спасут при штурме сотню ребят. Ради этого вот уже три года бывший токарь Василий Гнеушев ходит в разведку, забирается к черту на рога по тонкой тропочке между жизнью и смертью.

Старшина лежал против крепнувшего ветра. Морянка резала лицо, точила слезой озябшие глаза. Старшина моргал, смахивал слезинки рукавом и ругал егерей. Очень обидно было ежиться в скалах, как бездомной собачонке, когда рядом чужие на твоей земле грелись в землянках у теплых печек.

Своим чередом вершилась ночь. Перемещались в небе звезды, глухо и ровно шумело море. Темнота была огромной. От камней, от холодных сопок она уходила без единого просвета в бесконечность. В кромешной тьме одиноко ворочался на голом гранитном выступе живой человек Василий Гнеушев.

За полночь над морем, прочертив огненную полосу, взлетела ракета. В ответ с берега два раза мигнул ого-

нек — просигналили электрическим фонариком. Затем в бухточке послышались неразборчивые команды, и квадраты света от распахиваемых дверей землянок пропечатались в темноте.

«Заворошились... К чему бы это?» — подумал старшина, забыв про холод и непроглядную ночь.

Минут через двадцать он приметил в море наплывающие синие огни.

Катера! Так вот почему немцы палят по ночам ракеты. Это же катера сигналят о подходе. По ночам шуруют, тишком делишки обделывают...

Пригашенные огни наплывали все ближе и ближе. В размытых кругах света, падающих на рябую воду, выписался клин носа и застыл у берега. По скрипучей гальке протащили что-то тяжелое. Наверное, подавали сходни.

Немецкие команды Гнеушев не мог разобрать, но было ясно, что внизу происходит высадка людей. Уши улавливали смутный гомон голосов, скрип сходней. Отчетливо звякнул металл. Звездочкой просекла темень зажженная спичка, но короткий окрик тут же притушил светлячок.

Два раза к бухточке подходил катер. Гнеушев отчетливо слышал понятные теперь звуки, но сообразить, сколько человек прибывало на катере — двадцать или пятьдесят,— он не мог. Если вести счет по самому малому, можно прикинуть, что сегодняшней ночью в бухточке высадилось человек сорок егерей. А в другие ночи? Ведь движение катеров воздушная разведка засекла неделю назад. За это время в бухточку могли переправить целый батальон. Не шуточки, если егерский батальон ударит по флангу с перешейка. Он может опрокинуть наших в фиорд, накрыть их в воде пулеметами и минометным огнем. Кровавую кашу заварит. И минометы не потребуются — в здешней воде минут десять побарахтаешься, и сам пузыри пустишь...

«Вот что, гады, надумали»,— тяжело ворочалось в голове Гнеушева. Не зря он мерз на скале. Теперь «Чайка» получит главное сообщение: на Вороньем мысу сосредоточивается не менее батальона егерей для флангового удара...

С Докукиным старшина условился, что утром возвратится к пещерке. Но сейчас Гнеушев решил задержаться

у бухточки. Раз подлез он к егерям под самый нос, надо разведать все до точности. Может, они не только людей высаживали, может, они и еще кое-что сюда притащили...

Со скалы это не высмотришь, надо подобраться ближе.

Напрямик в бухточку нельзя было спуститься. Стометровый откос оберегал здесь немцев надежнее любого дозора.

Ночь была уже на изломе. Над морем стронулась темнота, стала пухнуть светлеющая полоска. Но это еще не рассвет, а первое одоление отступающей тьмы.

«Часа два в запасе есть»,— прикинул Гнеушев и решительно пошел по склону сопки на север. Там, он знал, скалы спускались к морю.

Гнеушеву повезло. Через полчаса он оказался на отмели, обнаженной отливом у подножья сопки. Обкатанная волнами галька-арешник была влажной и мягко шелестела под ногами. Старшина без помех прошел километра полтора, затем дорогу преградил выступ скалы, обрывающийся в воду. За ним была желанная бухточка. Обрадованный таким везением, Василий минут пять посидел в камнях, отдышался, вытер подкладкой ушанки потное лицо, проверил магазин в автомате и поближе к рукам сунул под ватник ребристые лимонки.

Медленно занимался рассвет. Из свинцовых сумерек проступило море. Укрощенная в равновесии отлива вода облизывала галечную отмель пенными языками, с шипением перекатывая, шлифуя камни. Отчетливее выписывались скалы, и лишь в расселинах упрямо таилась, не желала уходить темнота.

«В полмомента обернусь»,— решил Гнеушев, внимательно оглядывая светлый серп отмели. Через час-полтора прилив затопит удобный подход к бухточке, и неизвестно, можно ли выбраться отсюда по береговым скалам.

Поддернув голенища сапог, старшина шагнул в воду, чтобы обогнуть последнюю преграду, отделявшую от бухточки. Хватаясь руками за космы скользкого, пахнущего затхлой сыростью «морского гороха», он метр за метром огибал скалу. Сунулся рукой в жгучий студень медузы, застрявшей в выбоинке, выбрался на сушу и проворно юркнул в гранитную складку.

Бухточка была теперь перед ним как на ладони. Стиснутая скалами, изгибалась песчаная коса, прорезанная

ниткой впадающего в море ручья. Коса полого поднималась к подножию сопок. Возле ближней из них тянулись землянки. Покатые крыши сливались с камнем, и, только приглядевшись, можно было различить их длинный ряд. У крайней землянки белел ладный штабелек нарубленных дров и расхаживал часовой в долгополой шинели с автоматом за спиной.

«Хозяйственно устроились»,— зло подумал Гнеушев, наблюдая за часовым. Немцу, видно, было холодно. Он поднял воротник, сунул руки в рукава и через каждый десяток шагов пританцовывал, бил ботинком о ботинок, доходил до ручья и поворачивал обратно.

За ручьем под скалой неразборчиво темнело что-то продолговатое.

«Орудия! — догадался старшина.— Ну, конечно же. Пушки! Серьезный камуфлет вырисовывается...»

Гнеушев решил пройти поближе. Перебежать полсотни метров к квадратному валуну, за которым гранит прорезала расселина. Из нее можно будет рассмотреть как следует пушечки за ручьем.

Припадая к камням, Василий пополз вперед. Когда он уже достиг валуна и стал подниматься, сбоку метнулась тень и на плечи навалилась неожиданная тяжесть.

Рослый егерь оседлал Гнеушева, коленом уперся в поясницу и, сипло дыша в затылок, стал заламывать голову. Шею удушливо перепоясала жесткая рука. Мослатый кулак, пахнущий потом, отгибал назад подбородок. Скосив глаза, Гнеушев видел возле уха волосатые, по-звериному широкие ноздри тупого хрящеватого носа.

Немыслимым усилием старшине удалось отодвинуться от валуна. Потом, на мгновение притворившись, что уступает силе, он крутнулся и резко откинулся назад, ударив нападавшего о грань камня. Так, как это делают лоси, сбрасывая со спины волка.

Егерь глухо охнул, и рука под подбородком ослабла. Гнеушев вывернулся, коротко пнул немца в пах, выхватил финку и всадил туда, где угадывалась под шинелью ямка ключицы. Мягкий подбородок егеря странно дернулся, зрачки глаз стали бездонными и тут же, растеряв силу, увяли.

Часовой в долгополой шинели оцепенело смотрел на молчаливую схватку у валуна. Рука его рвала с плеча автомат, но ремень зацепился за погон, и это спасло

Гнеушева. Он успел юркнуть в расселину раньше, чем раздался всполошный крик часового.

— Аларм!.. Аларм!..

По камню, рядом с головой рассыпался автоматный высев, осколки гранита по-осиному остро кусанули щеку.

Гнеушев бежал, пригибаясь за валунами. Теперь его могли выручить только ноги. Спасительная щель забирала вправо, становилась шире и глубже. Ее отвесные стены надежно защищали разведчика. Стрельба сзади отставала, и топота нагоняющих ног тоже не было слышно.

Гнеушев облегченно подумал, что уйдет. Оторвется, как не раз бывало, от егерей, спрячется в скалах от погони, пересидит шум, а потом проберется к пещерке, сообщит «Чайке» все, что нужно, и уведет группу к берегу. Пока егеря, растопырив руки, будут шарить по мысу, подоспеет мотобот и примет разведчиков...

За очередным поворотом расселина оборвалась гранитной стеной, перегородившей путь. Старшина замедлил бег, растерянно метнулся в одну сторону, в другую, наталкиваясь на отвесы камня. Щель оказалась каменным мешком, западней. Гнеушева с трех сторон обступили скалы, ошарашивая неодолимой крутизной откосов. Западня была безысходна, как тюремная одиночка.

Василий тяжело дышал, прижавшись спиной к гранитной стене. Глаза метались по камню, отчаянно высматривая какой-нибудь спасительный уступчик, трещинку, малую щелку. Выискивали лазейку, по которой можно было рвануться наверх и оказаться на свободе.

В горячке, по-дурному кинулся разведчик в расселину, спасаясь от очереди. Надо было от валуна бежать назад, нырнуть за скалу, уходить по галечной отмели. Сам же сунул голову в ловушку...

«Пробьюсь!» — выплыла отчаянная мысль. Рука нырнула под ватник, уцепила гранату. Привычное прикосновение к ребристому тяжелому металлу успокоило мысли. Как всегда случалось в минуту острой опасности, они собрались, как в фокусе, в единственной точке: «Пробьюсь!»

Разведчик отогнул зажимы, вытащил из запала чеку и пошел навстречу тем, от кого минуту назад удирал со всех ног. Он решил сойтись с егерями, притаиться за камнем и оглушить преследующих гранатами. Развернуть очередь на весь магазин и кинуться в брешь, пробитую

в цепочке погони, в самую гущу, когда палец невольно замирает на спуске, остерегаясь, что пуля хлестанет своего же.

Гнеушев скользил вдоль гранитной стенки, ожидая, что вот-вот увидит нестройную кучку бегущих егерей. Нужно накрыть их врасплох. Они наверняка считают, что Гнеушев удирает без оглядки, и валят вдогон, не очень остерегаясь.

Егеря не торопились. Они знали, что из расселины нет выхода. Понимали, что, добежав до каменного мешка, русский разведчик не станет ожидать, пока погоня накроет в мышеловке. Если он проник в тщательно охраняемую бухточку, то просто он не дастся в руки. Альпийские егеря, повоевав три года в сопках Заполярья, выучились будничному ремеслу войны и хорошо узнали упрямый характер русских, дравшихся за пустые скалы так, словно под ногами у них лежали золотые россыпи.

Кроме того, у них был приказ обер-лейтенанта, руководившего операцией на Вороньем мысу: разведчика взять живым.

Они не побежали очертя голову, как надеялся Гнеушев. Они залегли в камнях и стали поджидать, когда русский вывернется из-за поворота. Тут было десять метров нагой, голой щебенки, утрамбованной дождями и ветрами. Этой плешины русскому не миновать.

Гнеушев решился перебежать плешину.

Тут его поймала расчетливо нацеленная очередь. Пучок добела раскаленных прутьев с размаху ткнулся в правое бедро. Ногу тяжело и глухо связали невидимые путы. Боли Гнеушев не почувствовал. Он ощутил лишь тупой удар и жар, непонятно обессиливший тело.

У старшины хватило сил сделать отчаянный прыжок назад, под прикрытие скалы.

— Рус, сдавайс!.. Иван капут!

Ломаные, увечившие привычные слова выкрики из-за валунов, непослушная нога с липучей струйкой от бедра к колену заставили Гнеушева заскрежетать зубами от бессилия и ярости. Он выругался и швырнул за скалу две лимонки. Когда отгрохотали разрывы, пополз по щели, волоча простреленную ногу. Он понимал, что далеко не уйдет. Глаза, обшаривающие камни, приметили

выбоину, загороженную валунами. Гранитная стенка над выбоиной выпячивалась массивным козырьком.

Гнеушев успел забраться в каменную нору и, когда из-за поворота показался егерь, он ударил в него злой, без нужды длинной очередью.

Это дало передышку.

В простреленном бедре разгорался огонь. Он, как дерево, пускал в теле корни. Боль вязальными спицами пронизала ногу и поднималась к пояснице.

Гнеушев полоснул финкой штанину и увидел грязное бедро, залитое кровью. Кривясь от боли, старшина разорвал индивидуальный пакет и неумело обмотал рану. Кровь продолжала выжиматься горячими струйками. Второпях наложенный бинт сразу промок... Расстегнув комбинезон, Василий оторвал край гимнастерки и заскорузлую от грязи и пота полосу материи намотал поверх бинта.

«Сволочуги, вот же сволочуги,— бормотал Гнеушев.— По ноге шлепнули!»

Каменная нора, куда ему в самый последний момент удалось забраться, находилась на повороте расселины. Обзор был хороший. От стенки до стенки пространство просматривалось метров на семьдесят.

«Еще повоюем,— тоскливо подумал Василий, сознавая, что выхода отсюда нет.— Поглядим еще...»

Он поудобнее устроился за камнями, вытащил запасные магазины и последнюю лимонку.

Устойчиво и ровно разливался, набирал силу утренний свет. Над сопками вздымалось лазоревое небо, и в нем стыли длинные острые облака, похожие на перья, уроненные чайками. По отвесной скале, из-за которой, брызгая очередями, то и дело выскакивали егеря, тянулась, прижимаясь к щербатому граниту, одинокая с узловатым стволом березка. Видно, здесь ветер щепоть за щепотью нанес в неприметную трещину крохи родящей земли. В них упало летучее семечко, бездумно пустив живые корни в неуютном месте. И вот однажды весной на диком камне, на пригреве, защищенном от злых морянок, вспыхнуло несколько зеленых, зазубренных, как копеечные монетки, огоньков и стал расти, набирая силу, березовый стволик. Выбросил листья и, прожив еще одно трудное лето, теперь в свой срок завял и неслышно сливал киноварные круглые скорлупки. Они планировали в

воздухе и ложились на камни, чтобы истлеть, оставив после себя малую частицу земли...

Пули чиркали по скале и с дурным цвиньканьем рикошетировали, уходя вверх от гранитного козырька, от стенки.

Егеря кричали, чтобы разведчик сдавался. Гнеушев сначала посылал в ответ очереди, потом сообразил, что надо беречь патроны.

Пришло сознание неотвратимости собственной гибели. Инстинкт самосохранения, заложенный в каждую клетку, отчаянно метался в поисках спасения, протестовал против надвигающейся смерти. Но здравый рассудок гасил бесполезные мысли о несбыточном спасении. Чудес на свете не бывает. Никто, кроме самого Гнеушева, не мог сейчас отдалить его смерть.

Но Василий знал, что живым не сдастся.

Странно, но, осознав неотвратимость конца, Гнеушев почувствовал облегчение. Пришло ощущение силы и неуязвимости. Ведь за смертью не было ничего — ни страха, ни боли, ни усталости. Была пустота, и этой пустотой Гнеушев приподнялся вдруг над егерями, почувствовал собственное горькое превосходство над теми, кто стрелял в него из-за скалы. Превосходство над тысячами, над миллионами врагов, над их пушками, минометами, генералами, над всей их дьявольской машиной, настроенной, чтобы убивать.

Страх отодвинулся. Осталась единственная мысль — как можно дороже продать остаток жизни, те короткие минуты, отделяющие Василия Гнеушева от вековечной тьмы, в которой не будет ни неба, ни киноварных скорлупок березовых листьев, гомона растревоженных чаек, камней, рассыпчатых автоматных очередей. Не будет Василия Гнеушева.

Он сумеет дорого продать эти минуты. Обидно было погибать, сознавая, что вместе с тобой исчезнут драгоценные сведения, нужные, чтобы спасти других. Они бесполезно канут в мрак. Смертью, а не спасенными жизнями пометит Гнеушев свои последние минуты...

Притихнув, разведчик обманул егерей. Из-за скалы осторожно высунулась пилотка. Скрылась и, осмелев, показалась снова. Под ней круглое, смятенное настороженностью лицо и ищущие глаза. Рокотнул короткоствольный «шмайсер», выбросив веер свинцовых жуковинок.

Гнеушев не ответил на очередь. Тогда стрелявший метнулся к ближнему камню.

Василий сбил его. Егерь на бегу согнулся и, подламывая ватные ноги, осел на землю. В агонии немец мычал, елозил по камням простреленной головой, окрашиваясь собственной кровью. Разинутый рот хватал и не мог ухватить воздух. Ноги в подкованных ботинках скребли землю, оставляя на ней короткие борозды.

Страдания умирающего человека заставили Гнеушева содрогнуться. Василий скрипнул зубами и послал еще очередь, прикончив егеря наповал.

Теперь молчанию разведчика не верили. Из-за скалы больше никто не выскакивал, но оттуда стали сыпать частыми очередями. Нора надежно укрывала Василия. Брошенная откуда-то сверху граната с длинной ручкой ударилась о козырек, отскочила и взорвалась за камнем, не причинив разведчику вреда.

Потом очереди стали реже. Егеря сообразили, что автоматами русского не достать.

Василий снова получил отсрочку. Напряжение боя ослабло, и в голове сами собой стали проплывать картины прожитой жизни. Вспомнилось письмо сестры, полученное три недели назад.

В августе сорок первого выпускник ФЗО, полгода простоявший за стареньким токарным «вандерером», получил повестку военкомата, надел шинель и пошел воевать за родную землю. Отступал, брал города и высотки, валялся в госпиталях, ходил в разведку. Кидала его военная судьба с одного места на другое, и оказался он в конце концов на краю земли. В начале войны Василий потерял связь с домом, оставшимся за линией фронта. Понемногу смирился с тем, что вряд ли кто из родных уцелел в кровавой заварухе. И вот неожиданно отыскало его письмо Валентинки. Живы были и отец и мать.

— Рус, сдавайс! — крикнули из-за скалы.— Сдавайс, Иван!..

Василия вдруг ожгла мысль, что никто не узнает о его последнем бое, о честной солдатской смерти.

«Пропал без вести» — так напишут в штабе и пошлют домой извещение за подписью капитана Епанешникова и печатью.

Лешка Беляев сдаст, как положено, комсомольский билет Василия Гнеушева, оставленный им в роте перед уходом на Вороний мыс.

Не раз доводилось Гнеушеву видеть, как после боев собирал его друг, комсорг разведроты, горестную пачку билетов.

В ней теперь окажется и билет Василия Гнеушева, двадцати двух лет от роду, комсомольца с одна тысяча девятьсот тридцать девятого года, выданный Порховским горкомом ВЛКСМ. Полистает Лешка страницы с отметками об уплате членских взносов, посмотрит на крохотную фотографию, где запечатлен курносый ученик ФЗО, старшина, помощник командира взвода, с которым два года вместе воевал Беляев. Ходил на задания, спал в одной землянке, в кого верил как в себя, прикрывал огнем и делил последний сухарь. Кого выручил два месяца назад под Муста-Тунтури, когда разведка нарвалась на засаду. Километра три тогда протащил на себе Алексей Беляев своего друга Гнеушева. А тот вот так, по-дурному, сунулся в ловушку на Вороньем мысу.

Гнеушева уже не будет на свете, а его билет еще будет жить по всей форме, пока старший сержант Беляев самолично впишет фамилию и номер в горькую сопроводилку, где тоже поставят в графе «пропал без вести».

Обидные и несправедливые слова. Родился Гнеушев, в школе учился, токарил, воевал, и бесследно исчезнуть он не может. Человек может жить или умереть. А чья-то хитрая голова придумала ему еще третью судьбу. Увертливые и тягучие слова, к которым можно приспособить любую придумку.

А вдруг решат, что Гнеушев сдался в плен?

На ноге расплывалось липкое пятно, и голову заволакивало расслабляющим туманом.

А вдруг он потеряет сознание и попадет в лапы егерям?

Мысль была так страшна, что захотелось выйти из укрытия с гранатой в руке.

Василий попытался подогнуть раненую ногу, но она не послушалась. Странно было ощущать, что собственная нога, всю жизнь сгибавшаяся и разгибавшаяся по первому желанию, отказывается повиноваться. Лежала недвижимая, чужая и тяжелая.

Кровь медленно сочилась сквозь повязку. Вместе с красной жидкостью в пробоину мышц из тела уходили силы. Наваливалась сонная вялость, сохли губы, и в ушах принялись назойливо попискивать невидимые комарики. Холодная боль неотвратимо подползала туда, где гулко, с надрывом колотилось сердце.

Василий понял, что кинуться с гранатой он не сумеет. Провел слабеющими пальцами по рубчатому боку лимонки и решил, что в самый последний момент рванет чеку и зажмет гранату в кулаке. Когда егеря набегут, отпустит планку. Щелкнет по запалу ударник, искра сожжет пороховой столбик, и грохнет взрыв, которого Гнеушев уже не услышит...

Затем сознание замутилось. Наплыла сухая душная дымка. Закрутила в цветастой, прорезанной искрами, карусели небо, скалы и узловатую, одинокую березку, неспешно свивавшую лист за листом.

«Ребята... Ребята как без меня в пещерке... Не уйти ведь им. Докукин, сержант... Про бухточку не узнать... Кобликов совсем пацаненок...»

Когда Василий пришел в себя, он увидел в трех метрах сухое лицо и бездонное дуло нацеленного в упор автомата.

Рука потянулась к гранате, но егерь опередил. Черный зрак «шмайсера» вспыхнул ослепительным пламенем. Оно ударило в грудь, прожгло, пронзило насквозь, кинуло в вертящуюся бездну.

Василий не умер. Егеря вытащили из норы разведчика с простреленной грудью, где еще упрямо пульсировала жизнь. Подобрали его автомат, магазины и неизрасходованную лимонку. Проволокли по гранитной расселине и швырнули на песок возле землянки в бухточке.

Острая боль в теле, растревоженном ударами о камни, толчками автоматов и рывками жестких рук, возвратила Гнеушеву сознание. Он увидел перед собой стену, уложенную из неровных валунов с прокладкой ягеля и коричневых дернин осыпающегося торфа.

«Как у нас в роте»,— подумал Василий, удивляясь, что все еще продолжает жить на свете.

Разведчика ухватили за плечи и прислонили спиной к валунам.

Перед глазами Василия оказалось море. Бескрайний разлив воды, колыхающейся складками мертвой зыби.

Вода была в двух десятках метров, шипучими языками облизывала закраины песчаной косы. Шел прилив, и море наступало на берег.

Мучительно хотелось пить. Во рту наплыла горькая сухость, язык, казалось, распух и непослушно ворочался, требуя хоть каплю влаги. Ведь ее бесконечно много было совсем рядом. От этого жажда казалась невыносимой, и за один глоток Василий отдал бы сейчас то немногое, что еще оставалось у него.

Он с трудом оторвал глаза от моря и удивился. Прибрежный песок, завитый ветром в остренькие барханчики, был почти не тронут человеческими следами.

И егерей возле разведчика стояло немного. Пять человек и щекастый приземистый офицер с обер-лейтенантскими погонами и тяжелой кобурой парабеллума.

То, что в обманной предрассветной мгле старшина принял за ряд землянок, оказалось грядой причудливых скал, обточенных штормовыми ветрами. Не минометы, не пушки были за ручьем под отвесной стенкой, а беспорядочно накиданные морем стволы плавника...

Сознание вновь заволокло туманом. Нестерпимо знойный, он окутал голову, застлал глаза, обжег раскрытый рот. Осень была, знобкая заполярная осень... Откуда же взялся такой горячий туман?

Мысли смешались, и в голове начали пробиваться бессвязные картины. Рядом почему-то оказалась босоногая Валентинка в ситцевом платье с алыми горошинами. В руке у нее было пустое ведро. Смешно переступая голенастыми ногами, она торопилась по песку и оставалась на месте. Под ней не осыпались гребешки песчаных барханчиков. Не оставалось ни одного следа... Потом придвинулся капитан Епанешников, свел к переносице мохнатые брови, качнулся на каблуках и тут же рассыпался, раскололся блескучими брызгами, как зеркало, кинутое о камень. Ленька Кобликов, вздергивая тонкой шеей, лихорадочно сыпал морзянку, передавая сообщение о сосредоточении егерей на Вороньем мысу. Клювик железного ключа торопливо бился о контакт, и Гнеушев никак не мог дотянуться, рвануть ключ из Ленькиных рук...

Офицер что-то спрашивал, но Василий не слышал его. Он видел, как на лице офицера смешно шевелились губы, и монотонное «бу-бу-бу» достигало разведчика.

Не было землянок в бухточке... Камни, пустые обломки скал находились на песчаном склоне между морем и отвесом сопок.

Короткие минуты, которые оставалось прожить Василию, были смяты, раздавлены осознанием собственной ошибки. Как мальчишку, провел щекастый офицер командира разведгруппы Гнеушева. Зря пошлет штаб прикрытие в сторону Вороньего мыса и ослабит удар по батареям. Может, целый батальон попусту пролежит в валунах на перешейке, потому что Гнеушев не сумел все сообразить, не мог во всем разобраться.

А теперь уже ничего нельзя поправить. Только жизнь дает человеку возможности и силы. У смерти же ничего такого не остается. Василий уходил во мрак с сознанием, что его хитро ограбили напоследок.

У него хватило сил воспротивиться. Он приподнялся и плюнул в офицера розовой пеной, наплывавшей во рту. Липкий сгусток упал на песок возле начищенного сапога с жестким, обтягивающим икру голенищем.

Сапог отступил на шаг. Раздалась короткая команда, и перед лицом Василия появился тяжелый, с металлическими шипами на подошве, ботинок горного егеря. Качнулся, прицеливаясь, отошел назад и с сокрушающей силой ударил Гнеушева в простреленную грудь.

Вспыхнуло оранжевое пламя. Море колыхнулось и стало съеживаться в берегах, сбираться в ярко-синий серпик, в ослепительно сверкающее блюдце, в обжигающую точку.

Она взорвалась, и Гнеушев обмяк, закрыл глаза и упал лицом в песок, раскинув руки. Словно последним движением хотел обнять землю, за которую довелось драться смертным боем. Хотел обнять, а руки оказались малы. Царапнули песок скрюченными пальцами и застыли.

Большое солнце катилось над морем, над грядой молчаливых сопок, над моховыми болотами и валунами. Небесный шар привычно посылал на землю щедрое тепло, не ведая, что в это мгновение на сыпучем песке в безымянной бухточке убили человека.

Вопили чайки, скользили над морем на выгнутых крыльях. В расселине за ручьем сердито хрипел старый крепкоклювый баклан, растревоженный суетой на берегу бухточки.

Жило море. Работало без устали. Катило к берегу волны. Выгибая упругие спины, они кидались на камни и разбивались в прах. Крепко пахло ветром, гнилью старого плавника и аптечным ароматом выброшенных на песок водорослей.

Обер-лейтенант отстегнул клапан кобуры, вытащил парабеллум, привычно вздернул пуговки взвода и для надежности выстрелил в затылок распластавшегося на песке русского разведчика. Потом отдал приказ о ликвидации группы противника на Вороньем мысу.

Глава 6

— Ты поешь, Игорь, поешь,— уговаривал Докукин, подсовывая Лыткину котелок с бурой жижицей растолченного сухаря.— Поешь, без питания совсем сил не будет...

Лыткин лежал, вдавив голову в смятые стебли вороничника. Дыхание его было слабым, и тело раз за разом вздрагивало, напрягаясь в бессильных потугах что-то выкашлять.

— Вот ведь оказия,— огорчился сержант.— Не ест он сухари...

Докукин тряхнул вещевой мешок. Глухим стуком отозвались банки с тресковой печенью, осточертевшей даже сержанту.

— Одни консервы остались... Двенадцать банок...

Ленька сглотнул голодную слюну. Вчера Докукин дал ему пригоршню сухарных крошек, и с тех пор Кобликов питался только брусникой.

— Лыткину легкую пищу надо, а где ее взять? Конечно, тело у него молодое, крепкое. Оно от болезни выправится... Старшины не видно, Кобликов? Должен уже быть?..

— Не видно,— откликнулся Ленька, лежавший в кустах с карабином наизготовку.— Может, случилось что с ним, товарищ сержант?

— «Случилось»,— сварливо передразнил Докукин.— Что языком попусту мелешь?.. Ты от наблюдений не отвлекайся... Подкатит к нам немчура, тогда будут по всем статьям именины... Старшина в бухточке наверное все высмотрел... Считай, что наше дело сделано.

Вчера вечером «Чайка», получив очередное донесение, приказала «Волне-один» готовиться к отходу. Группа скрытно должна была отойти к берегу и ждать подхода мотобота. Сигнал — две зеленых вспышки, ответ — три красных...

Самое лучшее было уйти из пещерки сейчас, когда утро еще не набрало силы, когда неяркая, обманная завесь рассвета размазывала контуры скал, камней, кустов и гранитных расселин. Так было условлено с Гнеушевым.

Но старшина к пещере не возвращался, и Докукин с каждой истекающей минутой тревожился все больше и больше. Опасливая мысль, что стряслась беда, превращалась в уверенность, и Докукин не мог придумать, как ему поступить. Без старшины от пещерки уйти нельзя, а оставаться в неизвестности было еще хуже. Так досидишься и до облавы, которая накроет в кустах, как куропаток. Подула с носа поветерь, кормщику в зубы...

Сержант прошел в кусты и лег рядом с Кобликовым. Жалел Докукин, что у него нет сына. Так природа повернула, что девки подряд сыпались. Старшей Анастасии уже пятнадцать годов. После войны, глядишь, и сваты заявятся.

Докукин покосился на груду валунов, под которыми упокоился Забара, и подумал, что много девок в засидках останется, в залетных невестушках. Сколько женихов на войне убивает. Вот таких, как Ленька Кобликов. Они еще стричься-бриться не начали, а кладут их пули и осколки в сырую землю без всякой жалости. Весь мужицкий цвет в войне выгорит. Катерина пишет, кому в Лахте похоронки приходят. Докукин сначала держал всех в памяти, а потом уже со счета сбился. Написал передать поклон Ерофею Кудомину, а его уже три месяца в живых нет.

Ладная Настенька девчушка. Лицо кругленькое, и телом взяла и характером. С людьми поладлива и говоркая. Волосы мягкие, словно чесаный лен, и на щеке ямочка... Второй, Саньке, десятый год пошел. Ту похвалить нельзя. От горшка два вершка, а что зарубит на ум, ты хоть ее наизнанку выверни, на своем настоит. Тамарка, та совсем мала, сырое еще тесто. На войну уходил, в зыбке качалась, пузыри пускала.

Катерина как там? Пишет в каждом письме, что жизнь у них хорошая, все здоровы, того и вам желаем...

Только не верит Докукин про «жизнь хорошую». Какая тут может быть жизнь, если навалилась из края в край такая беда. Мужики воюют, а кормят их, обувают, одевают, оружие и припасы готовят бабы да ребята-недоростки.

Свыше сил приходится ломить сейчас Катерине работу. За себя дело делать и мужнюю долю прихватывать. Сладкая рыбка — семужка, но добыть ее — великий труд нужен. Сейчас у них самая путина, осенний ход... А кроме этого по дому, по хозяйству дел невпроворот. И топкой надо запастись, и одежу-обувку к зиме приготовить.

На часок бы хоть домой попасть. Одним глазком бы взглянуть, потом снова воевать можно. Не за тридевять земель ехать. Всего полторы сотни километров было от Вороньего мыса до рыбацкой деревни Лахты, где родился и вырос Павел Акимович Докукин.

Хулили солдаты здешнюю землю, а Докукину она была милей любой другой на свете. Вот эти скалы, гранитные уступы, заросшие вороничником, кусты полярных берез, одинокие рябинки на солнечных пригорках. Моховые болота, каждой весной украшающиеся кипенью пушицы, кочки с желтыми звездочками спелой морошки, полярные маки, разливы камнеломок на осыпях.

А главней всего — море. Оно здесь — начало и конец всему. То ласковое, отливающее в заливах зеркальным блеском, то грозное и неодолимое. Море жило могучей жизнью. Два раза в сутки приливало к берегам, носило на себе карбасы, мотоботы и траулеры, нагуливало в глубинах сытые косяки рыб. На море здесь жили люди, морем кормились, и многие из них кончали жизнь на море. Про них так и говорили: «море взяло»...

С малолетства бегал Докукин по таким вот скалам, купался, едва сходил лед, в безымянных озерках, похожих на то, что виднелось сейчас в полукилометре от пещерки...

А однажды июньским вечером, когда без захода катается по небу солнце, прошел рука об руку по песчаной кромке отлива с соседской девушкой Катей. У нее были светлые, как летнее северное небо, глаза, тяжелая коса, скрипучие гамаши и широкие сильные бедра. От ее гор-

танного смеха у Пашки стискивало дыхание и щекотно становилось между лопаток.

Строгие порядки были в Лахте: провел девушку под руку на глазах у людей — вот ты и жених. До свадьбы Павел ни разу не осмелился поцеловать суженую, зато потом сладко призарила его Катерина, щедро отдарила любовью.

Построил себе Павел Докукин прочный, рубленный «в лапу» дом, окнами на реку, и стал, как все в Лахте, промышлять рыбой.

Разве думалось, что кто-то польстится на его простую, в больших трудах жизнь. Но пришла лихая година. Снял бригадир семужьей бригады промасленный желтый рокан, отгрохал прощальную вечеринку и отправился на распроклятую войну.

Проводила Катерина мужа до пристани. Полушалок с кистями накинула, надела новое платье и туфли со светлыми пряжками. А лицо было белей бересты и в глазах мука мученическая. Обняла мужа, припала к нему каждой жилочкой и сказала, что ждать будет ясное свое солнышко, свет свой единственный.

Когда катер с призванными стал заворачивать за мыс, сдернула Катерина с головы полушалок и, забыв строгий поморский обычай, запрещающий женщине быть на людях с непокрытой головой, замахала отчаянно и часто.

На проводах при посторонних ни слезинки не выронила. Ночью в одиночку, в своих стенах исходила горем. Причитала в голос и заламывала руки, прижимала к себе малолетних дочерей.

Выплакалась, накормила грудью Тамарку и пошла на работу.

— Не видать старшины,— повторил Кобликов.

В словах Леньки мешались недоумение, тревога и вопрос. Понял сержант, что ждет радист его решения, недоумевает, почему Докукин лежит рядом в кустах.

«У моря ждать погоду»,— вспомнилась Павлу Акимовичу рыбацкая присказка. Никогда от такого ничего хорошего не выходило. Надо идти к бухточке, проведать, что там стряслось. Не мог старшина без причины задержаться. Уговор был, что придет он на первой заре...

— Вот так, значит, Кобликов... К бухточке я пойду, а ты тут меня жди. За озерко гляди, глаза не вынимай.

Случаем егеря навалятся, принимай бой. Мы с Гнеушевым на подмогу подоспеем... Тут дожидайся.

Замолчал, моргнул рыжеватыми ресницами, поправил ушанку и продолжил:

— Все равно тебе с Лыткиным от немцев не убежать... Ты его водичкой попой, а оклемается, сухариков дай... Они там в уголок поставлены, папоротником прикрытые.

Ленька кивнул. В серых глазах плеснулся испуг, но радист пересилил его. Понял, что на поиски старшины Докукину надо идти.

Егеря сержант увидел неожиданно. Спрыгнув с очередного уступа, он едва не наскочил на врага. В двух шагах спиной к нему за валуном горбатился здоровенный фриц в темно-зеленой шинели с поднятым воротником и в нахлобученной пилотке.

Прежде чем егерь повернулся, Докукин выхватил финку, и острая сталь по рукоять воткнулась в сукно чужой шинели.

Что-то негромко хрустнуло, и егерь завалился на бок. Не всхлипнул, не сделал ни единого движения. Нож тоже на удивление легко вошел в тело, и на распоротой шинели не показалось и пятнышка крови.

Докукин вырвал финку и только тут сообразил, что за валуном пристроено чучело. Старая шинель с разорванной полой, набитая мхом и комками рассыпающегося в пальцах торфа. Пучок березовых веток торчал из воротника и на него была нахлобучена пилотка.

«Кукла»,— растерянно подумал сержант.

Разведчик поднял сбитый ударом ножа манекен и пристроил его на прежнее место за валуном. Отполз в сторону и прикинул, что чучело поставлено с таким расчетом, что его обязательно должны были увидеть от озера.

Наверное, Гнеушев и Докукин, разведывая подход к бухточке вдоль ручья, видели это чучело. Пугались шинели, набитой мхом и торфом, притихали, по-рачьи пятились в валунах и за километр оползали встреченный «дозор».

Вот тебе и загогулина! С чего это егерям вместо настоящих дозоров ставить чучела?..

Что-то тут не так... Смутное беспокойство разлилось

острей, но размышлять было некогда. Надо скорее добираться к бухточке.

Приметив на пути еще одну пилотку за камнем, Докукин не стал, как раньше, пятиться, а залег, присмотрелся и сплюнул от злости. В камнях опять была пристроена шинель, набитая всякой дрянью.

Дурачат же их егеря! А они тоже — разведчики называются. Как мальки, с ходу заглотнули наживку и дали водить себя на коротком поводке. Наверное, и с песцом, подкинутым Лыткиным на минное поле, все обошлось спокойно, потому что егеря не хотели до времени тревожить группу. Пусть, мол, разведывают себе на здоровье, донесения по рации передают...

За покатой, изрезанной щелями сопкой грохотнули, раскатились, приумолкли на несколько мгновений и устойчиво застучали очереди. Привычное ухо уловило в них глуховатое татаканье пэпэша. Автомат бил не сплошной строкой, а с паузами, расчетливо и прицельно.

«Гнеушев»,— хлестнула тревожная мысль. Когда рвануло несколько гранатных взрывов, сомнений не осталось: старшина попал в беду. Огибать сопку и окружным путем пробираться в бухточку теперь уже не было времени. Сержант двинул напрямик.

Сам того не зная, Докукин вышел к гололобой скале, где ночью лежал Гнеушев.

В ясном свете утра бухточка была перед Докукиным как на ладони. Одинокая землянка, где неуютно топтался часовой, вслушиваясь в стрельбу, под скалой, на зеленом языке вороничника, полевая кухня с толстой черной трубой. Возле землянки был штабелек дров, а у кухни Докукин не увидел ни одного полешка. И повар около нее не топтался, хотя время подходило к завтраку, не суетились дневальные, никто не подходил с котелками. Как же так? Кухня — и без людей?..

Близкая стрельба не очень тревожила обитателей бухточки. Из землянки одиноко вышел офицер, о чем-то переговорил с часовым и снова возвратился в землянку.

Сержант пополз в ту сторону, где гремели автоматные очереди, но отвесная скала преградила путь. С полчаса Докукин лазил по гранитным откосам, беспокойно вслушиваясь в отрывистое стрекотание автоматов. В ту сторону с сопки хода не было. Докукин уже было решил идти берегом, но стрельба в скалах оборвалась. С чет-

верть часа сержант ждал, что снова знакомо рокотнет пэпэша.

«Неуж все...» — обреченно подумал Докукин.

Потом он возвратился на скалу и оттуда увидел, как двое егерей приволокли Гнеушева и кинули возле землянки перед офицером с опрятными рыбками серебряных погон.

Рука сама собой потянулась к гранате, но разум остановил бездумное желание. Гранату не докинуть и убойной очередью автомата со скалы тоже не достать врагов, тесной кучкой облепивших неподвижного старшину.

Откроешь стрельбу — выйдет пустой шум. Егеря всполошатся и кинутся ловить Докукина.

Теперь сержант не имеет права погибнуть в запальчивой схватке. Он должен сообщить «Чайке», что в другом месте надо искать ударный фрицевский кулак. В другом!.. На Вороньем мысу, может, всего десятка два егерей и наберется...

Надо было немедленно уходить к пещерке, передать донесение, отводить в береговые скалы остатки группы, командиром которой так неожиданно оказался Павел Докукин. А он лежал на шершавом, еще не отдавшем ночной холод граните и смотрел на егерей, суетливо гомонивших возле Гнеушева. Докукин не мог помочь ему. В этом сержант обвинял себя беспощадно и жестоко. Понимал, что на войне случается так, что и сотня иной раз не выручит одного, но невыносимо было видеть, как на глазах гибнет товарищ, командир. Он же ждал помощи, надеялся, до самой последней минуточки верил, что помогут, защитят, оберегут. А Докукин в это время готовил толченые сухарики и расстраивался, что Лыткин не желает их кушать. На час бы раньше пойти — и успел бы, а теперь...

Потом офицер не спеша достал пистолет из кобуры — и под скалой ударил выстрел, тихий и нестрашный, будто на берегу переломили сухой прутик.

Докукин сунул в карман гранату и побежал по склону. Теперь он торопился. Гнеушева уже нет в живых, а Кобликов и Лыткин в счет не идут. От него, Павла Докукина, теперь зависит все. Ему держать ответ за ложные донесения, которые передавала группа. На его совести будут сотни ненужных смертей, если он не успеет

сообщить «Чайке» самое главное донесение с Вороньего мыса.

Вот ведь беда какая навалила! До седых волос дожил Павел Докукин и так обмишурился...

Ничего, еще можно послать донесение. Надо только скорее поспеть к пещерке, и Кобликов в момент развернет свою машину. У него это ловко получается. Дернет стерженек антенны, щелкнет раз-другой рычажками и начнет сыпать ключом, как горох о стекло...

Докукин скатывался с уступов, перепрыгивал через валуны, карабкался по расселинам, спотыкался об узловатые корни березок. Пер напролом. Бежал с тяжелым сапом, как запаленный конь. Не скрываясь, не опасаясь, что его приметят.

С лица градом катился пот, сердце ошалело колотилось, и сосущая боль разливалась под ребрами. На минуту-другую Докукин разрешал себе остановиться, перевести дух, хоть немного унять колотье в груди. Затем снова начинался сумасшедший бег по диким скалам.

Скорей! Торопись, Докукин! Спеши, сержант! Успей сообщить «Чайке», что узнал, что увидел собственными глазами... Успей, голубчик!

Не все дозоры были манекенами. Когда Докукин одолевал склон очередной сопки, по нему ударил пулемет. Очередь распластала сержанта на камнях. Пришлось отползать за валуны и обходить сопку.

На этом он потерял полчаса.

Немцев разведчик увидел тогда, когда подошел к спуску в лощину, на которой знакомо светлело озерко.

Сержант притаился за камнем, разглядывая, как по склону, растянувшись гуськом, идут шесть егерей в камуфлированных плащ-палатках. Облава! Наверное, будут прочесывать каждую лощинку, заглядывать в расселины, рыскать по уступам, простреливать автоматными очередями ерник и березовые кусты...

Докукин усмехнулся нелепой опаске. Какая там, к лешему, облава, какое прочесывание? Он же знает, что на Вороньем мысу всего полтора-два десятка егерей. Шестеро шли сейчас по склону, наверное, столько же сидит в редких дозорах и находится в землянке вместе с офицером. Вот и весь немецкий гарнизон!

Ничего, поглядим еще, посмотрим, мать вашу за ногу, кто теперь кого переборет. Пока вы будете чухаться в камнях, разыскивать разведчиков, донесение перелетит через фиорд и ляжет на стол капитана Епанешникова...

Чтобы не попасть егерям на глаза, снова пришлось делать крюк, красться за валунами, ползти между кочек.

Немцы уверенно спускались к озерку. Они не рассыпались, как ожидал Докукин, цепочкой, не шарили за валунами, не простреливали кустарники. У озера передний начал забирать вправо, но один из идущих остановил его и показал рукой на заросли березок, прикрывавших подходы к пещерке.

У сержанта защемило в груди. Он понял, что егеря знают, где укрылась разведгруппа, и идут наверняка. Видимо, засекли еще раньше и сознательно не тревожили разведчиков. Так опытный охотник, приметивший песцовую нору, придет к ней с ружьем или капканом тогда, когда созреет дорогая шкурка...

Докукин опаздывал. Если бежать напрямик, егеря заметят и огнем преградят дорогу к спасительному клину березовых кустиков. Двое затеют перестрелку, а остальные тем временем доберутся к пещерке и накроют ребят...

Надо было опять давать крюк, забираться повыше в скалы, подходить со стороны каменной осыпи.

Кобликов-то!.. Кобликов чего рот раззявил? Неуж не видит, что егеря прут к пещерке. Накроют ведь, тепленькими возьмут, без выстрела... Может, Ленька возится с Лыткиным, водой его поит, уговаривает сухари съесть и ничего не видит?.. Может, сомлел от усталости и придремал? Вторые сутки ведь пошли, как Леньке и Докукину нет передыху. Сержант к таким делам привычный, и то у него руки-ноги дрожат и все косточки стонут. А Кобликову каково?.. Пригрело солнышко, и сморило парня. Тут ведь на минуточку глаза закрой и — шабаш!..

Ну что же ты, Ленька! Стрелять же надо, бой принимать... Самый край пришел!

И словно откликаясь на смятенные мысли, в зарослях березок сухо хлопнул карабин. Раз, второй, третий... На подмогу ему совсем уж неожиданно застрекотал автомат. Лыткин оклемался!

Егеря в лощинке замятушились, залегли под кочками и густо сыпанули ответными очередями.

Ленька ожидал возвращения Докукина, а увидел на сопке егерей. Впервые в жизни Кобликов увидел врагов не в кино, не распоясанными, понурыми «языками», а наяву. К нему шли люди, с автоматами на изготовку, с гранатами, сунутыми под ремни. Шли, чтобы убить Леньку, Лыткина, сержанта, всякого русского, который попадется на пути. Для этого им дали автоматы и гранаты, научили стрелять, привезли на Вороний мыс...

Когда егеря круто повернули и стали спускаться к озерку, потерялась спасительная мысль, невероятная надежда: «Может, просто дозор... Может, стороной пройдут». По деловой неторопливости, с которой егеря спускались в лощину, Ленька понял, что идут они к пещерке, и идут наверняка.

— Игорь!.. Игорь же! — Ленька тряс Лыткина за плечи.— Немцы! Немцы ведь подходят!

— Больно мне,— бормотал Лыткин.— Грудь больно... Какие немцы?

— Егеря! Сюда идут... Шестеро... Уже у озерка... Убьют же нас!

— Убьют! — с присвистом выдохнул писарь и стал подниматься.— Как убьют?

— Как убивают! — закричал Ленька.— А то в плен попадем... Подходят же егеря, а сержанта нет и старшины тоже...

— Где они?

— Не знаю!.. Не знаю я, понимаешь! Старшина еще вечером ушел... Немцы подходят! Надо бой принимать.

Лыткин выполз с автоматом из пещерки и лег в зарослях березок.

— Уходить надо,— сказал он Кобликову, нервно облизав губы.— Вверх по насыпи забираться. В камнях не найдут... Отступать надо...

— Не велел Докукин уходить,— тоскливо ответил Ленька, разглядывая собственную смерть, не спеша подбиравшуюся по моховой низине.— Не велел... Сказал, чтобы здесь мы его дожидались, а если немцы, так сказал, чтобы бой принимать... Они со старшиной услышат и на помощь придут...

Торопливо передергивая затвор, Кобликов выпустил по егерям первую обойму. Потер плечо, занемевшее от

толчков приклада, и стал перезаряжать магазин. Лыткин начал бить из автомата.

Егеря сыпали в ответ. Пули сбивали ветки, цокали о камни, залетели в пещерку. У Леньки уже был прострелен рукав шинели и на стенке дюралевого ящика рации, которую он держал рядом с собой, вдруг затемнели дырки с аккуратно вогнутыми краями. Рация качнулась от невидимого удара и внутри брякнуло стекло.

За спиной затрещали кусты. Ленька крутнулся с карабином, но в березки вместе с осыпавшимися камнями скатился сержант Докукин. Потный, грязный и злой. Из прорех разодранного ватника торчали серые клоки. Брюки были заляпаны торфом. На скуле краснела ссадина.

— Рацию, Кобликов! Немедленно разворачивай! Да скорей же ты, чего выставился?

Ленька машинально потянул за ремень рацию и нащупал было штырек антенны, но на глаза попались аккуратные дырки на дюралевом боку.

— Вот!..

— Чего «вот»? Скорей разворачивай!

— Разбита, товарищ сержант...

— Как разбита? — упавшим голосом спросил Докукин, и глаза его стали седеть.— Как это так — разбита? Ты что мелешь!..

— Очередью, товарищ сержант... Она стояла тут, а ее стукнуло. Вон, глядите, какие дырки...

Ленька повернул рацию, и Докукин тоже увидел аккуратные отверстия на дюралевой стенке.

В дикой, невероятной надежде Кобликов с минуту щелкал переключателями настройки и диапазонов, но дюралевый ящик не откликнулся ни единым звуком.

— Лампы вдребезги... И выходной трансформатор, наверное, тоже.

— Не уберег, значит, рацию, Кобликов,— с укоризной и растерянностью сказал сержант, и щека его дернулась, словно Докукина укусил невидимый комар.— Не уберег... Старшина погиб. На моих глазах его добивали... Прошел в бухточку и попался... Раненного уже прикончили.

В кустах веером рассыпалась очередь. Сбитый сучок

ткнулся в лицо Докукина. Сержант отмахнул его, выругался и стал прилаживаться с автоматом.

— Нет егерей на Вороньем мысу, Кобликов... Вот только эти, да еще с десяток в бухточке и на сопках наберется... А мы здесь целую армию насчитали... Нет егерей.

— Как же так? — опешил Ленька.— Мы же сообщали...

— То-то и оно, что сообщали... Теперь вот надо другое сообщить... А как? На пальцах, что ли, показывать?.. Рацию-то погубили...— упавшим, равнодушным голосом сказал он. Докукин осунулся, словно в нем вдруг разжалась какая-то важная пружина. То, что немцы напоследок расколотили рацию, казалось сержанту теперь частью дьявольски хитрого плана. Оплели они разведчиков, облапошили со всех сторон и лишили возможности поправить беду.

Голова была тяжелой, словно налитой свинцом. Мысли ворочались туго, натыкались одна на другую.

Что делать? Что придумать сержанту Докукину, чтобы отвести свою страшную промашку?

Увертливые фигурки егерей скользили между кочек, огибая озерко. Минут через пятнадцать они переберутся через лощинку и подойдут к склону. Там валуны, там им будет легче...

Гулкой очередью залился автомат.

— Окороти, Лыткин, чего без толку сыплешь? — одернул Докукин разгорячившегося разведчика.— Патроны надо беречь... Хорошо, хоть ты в разум пришел... Вишь, тварюги, куда забирают! В камешки норовят...

Прицельным огнем сержант прижал в болотине двух егерей, стремившихся проскочить к валунам.

Услышав, что в ответные очереди влился еще один автомат, немцы снова замешкались.

— Куснули горяченького!.. Не по носу вам такие дела,— зло сказал Докукин, перезаряжая магазин.— Идти можешь, Лыткин?

— Могу, товарищ сержант,— с готовностью, словно он ожидал этот вопрос, откликнулся Лыткин.— Полегчало мне... Вправду, с утра полегчало... Могу идти!

Он говорил торопливо, словно боялся, что сержант не поверит.

— Могу идти...

— Можешь так можешь... Хоть тут полегче будет...

— Опять ползут, товарищ сержант!

— Ладно, пусть ползут... Ты, Кобликов, спокойнее держись, не наводи панику, от шестерых отобьемся...

В голову вернулась ясность, пришел трезвый практический расчет.

— Первое дело, надо, ребята, сообщить, что никакого сосредоточения немцев на Вороньем мысу нет... Сегодня я только во всем разобрался. Как к бухточке прошел, так мне и осветило. Дозоры, что мы на сопках видели, так это же чучела. Старые шинели, мхом набитые... Старшина тоже, видать, все сообразил, вот его и не выпустили из бухточки. Ну и нас для надежности решили прихлопнуть... Понимаешь, Кобликов?

— Понимаю,— шепотом, будто принимая тайну, ответил Ленька.— Как же теперь? Передавали ведь мы...

— Ложно передавали... Слушай меня, Кобликов, и запоминай крепко. Раз рация погибла, сообщение в роту надо своим ходом доставить. Тебе надо живым дойти и обсказать товарищу капитану все, как есть на самом деле...

Докукин замолчал. Стал думать о Катерине, о дочках, которым, видно, не дождаться отца с войны. Скосив глаза, увидел напряженный профиль Леньки Кобликова. Сведенные к переносице брови, вздернутый нос и губы, в уголке которых прорезалась складочка, чужая и ненужная на молодом лице. Приметил смертельную усталость на посиневшем от холода и сырости лице и острые, по-мужски выточившиеся скулы.

И дочек жалко, и этого парнишку тоже надо от смерти спасать. Обделила природа Докукина сыном, так хоть чужого напоследок он убережет.

— На тебя надежа, Леонид...

То, что Докукин назвал Кобликова по имени, помогло Леньке сообразить, какой тяжкий груз наваливает на его плечи сержант, по годам подходящий Леньке в отцы.

— А как же вы, товарищ сержант? — испуганно спросил Кобликов.— Как же вы?

— Соображу как-нибудь...— невесело откликнулся Докукин.— Соображу... Мне на тот свет торопиться резону нет. Карабин давай, гранаты и патроны тоже. Вам на двоих одного автомата достанет, а мне нужно для видимости из карабина постреливать, чтобы егеря не ра-

зобрали... Вы с Лыткиным сейчас кустиками в сторону отбивайтесь, а я здесь пока повоюю... К берегу идите... К тому месту, где веревка спрятана. Туда бот подойдет... Сигналы помнишь? Вот и ладно... Топайте, ребятишки.

— А вы как?

— Будем живы, не помрем... Есть у нас в Лахте такая присказка. Я егерей в сторону отведу. Не все им нас облапошивать. Теперь я с ними в жмурки поиграю... Вишь, как наскакивают, заразы!

Докукин припал к прикладу карабина, еще хранящему тепло Ленькиной щеки, повел мушкой и плавно нажал спуск. Крайний егерь, снова кинувшийся к валунам, дернулся и застыл под кочкой, неловко откинув автомат.

— Ага, достал одного... Да уходите же вы скорее!.. У старшины Якимчука вещевой мешок я оставил, блокнотик там, в полотенце завернутый. Адрес написан. Ежели что, отпишите моим... По кустам ползком пробирайтесь... Двигайте, ребята!

Сержант вдруг схватил Кобликова за плечи со смятыми погонами и прижал к себе, уколов щетиной, хлопнул по спине Лыткина, подтолкнул в кусты.

— Приказываю, одним словом... Сполняйте!

И пополз навстречу егерям. Последнее, что увидел Кобликов, были растоптанные, с союзками на передках, кирзовые сапоги. Стертые подковки и розовый кусочек кварца, застрявший в гнезде вылетевшего гвоздя.

— Ну немножечко еще! Вон до того камешка!

— До камешка,— откликался Лыткин и напрягался телом.— Я сейчас, сейчас... До камешка... Я дойду!

— Конечно, дойдешь... Ногу сюда ставь!

— Поставлю... Ты, Кобликов, меня не бросай!

— Сказано же, не брошу,— отвечал Ленька, сердясь на назойливую просьбу Лыткина. Он не мог понять, как писарю могла прийти в голову эта мысль, нелепая до абсурда.

— Я ведь почти здоров... Слабость только, а так здоров... Ты не бросай меня!

С каждым метром, пройденным по скалам, сил у Лыткина оставалось меньше. Он обвисал на Леньке, жадно хватал воздух и просил остановиться.

— Отдохнем немножечко... Самую чуточку отдохнем...

Позади, то разгораясь, то затихая, гремела стрельба. Она уходила в сторону перешейка. Ленька со страхом вслушивался в стрельбу и больше всего боялся, что в трескотне автоматов исчезнут, оборвутся гулкие хлопки карабина.

— Пошли дальше! Нельзя нам задерживаться... Вот сейчас через расселину переберемся — и легче будет. Под горку пойдет...

— Под горку,— соглашался Лыткин, рывком напрягал тело и тут же обмякал.— Нельзя задерживаться... Идти надо... Скорее идти.

У Леньки ныла спина и плечи, придавленные невероятной тяжестью. Как только кости, мышцы, тело выдерживали Лыткина, вещевые мешки, автомат, магазины и простреленную рацию.

Он плохо помнил, как добрался к приметной, косо срезанной скале, у которой начинался спуск к воде, в каменную щель, куда ночью подойдет мотобот.

У скалы Кобликов свалился, ударив Лыткина о камень. Тот застонал, но Ленька уже не мог его успокоить, сказать ободряющие слова. Он обессилел. В ушах гудело. То ли от дикой усталости, то ли это, в самом деле, был заунывный шум ветра, просторно катившегося по береговым откосам. Кружилась голова, поташнивало и хотелось лишь одного — вот так, без движения лежать на щербатом граните. Свет каленого, кирпичного солнца проникал сквозь смеженные веки и больно бил в глаза. Отвернуть лицо от этих ударов тоже не было сил.

— Идти надо,— заговорил Лыткин, настойчиво дернув Леньку за рукав.— Слышишь, Кобликов!.. Надо скорее вниз спускаться. Увидят здесь немцы... Вниз надо!

«Вроде он и в самом деле выздоровел»,— безразлично подумал Ленька, удивленный, что мысль об опасности раньше возвратилась к Лыткину, а не к нему самому. Здоровому, не задетому ни пулей, ни осколком.

— Давай спускаться!.. Увидят же нас здесь егеря... Увидят же!

Голос Лыткина взвинтился вдруг чуть не до крика.

Когда Ленька отыскал спрятанную под валуном веревку, напарник снова обессилел, видно израсходовав себя на последнюю вспышку. Пришлось обвязывать его

и спускать на веревке через знакомый гранитный пупырь. А затем спускаться самому, тащить Игоря по щели на площадку. Взбираться наверх, опускать мешки, рацию, автомат...

Потом Кобликов тупо думал, что свисающая со скалы веревка выдаст их егерям, дотрагивался до лежащего Лыткина, чтобы ощутить в нем живое дыхание.

От немыслимой усталости безвольно закрывались глаза и отвисала челюсть. В гранитную щель с мыса не проникало ни звука. Здесь каменела тяжелая, пугающая немота. Громады скал отгородили Леньку от всего, что происходило там, и он не мог сообразить, ушла ли вдаль редкая стрельба или она оборвалась.

Рыдал взводень. Море мерно вспучивало у берега водяные валы. Встопорщивало прозрачные тяжелые гребни и било их о камни. Кричали чайки, и темный сапсан ходил в вышине пологими кругами.

Стонал Лыткин, канючил, чтобы Кобликов не бросал его.

Медленно вытягивались по воде тени скал. Ленька глядел на треугольник неба и торопил солнце, умолял его поскорее закатиться за сопки.

Ветер сбил густые облака. От них посуровело, и начал сеяться дождь. Серая пелена окутала скалы, смешалась неприметно с сумерками и принесла долгожданную темноту.

И наконец в ней прорезались короткие ищущие вспышки зеленых огней.

Ленька торопливо ответил на сигнал.

Вкрадчивый шум мотора оказался неправдоподобно близко. Глаза, привыкшие к темноте, различили наплывающую тень.

Ленька потащил Лыткина к краю площадки, к которой, скупо подсвечивая воду, на малом ходу приближался мотобот.

— Скорей! — торопили с судна.

Проворная фигура, зашелестев брезентовым дождевиком, оказалась рядом с Кобликовым, плеснула в лицо вспышкой фонаря и ухватила Лыткина.

— Ранен?

— Нет, больной он... Заболел.

— Остальные где?

— Двое нас... Только двое...

В это время сзади, где находилась щель, с грохотом осыпались камни и гулко проскакали по площадке.

«Егеря!.. Веревку же я там оставил!..» — ужасаясь, подумал Ленька.— Засекли нас!..»

В щели что-то неуклюже и тяжело ворочалось. Затем о камни лязгнул металл и, раструсив щебенку, на площадку упало нечто грузное и мягкое. Шлепнулось на гранитный уступ, и вслед за этим послышался глухой стон.

— Погоди! — остановил матрос Леньку, вскинувшего автомат, чтобы ударить очередью.— Посветить надо...

Мертвящий синий лучик фонарика скользнул по каменной стенке, нащупал провал щели и застыл, наткнувшись на человека в изодранном, залитом кровью ватнике. Без шапки, безоружный, он елозил по камням ногами, силясь подняться. Корчился, ухватившись рукой за живот. В его фигуре, в покатых плечах, в большой, коротко стриженной, заляпанной чем-то темным голове было столько знакомого, что у Леньки ходуном заходило в груди ошалевшее сердце.

Докукин! Это же сержант... Конечно, он!

Ленька кинулся к щели, споткнулся и едва не упал рядом с Докукиным.

— Сюда!.. Сюда скорее! — суматошно закричал он.— Сержант здесь!

Подбежал матрос в шуршащем брезентовом плаще, стал поднимать Докукина.

— Товарищ сержант,— торопливо говорил Ленька, тряс Докукина за плечи и просил открыть глаза.— Это же я, Кобликов... Ленька Кобликов... Бот за нами пришел, товарищ сержант!..

Докукин кривился от боли, стонал и мучительно вздрагивал усами, силясь что-то сказать. Под растопыренными на животе пальцами пузырилась кровь.

На боте он пришел в память, узнал Леньку и взял его руку в холодную ладонь.

— Ушли мы... Ушли от них...

Замолчал, справился с чем-то трудным внутри и снова заговорил:

— А меня вот в брюхо стуканули... Горит все... Воды!.. Воды мне... Пить...

По лицу сержанта что-то прокатилось и исчезло. Только в уголках спекшихся губ осталась боль.

— Нельзя ему воды давать,— сказал мичман.

— Скорее, дяденьки! — заторопил Ленька моряков. Он придерживал сержанта и слышал под рукой стук его сердца, слабый и тихий, как у ребенка.

— Его же в госпиталь надо... К врачам...

Глава 7

В порту горели нефтебаки. Черные дымы медленно и косо всплывали над изломанным контуром сопок. Рычащие стрелы эрэсов пронизывали дымы. Тяжело ухали дивизионные гаубицы. Снаряды с железным клекотом уносились за фиорд и распускались на дальних скалах клубами разрывов. Гулко дудукали «собаки» — автоматические малокалиберные пушки. С воем налетали штурмовики, пикировали в дым, рассыпали пулеметные и пушечные трели.

За фиордом грохотал бой. Ночью к батареям, прикрывавшим подступы к порту, уплыла на жидких резиновых лодках штурмовая группа лейтенанта Кременцова. Прожектора и осветительные ракеты поймали разведчиков, когда до берега оставалось сотни полторы метров. Ночь взорвалась татаканьем эрликонов и хлопками мин. Половина штурмовой группы погибла в ледяной воде. Остальным удалось зацепиться за скалы и отбить крохотный пятачок. К нему пошел на амфибиях авангардный батальон, усиленный саперной ротой, автоматчиками и «сорокапятками», поставленными на тупорылые железные понтоны.

Батальон смял егерей на подступах к батареям и завязал рукопашный бой.

Когда сообщили, что возвращается разведгруппа с Вороньего мыса, капитан Епанешников пришел с НП дивизии на причал. Он стоял на дощатых мостиках, укрытых маскировочной сетью, подвешенной на шестах, и смотрел, как приближается мотобот.

Глаза нашли знакомую фигуру радиста, стоявшего возле рулевой рубки.

«Остальные где? — думал командир разведроты.— Где старшина?»

Ленька Кобликов глядел, как сокращается масляная, синевато радужная полоска воды между мотоботом и

причалом на сваях, обросших ракушками и темными водорослями. На боте противно пахло керосином. От качки, от натужной дрожи корпуса, от слабости и голода Леньку мутило. Ему хотелось поскорее почувствовать под ногами привычную, твердую землю.

И он со страхом глядел на исчезающие метры воды между мотоботом и причалом. Между Ленькой Кобликовым и капитаном Епанешниковым. Не случайно пришел командир роты встречать мотобот. Конечно, егеря ударили по нашим там, где никто не ожидал. И виноват в этом ефрейтор Кобликов, передававший ложные донесения с Вороньего мыса.

Стиснутые пальцы прошлись по коробке рации. Нашли пробоины от немецких пуль, помешавшие сообщить самое нужное, самое главное донесение. Ленька привез его, но теперь донесение опоздало. Теперь оно уже ни к чему...

Брезентовая лямка рации давила на плечо, заставляла сутулиться и вздергивать шеей. Мотобот одолевал последние метры. Знакомый матрос ушел с кормы и теперь помахивал свернутым в кольца тросом, примеряясь кинуть причальный конец.

Капитан Епанешников, каменно сомкнув челюсти на сухоскулом лице, стоял на причале не шелохнувшись. За ним стыл, как изваяние, крепконогий вестовой с автоматом на груди.

Ленька вдруг сообразил, что вдобавок ко всему он возвращается без оружия. Он же отдал свой карабин Докукину, и неизвестно, куда дел его сержант. С него теперь уже ничего не спросишь.

Грохотнули сходни — раскачивающаяся доска с хлипкими планочками. Капитан сбежал по ним на мотобот.

Ефрейтор Кобликов вздохнул так, словно собирался прыгнуть с кручи в омут, и пошел навстречу командиру роты, стараясь ставить ноги на полную ступню.

— Товарищ капитан, разрешите доложить...

— Гнеушев где?.. Где старшина? Погиб?

Ленька кивнул.

— А Докукин? Тоже?..

Кобликов повернулся и откинул край волглой плащпалатки. Показал Епанешникову желтизну кожи на лице сержанта, голые, прихваченные в морщинистую сборочку, веки.

Епанешников стянул с головы фуражку. Ветер качал над его лбом жиденькую прядь волос некрасивого ржавого оттенка.

— Лыткин в кубрике... Больной он совсем... А товарища старшину и Забару егеря убили...

Ленька говорил вяло, не ощущая недавнего страха. На него вдруг навалилось опустошающее равнодушие. Он сообразил, что ему, живому, оправдаться нечем.

— Лыткина немедленно в медсанбат,— приказал капитан вестовому, с подтянутой готовностью стоявшему у сходней.

— Товарищ капитан, разрешите доложить... Нет на Вороньем мысу егерей! — заторопился Ленька сказать самое важное, сообщить страшную правду, ради которой сержант Докукин, Остап Забара и старшина Гнеушев приняли смерть. Ради которой Кобликов ушел от облавы.

— Не сосредоточиваются они там... Мы думали, что егерей много, а потом оказалось... Неверно я все по рации передавал... Готов нести ответственность...

Епанешников смотрел на Леньку непроницаемыми глазами, и белесые ресницы его приметно трепетали, словно ветер кидал в лицо капитана невидимые соринки.

Воротник шинели больно тыкался Кобликову в растертую шею. Неряшливо свисал серый клок с выдранным карманом. В кармане лежала лимонка. Ее округлая тяжесть ощущалась где-то ниже колена.

— «Нести ответственность...» — непонятно повторил Епанешников и прислушался к грохоту боя на другой стороне фиорда. Накрыл плащ-палаткой лицо Докукина и сутулясь поднялся на причал.

— Кобликова ко мне в землянку! — приказал он вестовому.— Водки ему и — спать!..

Ленька переступил с ноги на ногу. Значит, все будет по форме. Сейчас его берут под арест, а потом отправят в трибунал...

В землянке вестовой подал алюминиевую кружку водки. Сивушный запах плохо очищенного зелья душно ударил в нос. Водку Ленька не пил. Полагающиеся ему сто грамм отдавал ребятам из отделения. Сейчас он подумал, что многое еще не знает, не попробовал, не разобрался и вряд ли теперь будет время, чтобы все это наверстать. Мысль придала решимости. Затаив дыхание, Ленька вы-

пил противную, обжигающую горло жидкость. Поперхнулся, но вестовой, весело мигнув карим глазом, сунул на закуску кусок хлеба, посыпанный солью.

В животе разлилась теплота. Дремотный огонь потек по жилам и затуманил голову. Каменная стенка землянки покачнулась, огонек стеариновой трофейной плошки странно стал уплывать под потолок...

— Ну и здоров ты, Кобликов, дрыхнуть,— сказал вестовой, продолжая трясти Леньку за плечи.— Мы с товарищем капитаном уже в городе побывали, а ты, как прижал ухо к мешку, так и не отпускаешь... Перебазируемся же!

— Да ты, ефрейтор, всю обедню проспал,— засмеялся вестовой, достал пачку сигарет и щелкнул никелированной с решетчатым ободком зажигалкой.— Видал, какой трофейчик оторвал! Взяли же город... Егеря винта нарезают по шоссе. Машины покидали, пушки, барахло всякое навалом по обеим сторонам. По всем правилам драпают, а за ними вдогон «тридцатьчетверки»... Товарищ капитан зовет... Ну и видик же у тебя! Ремень хоть подтяни...

Вестовой попробовал заткнуть Леньке под ремень вырванный клок шинели, но это оказалось безуспешным.

— Ладно, сойдет,— махнул он рукой.

Командир разведроты сидел возле землянки. Пристроив на выступе камня зеркальце, Епанешников намыливал щеки. Воротник гимнастерки у него был подвернут, портупея с кобурой пистолета лежала на земле. Капитан был без фуражки, и Ленька увидел у него залысины на лбу. Рассмотрел расчесанный волосок к волоску пробор над ухом.

— А, Кобликов, явился,— ровным голосом сказал капитан. Во взгляде его Ленька не приметил всегдашней строгости и отчужденной замкнутости. Глаза командира роты, в гневе тяжело темнеющие, были сейчас мягкие, податливой глубины.

— Товарищ капитан, разрешите доложить,— начал было Ленька, но Епанешников хлопнул ладонью по камню, приглашая ефрейтора садиться рядом. Повернул к нему лицо в пышной мыльной пене на подбородке и неторопливо раскрыл бритву. Взглянул в зеркальце, примериваясь сделать первый взмах.

— Про ложные донесения будешь докладывать?.. Перестарались фрицы, Кобликов. Больно много вам доказательств подкидывали. Даже минное поле сочинили. Нервы, видно, начали сдавать...

— Вы все знали?

— Знали, ефрейтор. Три дня назад армейским разведчикам норвежцы сообщили насчет катеров. Специально на боте под парусом пришли сказать, что катера на Вороний мыс для отвода глаз ходят...

— Как же так? — осевшим голосов спросил Ленька, ощущая, как у него холодеют пальцы. Если капитан все знал, во всем разобрался, он же мог дать приказ разведгруппе, чтобы она уходила с мыса. Тогда бы Гнеушев был жив, Докукин... Три дня назад. Как раз в тот день, когда Забара на минном поле подорвался...

Кобликов ошарашенно смотрел на капитана.

Епанешников оттянул на скуле заветренную, крепкую кожу и провел бритвой, сдирая щетину, поскрипывающую под стальным лезвием. Костистый подбородок капитан выставил вперед и слепил в полоску сухие губы.

— Так, ефрейтор,— подтвердил командир роты, вытер лезвие о клок газеты и прицелился на Леньку темными глазами.— Должны вы были сидеть на Вороньем мысу!

Епанешников угадал, о чем думает Кобликов.

— Должны! Нельзя было и виду показать, что мы фрицевскую хитрость раскусили. Вот для чего вам нужно было на мысу сидеть... Война, Кобликов. Ты в ней еще многого насмотришься...

Забыв, что у него намылена щека, капитан опустил руку с бритвой.

— За вчерашний день дивизия потеряла четыреста сорок семь человек,— глуховато продолжил он.— За один день!.. Кременцов погиб. Из штурмовой группы всего шестеро уцелело. Старшего сержанта Беляева едва живого в госпиталь увезли. Довезут ли, не знаю. А ты говоришь...

Ленька ничего не говорил. Он слушал трудные слова скуластого человека с капитанскими погонами, которого война заставила посылать людей под пули, под смертельные веера секущих осколков, под бомбы и взрывы.

— Гнеушева жалко, Докукина... Забару тоже. И как вы сами во всем этом спектакле сразу не разобрались?

Епанешников вздохнул, вспомнил про бритву и снова принялся со скрипом сдирать многодневную щетину. За-

сохшее мыло собиралось на лезвие липким серым валиком.

— На левом фланге егеря кинулись в контратаку. Батальон пехоты и автоматчики. Шестиствольные минометы их поддерживали. Только мы их уже поджидали... Все потому, что вы на мысу сидели. Понимаешь?

Капитан говорил сбивчиво, словно в чем-то оправдывался перед самим собой, перед Кобликовым. И понимал, что ефрейтор не примет этих невольных оправданий. Так, как не принимал их сам Епанешников, командир разведывательной роты, осознавший простую и страшную истину, что на войне ради большого приходится жертвовать малым. А это малое — живые люди. И большее — тоже люди...

Метрах в пятидесяти под скалой виднелась свежая каменная насыпь.

«Докукин!» — догадался Ленька.

— Сержант,— подтвердил Епанешников, перехватив взгляд ефрейтора.— Собирайся, Кобликов. Через час снимаемся. За фиорд будем всем хозяйством перебираться.

— Перебираться,— машинально повторил Ленька и только тут сообразил, что не слышно ни выстрелов, ни взрывов, ни завыванья самолетов.

Он прошел к каменной насыпи и присел там на выступ скалы. Остро пахло застоявшейся прелью убитых ночными заморозками папоротников и бурым торфом, растоптанным солдатскими сапогами.

— «Через час снимаемся...» — выплыли в голове слова капитана.

Кобликов встал и, торопясь, принялся выкладывать из валунов пирамидку в изголовье насыпи. Выдирал из торфа тяжелые шершавые камни и складывал их один к другому, возвышая над косым гранитным срезом.

Чтобы знали люди, чтобы не потеряли они место, где похоронен гвардии сержант Докукин П. А... Павел Акимович.

Туристический рейс

(Повесть)

Глава 1

Теплоход старательно молотил воду. Тянулись мимо леса и луга с седыми стожками прошлогоднего сена, омуты и плесы. С пригорков сбегали клинья белоногих, зеленого ситчика берез. Проплывали деревни с потемневшими от времени и непогод крышами чешуйчатой дранки. На берегах лежали смоленые лодки, похожие на громадных рыб, обсохших на песке.

В полутемных шлюзах звучно капало со смоленых стен, скрипели о кнехты швартовые тросы и огромные створы ворот смыкались с беспощадностью захлопывающегося капкана. Затем бегучая вода поднимала трехпалубный теплоход на такую высоту, что окрест становилось видно, как с колокольни, и светлая лента канала оказывалась далеко внизу. Туристы сбивались на палубе и, притихнув, ждали, когда разомкнутся челюсти шлюза и перед «Иваном Сусаниным» вновь окажется просторная дорога.

Туристический рейс был размеренным и спокойным. Утром начальник маршрута приглашал первую смену к завтраку. Смен было две, приглашений к столу — три на день. От такой однообразной работы начальник маршрута затосковал и уже в Череповце сошел на берег в обществе пышнотелой туристки. После этого в столовую стал приглашать взволнованный голос инструктора-практиканта. Начальник маршрута появлялся на палубе лишь к обеду, пил минеральную воду, ходил рассеянный и кроткий.

Капитан теплохода в первый же день попросил туристов не падать с трапов, объявил, что на «Иване Сусанине» запрещается танцевать твисты, шейки и «прочие

рок-н-роллы», а так же скапливаться при швартовках на одном борту.

У капитана, облаченного по случаю официальной встречи в белоснежный китель с позолотой нашивок, было крупное лицо с темной, заветренной до цвета сыромяти кожей. В его облике читалось презрение к суетливому туристическому скопищу. В душе он, видимо, не мог смириться, что такой теплоход отдан на потребу этой сумасбродной публике, что родной, знакомый до каждого поворота и створного знака Волго-Балт стал развлекательной трассой и ему, потомственному речнику, приходится заниматься несерьезным делом.

Покосившись в сторону, где у поручней сгрудились разноцветной стайкой самые молодые представительницы туристической группы, капитан без нужды одернул китель и добавил, что туристам также категорически запрещается отвлекать членов экипажа от исполнения служебных обязанностей и находиться после отбоя в чужих каютах.

По утрам Наталью Александровну будила соседка по каюте, старушка с маленьким, перепаханным морщинами, лицом и живыми светлыми глазами.

— Из колхоза я... «Заря пятилетки» называется,— объявила она при первом же знакомстве.— С Холмогорского района. Только Холмогоры подале к Двине, а наша деревня, Подмошецкая, к железной дороге присунулась... Звать меня по-паспортному Варвара Павловна, а фамилия Плотникова. В нашей Подмошецкой два порядка домов Плотниковы. Во какой корень посажен!.. Вы меня, девушки, по-простому кликайте — баба Варушка. Вам ловчей, и мне привычнее. На пенсии я теперь обретаюсь, семьдесят пять годочков зимой сверсталось. Путевку-то мне правление бесплатно отвалило. За помощь в обеспечении высокого процента отела. Земли у нас — суглинок да болотина. А пожни богатимые, сена вдоволь берем. Испокон веков мы скотиной и спасаемся... Хоть и годы мои-уже глубокие, а руки все одно по делу скучают. В крутое-то время я и бегаю на колхозную работу, чтобы помощь дать. Раньше каждый год премировки получала, а ноне постановило правление путевку туристическую. На старости лет записали в туристы... Эко ведь лиха моя головушка, не побоялась в такую даль махнуть...

Баба Варушка с первой минутой знакомства показалась Наталье Александровне ясной, как стекло. Ей доводилось встречаться с такими вот бесхитростными деревенскими старушками, обладавшими способностью отвечать на вопросы, которые им не задают, и утомлявшими собеседников пустяковыми рассказами, в которых главным были пожары, мужья-пьяницы, вороватые заведующие фермами, внуки, укатившие в города из родной деревни, сетования на одиночество и обида на трудно прожитую жизнь.

Баба Варушка, от старости остро чувствовавшая время, просыпалась часа за полтора до подъема, на цыпочках уходила в туалет, и там сразу же раздавался грохот, заставлявший Наталью Александровну вскидывать голову с угретой подушки. Вдобавок к этому баба Варушка принималась за железной стенкой выговаривать хлопнувшей крышке унитаза, свалившемуся с узкой полки алюминиевому стаканчику или взбунтовавшемуся крану:

— Ах ты, анчутка бессовестный!.. Люди еще на покое, а ты расходился-разъехался, этакой шум наделал. Думаешь, на тебя окороту не найдется...

Это уже окончательно прогоняло сон. Стараясь сберечь сладостные его остатки, Наталья Александровна натягивала на голову одеяло, подбивала удобнее подушки, переворачивалась с боку на бок, добирая истомной, вполглаза, дремотой каждую минуту не вовремя нарушенного ночного покоя.

Она не сердилась на попутчицу, философски рассуждая, что соседей по каюте не выбирают, что каждый человек живет по-своему и мешать ему в том не следует. Да и баба Варушка, признаться, исподволь обезоруживала доверчивостью и той прямолинейной искренностью, которая бывает у людей, живущих простой и открытой всем жизнью в дальних деревнях и селах.

Убрав постель, соседка не спеша расчесывала седые, посекшиеся, но еще густые волосы, заплетала их в косу, скручивала в узел, пришпиливала на затылке самодельной дюралевой гребенкой и покрывала платком.

После этого она усаживалась к окну, подпирала лицо сухой, как щепа, рукой и начинала удивляться.

— Лесина-то какая, матерь ты господня! — вслух восхищалась она, провожая глазами сосну, зеленой свечкой вымахавшую на крутояре.— Аж звенит, сосенка...

Опять, видно, дождь засмутит. Вишь, бухмарь с востока наваливает... Ладно, погода не вечна мука, переменится... Пожни-то какие у людей, благодать! Тоже, видно, немало сена берут... Кто же на такой воде плот без призора оставляет. Вот кривы руки! Смоет ведь плот-то у вас...

Потомившись часок наедине сама с собой, баба Варушка начинала будить соседок.

— Вставайте-ко ужо, девушки! Скоро ведь эта анчутка забалабонит.

Она кивала на репродуктор, оправдывая собственное нетерпение.

— Перва смена, да перва смена!.. До чего люди дожили, анделы небесные. По радио не на работу, а к еде зовут... Даня-то как сладко зорюет в молодых годах... А меня свекровь, бывало, на начальной заре поднимала. Упластаешься за день, рук-ног не чуешь. Падешь на постель, как головой в омут. Вроде ты только глаза прижмурила, а тебя уже поднимают. Свекровь у меня, Матренушка, зубата была, царство ей небесное. Поизгалялась надо мной, сколько было желательно...

От неумолчной воркотни старухи просыпалась еще одна соседка по каюте — лаборантка сортоиспытательной станции из-под Мценска. У нее была ласковая и необычная фамилия: Малинка. По паспорту она именовалась Дарьей, но при первом же знакомстве решительно отвергла и Дашу и Дашутку, попросив звать ее Даней.

Она была довольна, что ей удалось получить туристическую путевку по Волго-Балту.

— Первый раз нам такую прислали, и бухгалтерша на нее нацелилась. Только я устроила в месткоме «крик на лужайке», что мало уделяют внимания молодым работникам, и оставила Марью Ивановну с неосуществленными надеждами. В наше время никто на тарелочке ничего не принесет. Верно говорят: хочешь жить — умей вертеться...

Наталье Александровне молодая соседка казалась похожей, как две капли воды, на тех московских «лимитчиц», которые, сбежав из рязанских, орловских и воронежских деревень, живут в общежитиях Бирюлева, Дегунина и Теплого Стана, работают на стройках и заводах отделочницами и подсобными рабочими, питаются кефиром и черствыми булками, любят бижутерию, покупают модные сапоги у спекулянтов. Добрые работящие девуш-

ки с малыми запросами и готовностью к обыденной судьбе, они густо раскрашивают тушью глаза и больше всего желают иметь постоянную столичную прописку и удачное замужество.

Даня была красива. Удлиненное лицо с крутым лбом, яркими, тугими губами и легкими волосами с янтарным отливом. Она часто смеялась без нужды глубоким горловым смехом, от которого у ребят всегда стискивает дыхание и кружится голова.

В первый же день Даню приметил в толпе туристок судовой радист, щеголявший в пестрой нейлоновой куртке явно заграничного происхождения. Девушка была польщена таким знакомством, с утра до вечера пропадала на палубах и злилась на капитанские строгости.

Проснувшись, Даня вкусно зевала, по-детски терла глаза кулаками. То ли по молодому любопытству, то ли для того, чтобы окончательно проснуться, она вступала в разговор с бабой Варушкой.

— Почему за вас муж не заступался?

— Некогда было ему заступаться. Каждый год он на Мурман ходил, промышлял треску. В марте уйдет и осенью, уже по снегу, воротится... Когда дома бывал, так заступался... Матренушка и на него кидалась: «Врежь жену в рамку да молись... Ей дело не нать, работа не нать...» Так всю нашу жизнь и мутила. Недовольничала, что Иван меня замуж взял. У нее богаче была невеста присмотрена. Из Ташлыковского роду. Шкуну они имели и треску по мурманским становищам скупали... Наш дом в деревне тоже не из последних был...

Рассказы бабы Варушки вязались сами по себе. Сказанное слово вызывало ассоциации, и начинала, как кружево, сплетаться очередная быль.

— Говорки у нас люди,— охотно подтверждала она.— Перво слово скажут, второе за ним бежит, а третье само катится... На семнадцатом году я за Ивана вышла. Тогда в деревнях ни клубов, ни кина не было. Зимой девушки у какой-нибудь вдовицы снимали избу и собирались на вечеринки. По рублю складывались, да еще каждый раз надо было по два полена принести... Шитье с собой брали, вязание. Парни с гармонью приходили, песни пели, кадриль танцевали. На двенадцать колен была кадриль, разными фигурами. Не то что нынешнее дергание...

— Не дергание, а темп,— поправляла Даня.— Смешно сейчас водить хороводы на лужайке... Отсталые у вас представления.

— Может, и отсталые, а только я по-своему говорю... Суетной ноне пошел народ. Кабы вы только в танцах дергались, дак невелика беда. Вы и в жизни дергаетесь, будто шилом в одно место тычут... Внучок мой прошлый год школу кончил и укатил из дома. В колхозе дел невпроворот, а ему, видишь ли, великую стройку подавай.

— Правильно! — не уступила Даня.— Мы живы, кипит наша алая кровь огнем нерастраченных сил... Так про нас в книгах пишут.

Даня не прятала себя от взглядов соседок. Полуодетая расхаживала по каюте, стояла под душем, небрежно полуприкрыв дверь, надевала чулки, выставляя на койку ноги, точеные и изящные, как молодые сосенки, тонкие у щиколоток, округлые в коленях и полнеющие к бедрам.

— Ладна ты телом,— то ли удивлялась, то ли похваливала баба Варушка.— Парень в масть попадет, так много ребятишек нарожаешь.

— Тут не только парень в масть требуется... Жилплощадь для такого дела нужна и зарплата соответствующая,— с усмешкой уточняла Даня.

— На вечеринках Иван всю зиму ко мне на колени садился,— продолжала баба Варушка свой рассказ.— А на рождество в зеркалах показался...

— В зеркалах? — рассмеялась Даня.— И вы такой чепухе верили?

— Верили, девушка, не верили,— грустновато приподняв редкие брови, ответила баба Варушка,— а после крещенья ко мне сваты заявились. Зашли, помню, в избу, а на лавки не садятся. Примета такая была — если на лавку сядешь, так девку не отдадут... Хоть и яра была моя богоданная матушка, а с Иваном мы четыре года душа в душу прожили. Матерного словечка от него не слыхивала... Потом море взяло ясное мое солнышко. Расхлестало в непогоду о луды в Мотовском заливе.

Баба Варушка замолкла, легонько вздохнула и стала рассказывать дальше.

— Осталась я, девушки, в двадцать годов вдовицей с двумя ребятишками. Миколаю третий год шел, Августа родимого папеньку и глазом не увидела... А в ту пору война завелась. Английски солдаты в зеленых шинелях с

медными пуговицами в нашу деревню наехали. Пушку у нас на задах поставили, а красные стали по той пушке стрелять. Я ребятишек в охапку схватила и в лес, в дальнюю раду убежала. А свекровь, старушка корыстливая, осталась избу сторожить. На крыльце ее осколком снаряда и хлопнуло. Тут еще год зяблый пал, все жито вымерзло. Картошки, помню, со всего поля, три бурака накопала. Села я на межу возле такого урожая и в голос ревлю. А толку что — картошки все равно не выревешь, а малолетки мои в два голоса есть просят... Мукой исходилась, душа в берестяну трубочку свивалась. Впору было своих кровинушек по куски под чужие окна посылать...

«Первая смена приглашается на завтрак»,— раздалось из репродуктора, перебив рассказ бабы Варушки.

— Ну вот, глупа моя голова,— расстроилась она.— Опять вам все своими словами спутала. Добрые люди нас к столу зовут, а Даня еще в исподнем.

Четвертая койка в каюте пустовала, и это огорчало бабу Варушку.

— Пропадает место попусту,— сокрушалась она.— Знать бы, так хорошему человеку сказать... Соседушке моей, подмошецкой бабке Филихе. Дале Холмогор век не бывала... Одна-то забоялась бы, а со мной в компании утянулась бы бабка.

После завтрака Наталья Александровна брала книгу и поднималась на верхнюю палубу. Она облюбовала здесь затишок между капитанским мостиком и остроносой, укрытой брезентом лодкой. Притащила сюда полосатый шезлонг и, подсмеиваясь над своей домовитостью, оберегала теперь понравившееся место.

Три дня назад ведущий инженер-конструктор проектного института Наталья Сиверцева и не помышляла о Волго-Балте. Она планировала летом отправиться в Крым вместе с Андреем Владиславовичем. Это должно было стать что-то вроде свадебного путешествия. В ее годы «свадебное путешествие» звучало несколько юмористически, но пришла пора все определить и обозначить понятными и привычными для окружающих словами.

Так случилось, что в Наталью Александровну, сумев-

шую за четвертым десятком лет сохранить легкость походки, свежесть лица и суховатую, почти девичью статность, влюбился сослуживец по институту, руководитель лаборатории, вдовец, обладатель ученой степени.

Андрей Владиславович был моложе Натальи Александровны на пять лет, и она приняла его ухаживания со снисходительным покровительством, считая, что у мужика пройдет блажь и все встанет на свои места.

Но первоначальная ясность и четкость отношений както сама собой усложнилась и запуталась. «Блажь» у Андрея Владиславовича не прошла, и Наталья Александровна тоже потянулась к этому спокойному человеку, ощутив в нем ту опору, которую она давно искала в собственной, сутолочной и одинокой жизни с неудачным коротким замужеством и обидным разводом. Месяц назад они подали заявление в загс, чтобы официально оформить отношения, продолжавшиеся уже два года. После регистрации Наталья Александровна должна была переехать в двухкомнатную кооперативную квартиру Андрея Владиславовича возле Филевского парка, где была непривычная для Москвы тишина, балкон, теплая вода и мусоропровод.

Наталья Александровна еще никогда не жила в квартире с мусоропроводом. В Марьиной роще, в родном ее гнезде — обреченном на снос покосившемся деревянном доме — гремучие ведра с мусором стояли возле раковины в полутемной коммунальной кухне. Каждый день их надо было носить во двор к железным бакам, пахнущим кислятиной и гнилью. Возле баков шныряли бродячие кошки с облезлой шерстью, которых Наталья Александровна побаивалась.

Кибернетике, формулам и расчетам принадлежали лишь ум и знания Андрея Владиславовича. Призванием его был талант краснодеревщика. Наталье Александровне нравилось смотреть, как он возится у самодельного верстака, подбирает листы фанеровки, умело сочетая теплые тона ореха и тяжеловесные срезы дуба. Клеит их на заготовки и, мурлыкая под нос любимый романс «Гори, гори, моя звезда...», разглаживает фанеровку горячим утюгом и шлифует наждачной бумагой.

Разница лет?... Наталью Александровну постепенно перестало тревожить это. В конце концов человеческие годы — не простая арифметика. Одни меряют их отле-

тевшими листками календаря, а другие — непрожитым временем, которое ощущается впереди. И если душа будущих лет ощущает много, значит, она богата тем, что впереди, а не тем, что осталось сзади.

Наталья Александровна радовалась, что жизнь напоследок преподносила спокойную и надежную пристань. Женская независимость и свобода хороши до поры. Потом ты вдруг начинаешь ощущать их излишек и хочется тебе, как черного хлеба после изысканной пищи, обычного бабьего рабства.

Три дня назад в стеклянном, похожем на аквариум, вестибюле института Наталья Александровна увидела объявление о «горящей» туристической путевке по Волго-Балту.

И случилось вдруг такое, будто оголенной рукой она коснулась электрических проводов. Перед глазами обозначились два знакомых голубых пятна на географической карте — Онежское и Ладожское озера. И между ними синяя, круто сломанная посредине нить — река Свирь.

Непонятная штука — человеческая память. Назначена она вроде для того, чтобы из прожитого копить и прятать в тайники самое большое и важное, отбирать то, что нужно и полезно для текущей жизни. А она валит все в кучу, и непросто человеку разобраться, что носит в себе, что прячет в своих потаенных ухоронках. Выскакивает вдруг в твоем сознании пустяковая щербинка на подоконнике, надкусанное яблоко, кинутое на мазутные жирные рельсы, два-три слова, неизвестно по какому поводу и кем сказанные.

Объявление о путевке по Волго-Балту вызвало в памяти Натальи Александровны торфяную стенку землянки, наискось прорезанную узловатым корнем убитой сосны. Корень нависал над головами, собирал желтую, пахнущую гнилью воду и ронял ее крупными холодными каплями.

Потирая холодеющие, как это всегда у нее случалось в минуты волнений, руки, Наталья Александровна пошла в местком и сказала, что берет путевку.

— Почему вдруг Волго-Балт, Наташа? — спросил Андрей Владиславович, покручивая в руках путевку с цветастой туристической рекламой.

— Понимаешь, Андрей, я давно хотела прокатиться

по каналу. За такими путевками с зимы в очередь записываются, а тут пожалуйста — получай... Это же всего две недели...

Андрей Владиславович слушал, кивал и соглашался. Более того, он стал уверять, что отдохнуть ей непременно надо и ехать она, конечно, должна, раз подвалила такая интересная путевка. И именно первым рейсом, когда еще нет особой толкотни и сутолоки.

Такая покорность обезоруживала и сердила Наталью Александровну.

Но в словах Андрея так и не исчезал недоуменный вопрос, и она поняла, что должна ответить человеку, которому фактически была женой.

— Я воевала там... Понимаешь?

— Понимаю.

По интонации ответа Наталья Александровна догадалась, что Андрей ничего не понял. Наверное, потому, что во время войны он был в Сибири и работал там на оборонном заводе.

Каждый по-своему носит в памяти войну. Кроме большой и страшной беды, навалившейся на страну, у каждого, кому довелось хлебнуть этого лиха, в памяти лежит его личная, особенная война. Тоже страшная, тоже большая и, лично для него, самая тяжкая война.

Наталья Александровна по рассказам Андрея знала, что в его памяти война сохраняется бесконечной изматывающей сменой за токарным станком в недостроенном цехе, продуваемом лютыми сибирскими ветрами, где он, четырнадцатилетний мальчишка, пристроив под ноги ящик, крутил суппорт. Воспоминания его хранили тысячи, десятки тысяч кусков стали, с которых резец снимал бесконечную стружку, превращая их в болванки противотанковых снарядов. И голод. То особое ощущение, когда непрерывно хочется есть, и от этой мысли тебя ничто не может отвлечь.

Наталья Александровна мало говорила о «собственной» войне, ни с кем не делилась воспоминаниями. Потому что в них были не только взрывы бомб и снарядов, пулеметные очереди, холод, кровь и смерть. Была в них еще такая особенная метина в душе, которую не вылечило время, не зарубцевали годы. Наталья Александровна не помнила многих военных дней, недель и даже месяцев. Но с удивляющей ее точностью могла чуть не по минутам

перебрать время наступления через Сермягские болота, что лежат на восточном берегу Ладожского озера между Свирью и бревенчатым городком Олонец.

Ежась в закутке под упругим, нестихающим ветром, Наталья Александровна смотрела на тусклое, не прогретое еще солнцем небо, на холодную воду, вспенивающуюся за кормой под биением могучих винтов.

После двух дней однообразного пути Наталья Александровна незаметно для себя успокоилась и решила, что неожиданная ее поездка — просто женская причуда. Надо проще смотреть на вещи. В ее годы уже полагается понимать, что прожитое, как бы оно ни бередило душу, остается тем не менее прожитым. И та война теперь уже новым поколением, не ощутившим ее, воспринимается так, как сама Наталья Александровна воспринимает гражданскую. Знает ее как историческое событие, с фактами, датами, эпизодами и людьми. Воспринимает без «памяти сердца», которая делает сопричастным ко времени лишь лично пережитое.

Разобраться по существу, так Наталья Александровна просто-напросто взбалмошная женщина, привыкшая считаться в первую очередь с собственными желаниями. Это надо ломать потому, что для будущей семейной жизни такой характер мало подходит, будет обижать Андрея Владиславовича и превратит супружество в союз лошади и всадника. Несправедливый и неприемлемый для обоих.

В Череповце Наталья Александровна написала Андрею длинное и сумбурное письмо и теперь искренне жалела, что не решилась там же кинуть некстати затеянную туристическую поездку и возвратиться в Москву.

Но сквозь рассудительность мыслей упрямо проглядывала в обострившейся памяти синяя жилка на географической карте — река Свирь, к которой с каждым днем приближался «Иван Сусанин». Свирь притягивала, как магнит. Освободиться от непонятного наваждения можно было, лишь пройдя через него.

Из капитанской рубки вышел судовой радист. У него были прочные плечи, распиравшие нейлоновую куртку, и неожиданно длинная неокруглившаяся еще шея с наив-

ным желобком ниже затылка. В оттопыренных форменной фуражкой ушах было что-то щемяще знакомое...

Боже мой!.. У Мити были вот такие же круглые, оттопыренные пилоткой уши, и он стеснялся их. И шея в просторном воротнике гимнастерки была точь-в-точь такой же длинной и по-мальчишески незащищенной.

Митю убили в сорок четвертом под городом Питкяранта...

Прикуривая, радист повернулся, и Наталье Александровне стало легче. На Митю он не походил — широколобый, с темными, близко посаженными глазами и ухоженными баками.

Наталья Александровна не любила крепкотелых с ухоженными баками. Они казались ей удачливыми и самоуверенными. То ли от малого ума, то ли от излишнего здоровья.

Успокоившись, Наталья Александровна стала неприметно разглядывать радиста, про которого Даня по секрету рассказала, что он «положил на нее глаз и хочет закадрить», что зовут его Виталием и у него тьма кассет с магнитофонными записями.

— И Адамо, и Дин Рид, и Рафаэль.

— Шостаковича, конечно, в записях нет,— усмехнулась Наталья Александровна.

— Что вы, разве теперь такое слушают,— отмахнулась Даня.— Виталий только современную музыку признает. С капитаном у них контры. Тому самое старье подавай... Не понимаю...

— Не волнуйся, ради бога, без нужды,— улыбнулась Наталья Александровна, слушая разгоряченные слова.— Я не только Шостаковича люблю, мне Рафаэль и Адамо тоже нравятся.

Ученые подсчитали, что на земле сменили друг друга восемьсот поколений людей. И всегда в самом последнем из них собирались высшие ценности человечества. Потому оно во все времена становилось критиком и строгим судьей. Конечно, этот скорый, по-молодому горячий суд можно было разбить порой кувалдой опыта, но нельзя было отвергнуть право судить.

— Виталий парень что надо... У нас на станции кавалеры-вахлачки. Представляете, до сих пор в плащах болоньях щеголяют.

— Какой ужас! Ухажер в плаще болонья... Нет, замуж теперь выходят только за заграничные куртки, расклешенные брюки и туфли на «платформе»...

— Надсмеиваетесь?.. Осуждать, конечно, легче всего.

— В самом же деле смешно, Даня. Ты подумай спокойно и, пожалуйста, не обижайся на меня.

— Меня, Наталья Александровна, трудно обидеть,— сухо возразила Даня.— Перед блестящей пуговицей я, как сорока, шалеть не буду, но что надо — знаю. Осенью на закройщицу поступлю учиться, сберегательную книжку заведу. Удеру с сортоиспытательной в город...

Грубая откровенность девушки покоробила Наталью Александровну. Она попыталась утешить себя размышлениями насчет того, что одно поколение не похоже на другое. Если люди будут повторять друг друга, остановится развитие, в мертвой неподвижности застопорится жизнь. Век атома, космических скоростей и таинственной акселерации поколебал многое, что казалось незыблемым, отвергал привычное и сомневался в проверенном. Почему такие кардинальные изменения не могут происходить и в девичьих оценках? Три десятка лет разницы в возрасте заставляют об одном и том же думать и говорить по-разному. Да и молодость Натальи Александровны была иной...

Ветер принес запах сырости и прелой хвои. Это снова напомнило давнюю военную землянку на Свири, где под жердяным настилом взбулькивала торфяная, вонючая грязь и каждый вечер приходилось ее вычерпывать котелками.

Осина плохо горела в железной печурке. Прела, согреваясь в огне, пузырилась на концах белой пеной, темнела от собственной копоти и распускала едкий чад. Когда приходила отчаянно безнадежная мысль, что растопить печурку не удастся, снизу спасительно пробивался живой язычок пламени. Распускал кусачие жала, начинал облизывать кривые поленья, толстел, перепрыгивал с места на место, и дрова брались жарким, скорым огнем. Он полыхал с треском, с веселым гудом, до красноты раскалял жестяные бока печурки. После него оставались головешки с синими летучими огнями, и надо было не упустить момент, чтобы кинуть на них новую порцию дров. Стоило опоздать — и печурка затухала. Растапливать ее заново, сидеть на корточках, до головной боли

дуть на черные, тронутые пеплом угли недоставало сил. Тогда спали в холодной землянке, прижавшись друг к другу и с головами укрывшись шинелями. Три подружки, медички батальонного санпункта — Наташа, Маринка и Клава.

Маринка была начальницей, лейтенантом медицинской службы, с замурзанными узенькими погонами на неокрепших девичьих плечах. У нее были хорошие для батальонного фельдшера руки, и она умела не волноваться при виде крови, истерзанного осколками тела и умирающих на перевязках. Теперь Марина Николаевна Крохмалева, по мужу — Антипенко, главный врач больницы в Заволжье, и у нее двое взрослых дочерей. Два года назад она еще отвечала на письма. В последнем сообщила о назначении ее главным врачом городской больницы. Прочитав его, Наталья Александровна подумала, что редкая их переписка наверняка заглохнет.

Старшина медицинской службы Клава Аурова была застенчивой, доброй и некрасивой. Она плохо переносила сырой ветер, стужу и осенние туманы. У нее обветривалось лицо и кожа покрывалась неровными коричневыми пятнами, какие бывают у беременных женщин.

Клаву убило за неделю до форсирования Свири. В мокром логу, куда она пошла, чтобы свалить подходящее под ее девичью силу дерево и притащить в землянку очередную порцию дымного тепла, грохнул разрыв снаряда, и осколок ударил Клаву в висок, в мягкие завитки волос, которые она носила длинной косой и упрямо не хотела подстригать.

На стволе осины так и остался неумелый девичий надруб, взлохмативший зеленоватую кору. Когда Наташа и Маринка нашли ее, в остекленевших уже глазах Клавы, таких лазоревых, словно она каждый день промывала их подсиненной водой, застыло недоумение перед нелепостью случившегося.

Клаву похоронили в двух сотнях метров от землянки. Там был единственный в расположении стрелкового батальона бугор, клочок сухой земли с десятком искромсанных взрывами сосен. По молчаливому уговору живые отдали его мертвым. Каждую неделю на бугорке копали просторную яму. В нее сносили и свозили убитых. Зарывали яму один раз — когда она наполнялась до краев.

Клаву любили в батальоне. На бугре ей вырыли отдельную могилу, тело завернули в плащ-палатку, над жидкой насыпью поставили колышек и прибили фанерку с надписью химическим карандашом.

Глава 2

За теплоходом летели чайки. Белые, стремительные и изящные, как балерины. Туристы бросали им хлеб. Чайки пронзительно кричали, скопом кидались на добычу и били друг друга крыльями.

Гранитные острова были подвешены между водой и высоким небом. На их лбистых увалах стрельчато вымахивали вверх сосны с прозрачными, просвечивающимися кронами. Каменные уступы были засыпаны мертвой хвоей. Сквозь нее упрямыми шильцами пробивались травы, расстилая на граните зеленые дымки.

За Вытегрой, прорезав ветреный, с вороненой рябью зыби, край Онежского озера, «Иван Сусанин» повернул на запад к зазубренной полоске берегового ельника.

Там неприметно начиналась Свирь.

После ужина, согласно распорядку дня, на теплоходе проводились культмероприятия. Туристов приглашали на корму, где под присмотром плечистой массовички с икрами бегуна-спринтера они толклись в старозаветных вальсах, танго и фокстротах, записанных Виталием на магнитную пленку явно в пику консервативному капитану.

С мстительной аккуратностью включив динамик на полную мощность, радист приходил на корму и принимал участие в танцах.

Чаще других он приглашал Даню, и они увлеченно кружились на пятачке между салоном и закругленным обрезом палубы. Даня была гибкая в поясе, легкая в движениях. В танце она чуть откидывалась корпусом, смело доверяясь рукам партнера. Стройные ноги, обтянутые паутинкой нейлона, ритмично скользили по желтому, матово блестящему настилу палубы.

В нейлоне на ветру всегда мерзнут ноги. Наталья Александровна завидовала, что в восемнадцать лет Даня не замечает этого.

Остановившись поодаль возле поручней, смотрела, как танцуют Даня и Виталий. Пожалуй, она была неправа, подумав вначале о радисте теплохода как о записном ловеласе, облюбовывающем в каждом рейсе симпатичную и подходящую партнершу для развлечения.

Сейчас, примечая, как заботливо выводит Виталий Даню в тесный круг, как бережно кладет ей руку на талию, Наталья Александровна думала, что радист, видно, серьезно увлекся девушкой и, может быть, у них будет все хорошо и исполнятся потаенные мечты Дани, ради которых она «выбила» туристическую путевку. Чем, говорят, черт не шутит, когда бог спит. Опытный ловец тоже на свою рыбку налетает.

После нескольких танцев, приметив одиноко стоящую Наталью Александровну, Даня подошла к ней.

— Вы почему не танцуете?

— Меня, увы, никто не приглашает, Даня,— ответила Наталья Александровна, ощутив вдруг, что ей хочется танцевать. Желание было нелепым, но такая уж она была, что налетали порой на нее самые странные причуды.— Кроме того...

Даня торопливо перебила ее.

— Конечно, разве это музыка для танцев... У Виталия такие записи есть, что закачаешься. Можно шикарный твистик сбацать. Только капитан... Он и так к Виталию придирается по всяким пустякам. Придумал музыку! Эти танго только на похоронах играть.

Даня возмущалась капитанским запретом, а Наталья Александровна радовалась ему. Поистине расходятся помыслы людей, вспомнилась ей вдруг строка из мудрой книги «Вед»: плотник желает поломки, врачеватель — болезни...

На магнитофонной ленте было записано то, с чего начиналась далекая юность Наташи Сиверцевой. «Утомленное солнце», «Рио-Рита»... «Брызги шампанского» — тягучее, с надрывными всхлипами труб, знакомое до каждого аккорда жалостливенькое танго. Модное в сорок первом, страшном году. Под него Наташа Сиверцева скользила по паркету школьного зала, не ведая, что в жизнь ее через неделю придет война.

Те давние летние вечера над Свирью были гулкими и протяжными. Солнце спускалось низко, бросало на зем-

лю, на воду, на скалы густые изломанные тени и лишь к полуночи пряталось за лесом. Сумеречная, фиолетовая с серым, так и не набиравшая привычной темноты ночь будоражила непонятными желаниями девчонок в ватниках, гимнастерках, колючих солдатских шинелях и кирзовых, поседевших от воды, сапогах.

В сорок втором фронт на Свири стабилизировался. Измотав друг друга в затяжных боях, противники зарылись в землю по берегам реки. Выкопали траншеи, проложили ходы сообщения, наладили землянки и укрытия, густо опутали подходы колючей проволокой, утыкали минами каждый метр, пристреляли каждый ориентир и стали сторожить друг друга, не имея сил перемахнуть через Свирь.

В один из июньских дней, когда березы стыли в редком для здешних мест тепле, а изувеченные сосны неправдоподобно пахли смолой, старший сержант Сиверцева пришла в дивизионный медсанбат по делам службы. Медсанбат находился в пяти километрах от передней линии, но ей показалось, что она попала в другой мир.

Здесь под ногами не хлюпала осточертевшая торфяная грязь, и не надо было, согнувшись в три погибели, пробираться по ходам сообщения. Здесь девушки ходили в отглаженных юбках, меняли подворотнички на гимнастерках и мыли волосы теплой водой. Вечерами на утоптанной поляне заводили патефон и устраивали танцы, на которые собирались офицеры из штаба дивизии и полка тяжелых гаубиц.

На войне тоже хотели любить, тоже тосковали, мучились и ревновали. И оттого, что рядом летала, свистела и ухала смерть, эти чувства проявлялись обнаженнее и острее.

Да, иной раз фронтовая любовь продолжалась неделю. Но ведь прожитую на передовой неделю по обычным меркам надо было считать за год, за два, а то и за всю жизнь. Слишком часто обрывалась она здесь разрывом снаряда, беспощадно нацеленной очередью, миной с чуткими усиками взрывателей, хитро спрятанной в летней, полыхающей неуемной зеленью траве.

Случалось всякое. Но ошибался тот, кто надеялся, что «война все спишет». Война ничего не списывает. Унесенные жизни, разбитые города, спаленные деревни, сироты, голод, раны, человеческие ошибки, большие и ма-

лые, остаются на ее страшном счету. Ни время, ни будущие радости и успехи не закроют его. Он соседствует с ними, и неизбывно, как бугристый шрам давнего ранения, ты носишь его всегда с собой. Счастье и несчастье не исключают друг друга. По жестокому закону равновесия, они всегда идут рядом.

Дожидаясь подвоза медикаментов, Наташе Сиверцевой пришлось задержаться в медсанбате.

К вечеру стрельба на передовой угомонилась, и над лесом встала редкая тишина. Небо приподнялось, очистилось от лохматых туч. В его голубой, немыслимой вышине осталось несколько прозрачных облачков. Склоняющееся к горизонту солнце раскрасило их в розовые тона, и облака сияли радостным светом.

На лужайке возле медсанбата патефон хрипло запел про немыслимые в пяти километрах от передовой «Брызги шампанского».

Наташа почистила кирзачи, добыла у знакомой медсестры юбку и пошла к палатке эвакоотделения, за которой играл патефон.

Ее сразу же пригласил майор с волнистым чубом и скрещенными пушечками на погонах. У него было два ордена Красного Знамени и цепкие, потливые руки. Его уверенность в собственной неотразимости была великолепной. Он взахлеб говорил расхожие комплименты, которым Наташа уже научилась не верить, и норовил прижаться к ней.

Тесным кольцом обступили разбитую сапогами поляну молодые ребята, в рюмочку перепоясанные ремнями, со звездами на погонах, с орденами и медалями. Они отяжелевшими глазами смотрели на счастливчиков, танцевавших с медсанбатовскими девчатами, и каждая из них казалась им красавицей. В боях, в наступлениях и отступлениях, в болотах и диких лесах, где раньше не было и человеческого следа, они разучились ухаживать за девушками. У них были слишком торопливые руки и сосредоточенно тяжелые, невольно пугающие лица, в которых за грубостью пряталась ненайденная, неразделенная любовь.

В этом мужском кольце Наташа приметила вдруг светлые, простодушные и восторженные глаза. Они смотрели, готовые радоваться и огорчаться, неотрывно следили за ней, обожающе провожали по кругу, и такой

изумленный свет исходил из их доверчивой глубины, что нельзя было его не заметить.

Танцуя, Наташа неприметно разглядела узкое лицо с сухими губами, коротко стриженную голову на тонкой шее, неуютно торчавшей из воротничка выгоревшей гимнастерки, мятые погоны с одинокими звездочками младшего лейтенанта и нашивку за тяжелое ранение.

Ощутив ответные взгляды, младший лейтенант стушевался и отступил подальше за круг. Наташа улыбнулась и подумала, что этот кавалер скорее поплывет через Свирь под пулеметами, чем решится пригласить ее на танец.

У патефона подкрутили пружину.

— Разрешите?

Чубатый артиллерист подскочил к Наташе, едва игла мембраны коснулась заигранной пластинки.

— Извините, товарищ майор...

Отчаянная струнка в характере, толкавшая порой Наташу Сиверцеву на неожиданные поступки, взыграла в душе девушки. Веселая от подступившей решимости, упрямо наклонив голову, она прошла сквозь мужское кольцо и сказала:

— Потанцуем, младший лейтенант?

Младший лейтенант смутился так, что у него побелели скулы. Пересилив себя, он положил руку на талию девушки, и та ощутила, как дрожат и не могут удержать дрожь мужские сильные пальцы.

Так санинструктор Сиверцева познакомилась с младшим лейтенантом Волоховым, направленным из резерва в полк, где служила Наташа. В соседний батальон, окопавшийся на берегу Свири в полукилометре от землянки, где проживали три подружки-медички: Клава, Наташа и их строгая, все понимающая начальница Маринка.

В полк Наташа и Митя пошли вместе.

— Здесь я живу.

Наташа показала темную, уходящую в землю нору, где вместо ступенек были пристроены жердочки, скользкие от грязи.

— Может, еще увидимся.

— Как удастся освободиться, я сразу же приду, Наташа.

Он пришел через три дня...

В перерывах между танцами массовичка разучивала песню «А мне мама целоваться не велит...» и устраивала аттракционы. Наталья Александровна выиграла один раз, назвав больше всех предметов домашнего обихода, начинавшихся с буквы «к».

Массовичка похвалила ее эрудицию и вручила приз — красный шарик, надутый до упругого звона.

Наталья Александровна взяла шарик и ощутила, что он как живой бьется в руке под невидимым ветром, просительно дергая крученую нить. Наталья Александровна улыбнулась и отпустила ее. Шарик вздрогнул, колыхнулся тугими боками и стал подниматься в белесое небо, пронизанное лучами затухающего над водой солнца.

Наталья Александровна, Даня, Виталий, плечистая массовичка и все остальные, кто находился на корме, притихли, подняли головы и смотрели, как красный шарик уходит в непостижимую высь, как сторонятся крикливые чайки, удивленные смелостью невиданной птицы.

— Улетел,— вздохнула Даня, доверчиво прижимаясь к плечу Натальи Александровны.

Наталья Александровна была благодарна девушке за мимолетную ласку. Она снова пожалела, что у нее нет детей.

Наталья Александровна поднялась на верхнюю палубу и остановилась возле знакомой, туго зашторенной брезентом шлюпки. Было хорошо стоять в одиночестве под спокойным и молчаливым небом, слушать музыку, доносившуюся с кормы, видеть землю, деревья, людей, примечать их неспешные движения, понимать их и думать о давнем.

По-иному вглядывалась сейчас Наталья Александровна в прошлое санинструктора Сиверцевой, вспоминала ее промашки и радовалась хорошему. Трезво сознавая, что многих промашек можно было в те давние годы избежать. Но избегать их, наверное, не требовалось. Теперь, в отдалении времени, они растворялись в хорошем, и воспоминания были живыми и естественными.

Прошлое люди всегда стараются чуточку приукрасить, подчистить на нем пятна и неопытные каракульки, считают его детским и немного игрушечным. Но это лишь кокетство и заблуждение — прошлое всегда давит на настоящее, определяет его, а потом в свой срок тоже становится прошлым.

Мало ли встречается у людей схожих черточек, и не следует из-за этого будоражить память. В ее возрасте пора кое-что закрыть на замок и ключ швырнуть в воду.

Андрей Владиславович сейчас уже спит. У него здоровый сон и размеренный жизненный распорядок.

Интересно, сумеет ли он до ее возвращения закончить антресоли в коридоре?

Наталья Александровна усмехнулась собственным мыслям и подумала, что, когда судьба отказывает в большом, человек изо всех сил старается заполнить эту брешь малым.

Как у нее сложится жизнь с Андреем Владиславовичем? Вспомнилось, как он осматривает на свет вымытые стаканы в институтской столовой и протирает бумажными салфетками вилки, прежде чем приступить к еде. Однажды он похвастался Наталье Александровне, что еще ни разу в жизни не занимал деньги.

А у нее вечно не хватает до получки то десятки, а то и четвертной.

Осилив долгий день, потемнело наконец небо, и стали выписываться в нем светляки звезд. В сгущающейся темноте лес тяжелел, задергивал горизонт глухой враждебной стеной. Словно хотел закрыть дорогу, не пустить теплоход к истокам Свири.

Терпко пахло озерной свежестью. Вода за срезом борта казалась тяжелой и маслянистой, нехотя растекаясь от острого носа теплохода. Тревожно светились судовые огни — зеленый, красный и ослепительно белый, вознесенный на верхушку мачты. Издали он, наверное, казался странной и загадочной звездой, движущейся над невидимым горизонтом.

Прозвучал отбой. Наталья Александровна нехотя стала спускаться в каюту. Ее угнетала теснота железной коробки, спрятанной в чреве теплохода.

«Боязнь замкнутого пространства.— Вспомнилось странное заболевание, поражающее порой психику человека.— Клаустрофобия. Кажется, так называется оно по-латыни...»

Наверное, это бунтуют гены. Миллионы лет у человека крышей было небо, а стенами горизонт. Потом он запер себя в замкнутое пространство. Посадил себя в клет-

ку, самим им созданную. Птицы и звери не приемлют клеток. Они тоскуют в них и умирают ранней смертью.

Боже, какая чепуха иной раз лезет в голову.

В каюте Даня спросила:

— Почему вы после развода так долго не выходили замуж, Наталья Александровна?

— Так получилось,— ответила она, удивленная странным вопросом.— То ли я не нашла, то ли меня не отыскали...

Пожалуй, и сама себе Наталья Александровна не могла ответить на такой вопрос. Может быть, новому замужеству мешала ее излишняя самостоятельность, а может, боязнь потерять свободу. Хотя порой от этой бабьей свободы хотелось выть. Особенно по праздникам.

— Теперь уже все решено, Даня,— улыбнулась она.— После поездки мы с Андреем Владиславовичем сразу отправимся в загс.

— Вы очень любите его?

— Не знаю, Даня. В мои годы непросто ответить на такой вопрос. Он хороший человек. Ко мне относится идеально.

— Все равно вам надо было раньше выйти замуж,— убежденно сказала Даня и оглядела Наталью Александровну прямолинейно-беспощадным взглядом молодости, от которого сразу понимаешь, что тебе за четыре десятка лет, что возле глаз у тебя неистребимые морщинки, что каждую неделю надо старательно прятать пробивающееся в волосах серебро, что грудь твоя стала рыхлой и в невестах тебе ходить уже неловко.

— Вы еще красивая, Наталья Александровна,— помолчав, утешила Даня.— Держаться умеете и за собой следите. У вас, наверное, кремы специальные есть.

Глава 3

— Какой же он мой, баба Варушка,— засмеялась Даня.— Ну, танцуем вместе, по палубе гуляем. А вы уже сразу — мой!

— Смешного ничего нет. Говорят, гонит девка парня, да сама прочь не идет. Разве знаешь, где свою судьбу

встретишь. Виталий — парень видный из себя. Позументы на рукавах, шапка с кокардой...

Вчера Даня познакомила бабу Варушку с радистом, и старуха обрадовалась новому поводу для разговоров.

— Ты нос в сторону от такого мужика не вороти,— наставляла она Даню.— Гли-кось: дом хочет в Белозерске строить. Где теперь парня найдешь, чтобы собственный дом хотел становить? Сейчас все ловчат казенну квартиру в горсть ухватить — и никаких тебе заботушек.

— На какие же капиталы он собирается дом строить? — спросила Наталья Александровна, прислушивавшаяся к разговору.— На зарплату судового радиста собственным домом не обзаведешься.

— Голова есть, да руки здоровые, так человек многое может достигнуть,— возразила баба Варушка.— Может, бережливый он, а может, какой-нибудь приработок имеет...

— Приработки разные бывают,— откликнулась Наталья Александровна и подумала о странном разговоре, который вчера ненароком услышала на палубе, когда стояла в одиночестве за корабельной шлюпкой.

Разговаривали двое мужчин. Один благодарил второго за приют и возвращал ключ.

— Вот, шеф, держи червонец, как договаривались. Винтики у тебя крутятся. Учитываешь насущные запросы общественности... В такой роскошной поездке у людей возникает необходимость тихого уединения на часок-другой. На палубе и воробью негде устроиться... Завтра мне снова будет нужна на пару часов твоя гостеприимная крыша... Гуд бай, шеф, как говорят бизнесмены...

Затем один из разговаривающих спустился по трапу на нижнюю палубу, где у борта его поджидала рыжеволосая, приметная девица, явно злоупотреблявшая косметикой.

Наталье Александровне стало ясно: что за «уединение» требуется кое-кому в туристической поездке.

Второго из разговаривавших Наталья Александровна увидеть не могла, но голос его был очень знаком. Хрипловатый, раскатистый говорок. Похожий на голос судового радиста.

Это насторожило ее, и холодок недоверия к фасонистому, бойкому на знакомства Виталию снова пробился наружу. Она решила, что все расскажет Дане. Но потом

ее остановила мысль, что она может и ошибаться. Не видела же она Виталия, а голос мог быть просто похож. Не только ведь у радиста есть на корабле отдельная каюта...

— Может быть, он в спортлото пять цифр угадал, Наталья Александровна,— задиристо сказала Даня.— Или по лотерее выиграл. Вы же его совсем не знаете. Вам хорошо подковыривать, а я третий год по общагам мотаюсь. В профтехучилище как залезла под казенное одеяльце, так и не могу из-под него выбраться. Только и твое — коврик на стенке да зеркало на тумбочке...

— Тебе, Данюшка, с хозяйственным парнем хорошо будет,— гнула баба Варушка собственную линию.— В своем-то дому всякая королевной живет. Раньше так и животиной бы обзавелись. Любо коровку держать. Теперь отходит у молодых такой обычай.

— Мы дома все время держали корову. Пестроней звали. Я и доить умею,— серьезно, без тени усмешки сказала Даня.

— Так еще того лучше. Теперь ведь корма купить можно. Не надо на покосе спину ломать...

Наталья Александровна, про себя улыбаясь, слушала разговор и представляла будущий домик в Белозерске, будущую Пестроню и Даню в роли ретивой хозяйки.

«А ведь у нее получится,— вылезла ревнивая мысль.— И ребятишек нарожает кучу. Сыновей и дочек. Белоголовых и крепких. Мамой будут звать...»

Ирония, на которую Наталья Александровна пыталась себя настроить, сразу оказалась мелкой и зряшной. Строго разобраться — без толку прокатилась ее жизнь. Прочертила она ее у кульмана, не выдав ни одной стоящей мысли. Растрясла лучшие годы в беготне по месткомовским делам, в хлопотах о чужих заботах. «Активная общественница» — лестный титул, приклеившийся к Наталье Александровне за долгие годы работы в институте, понемногу растащил личное. Перебирая прожитое, Наталья Александровна видела забытые всеми дела и хлопоты, никому теперь не нужные Почетные грамоты профкома и Общества Красного Креста, полустершиеся благодарности в трудовой книжке, да пыльные архивные чертежи, где красуется подпись инженера Сиверцевой, крупного специалиста по крохотному узлу шевронной передачи в манипуляторах.

Хорошо, что появился Андрей Владиславович, который заполнит брешь в отлетевших годах.

От этих мыслей было плохо, и в душе зашевелилась откровенная зависть к Дане, к ее молодости, деловой практичности и ясному пониманию того, что надо в жизни. Простого и прочного, без прикрас и вывертов.

— Я, девушки, два раза вдовела,— перевела баба Варушка разговор на собственную биографию.— Такой уж у нас бабий род неудачливый. И мать вдовела и бабка. Теперь старшая моя, Августа, шестой год во вдовицах ходит. Потонул ее мужик. Через выпивку эту проклятую смерть принял. Раззадорились между собой в компании, и Костянтин, муж Августы, решил на бревнышке Низовский порог переехать. Скакнул на бревно с багром в руках, а его в пороге вертануло о камень и слизнуло в воду. Осталась Августа с двумя ребятишками. Младший, Игорь, тот от Костянтина, а Анна, девка, еще до замужества нагуляна. Разумна така девчушка. На одне пятерки три года учится. С таким хвостом какой мужик ноне позарится!

— Зачем же вашей дочери непременно замуж выходить? — удивилась Наталья Александровна.

— Хозяин в дому должен быть. Так уж природой устроено, что каждая живая душа себе пару ищет. Конечно, иной раз и нужда сватает.

— Как это нужда сватает? — не поняла Даня.— Продавать, что ли, себя?

— Вишь, ты как словами-то сечешь, девушка, аж искры летят... Вот я после Ивана, сказывала уже вам, с двумя ребятишками на руках осталась. Худы были тогда годы, тягостны. У меня ни лошади, ни коровенки уже давно не осталось. Надел земли дали мне хороший. Дак его ведь зубами не угрызешь...

Баба Варушка нахмурила лоб, прикидывая, как ей дальше рассказывать.

— В ту пору стал ко мне вдовец подкатывать, Антип Васильевич... В молодые годы я красивая была. Обряжусь на праздники, хоть картинку с меня списывай. Сарафанов тогда в наших местах уже не носили. К городскому стали тянуться. «Парочки» по праздникам наде-

вали. Юбка-косоклинка и кофточка в талию, а сзади мелки оборочки. Теперешня мода мне, как зубна болесть. В пестры штаны нарядятся, волосы обстригут. Тако полумужичье иной раз идет, глаза бы не смотрели. В большой бедности я жила, а красота моя еще не истратилась. Антип-то Васильевич уже в годах находился порядочных, но форс держал. На руке толсто тако кольцо носил из чистого золота, волосы на рядок причесывал и по воскресеньям в церковь при галстуке ходил. Хозяйство имел по тем временам крепкое. Дом со двором, амбар, что иная изба, на два этажа. В покос казачих нанимал, батрачек, вроде как по-вашему сказать. Поревела я с горя после такого сватовства, сирот своих пообнимала и дала Антипу Васильевичу согласие.

— Прямо так, без любви? — ужаснулась Даня.

— Так,— подтвердила баба Варушка.— Девкам не за кого было выходить. Война, считай, деревню ополовинила, а у меня двое на руках... Любовь тако дело — с утра не обогреет, так к вечеру голову не напечет. Миколаю в ту пору пятый год шел, а Августа еще трехлеткой была. Исть они каждый день просят, да и без дров в дырявой бане тоже зиму не проживешь. А как из лесу дрова добудешь, если коня нет...

Вот с таким-то мужем, с такой-то бедой я, девушки, восемь лет прожила. Детей моих он обижал. Бывало, как тропнет кулаком по столу, все чашки-ложки в стороны раскатываются. Августу по голове бил. Ну, малый ребенок иной раз и сдурачит. Так постращай ее, хлестни ремнем по мягкому месту. А он пальцы сожмет и козенками кует Густю в темечко, в материнский родничок... Погнула я на него спинушку, по сю пору косточки ту работу помнят... Двоих я от Антипа Васильевича принесла — Павла да Семена...

Даня накинула стеганый розовый халатик из нейлона и завязала его под горлом. С лица ее смылось обычное насмешливо-ироническое выражение. Четче прописались полные губы и разметистые брови застыли без движения.

— Раньше бабы от ребятишек не уберегались,— продолжила пенсионерка.— Моды не было по фершалам бегать, чтобы брюхо не затяжелело. Теперешние легонько насчет ребятишек живут... Ой, как легонько!.. А ведь на том, что жонки детей рожают, мир стоит.

Баба Варушка пожевала губами, поддернула концы ситцевого, в мелкую горошину, платка и покосилась на Наталью Александровну, оглаживающую перед зеркалом подбородок мягкой пуховкой.

— Ты, Александровна, зря ребятишек не завела. Из себя ты женщина видная, достаток есть полный, а пустоцветом проживаешь.

Наталья Александровна ощутила, как на ее лице под слоем пудры запламенела кожа. Недоставало, чтобы настырная старуха-пенсионерка лезла к ней с нравоучениями. Слава богу, достаточно уже взрослая она и разберется с собственными проблемами.

— Теперь небось спохватываешься, да время твое укатило. Прокуковала ты, баба, молодые годочки.

— Я в молодые годочки на фронте под пулями лежала.

— Не одна ты, Александровна, войны хлебнула. Этим не загораживайся.

Наталья Александровна сердилась и понимала, что глупо обижаться на прямолинейную правду бабы Варушки. Вчера на палубе, ощутив доверчивое прикосновение Дани, она опять остро почувствовала, как обделила ее жизнь. Себе это она может сказать наверняка.

Наталья Александровна ожидала, что Даня не упустит момент, чтобы высказать собственное суждение. Но девушка промолчала, и Наталья Александровна мысленно поблагодарила ее.

— Что же дальше было?

— Дале, девушки, такое было, что и сказывать неохота. Я думала, что мое лихо отошло, а оно только начиналось. В те годы в деревнях колхозы заводили и богатеев стали прижимать. Антипа Васильевича, как он раньше наемну силу держал, твердым заданием обложили. Потом в дом с обыском пришли и в подполе выкопали у него кубышку с золотыми десятками. Тут мой хозяин совсем осатанел. Каждый вечер домой приходил пьяней вина и меня мытарил. Вы, говорит, голодранцы, нас со свету сживаете, ваша порода хозяев под корень изводит. Нахваталась я тогда синяков и зуботычин. Один раз вожжами по рукам и ногам меня спутал и так вязальной спицей исколол, что живого места не осталось. Ребят я от него то в сарай, то на чердак прятала. Большого лиха опасалась...

— Жуть! — воскликнула Даня и стала торопливо одеваться.— Как же вы такое позволяли? В милицию надо было заявить... В сельсовет. Я бы такого изверга своими руками придушила.

— Ты, Данюшка, не кипятись. Жизнь прожить, не поле перейти. Всяко наживешься, чужого мужика батюшкой назовешься... Ты слов не пугайся. Укатило горе старое. Вишь, я какой барыней на пароходе разъезжаю. Разве думалось, что на закате выпадут Варваре Павловне такие денечки на великую радость. Пенсию каждый месяц огребаю. Эко ли не житье! Не знаю, куда денежки расшиковать. Ребята на своих ногах стоят, тоже помогают. У меня дома целый шифоньер всякого добра — три отреза шерстянки на платья еще не тронуты, пальто Паша новенькое прислал с лисьим воротником, двое бот ненадеванных и валенки с галошами... Почему, значит, в милицию не писала? Четверо у меня на шее было, потому и не писала. Какой бы не был Антип Васильевич, а у ребят тепла крыша над головой была и кусок хлеба. Другие корье да заболонь толкли, а нам хозяин в питании не отказывал. Говорил, что сытый конь в борозде лучше тянет. Да и стыдно было бумагу писать. Сама ведь, по согласию в петлю голову сунула...

Баба Варушка замолчала, и на лицо ее набежала тень. Удивительное было у нее лицо — круглое, в мелких морщинках, с жидкими бровями и провалами на щеках. А на нем глаза — ясные и живые, хоть и растерявшие цвет от прожитых времен.

— Только не спаслась я своим терпением. Как стали Антипа Васильевича раскулачивать, потерял он разум. Ночью дом и двор со скотом керосином облил и поджег, а сам в лес убежал и руки на себя наложил, на суку повесился. Младший мой, Сеня, тогда в огне сгорел, а с остальными я кое-как поспела выскочить...

Даня больше не перебивала рассказ. Одетая в глухой темный свитер, она сидела рядом с Натальей Александровной.

— И опять осталась я с ребятишками одна. Ума у меня, слава богу, прибавилось, и смекнула я: надо ближе к людям прибиваться. В колхоз вступила, и помогу мне сразу дали. Полмешка жита выписали, картошки и пуд соленых щук. Избенку какую ни на есть помогли сгоношить из Антипова амбара. Ну, а работы я никогда не

боялась. С первой весны меня на красну доску вывесили, и стало помаленьку житье поправляться... Я ведь, девушки, еще третий раз замуж вышла. По сю пору с ним живу, с анчуткой рогатым, статуем окаянным, с шалавой неугомонной.

Ругательные слова баба Варушка произнесла совсем не зло. У глаз ее шевельнулись морщинки, и улыбка сбежалась на сухом лице. Началась она у висков, спустилась по дряблым щекам, углубив на них яминки, потом раздвинула губы, показав полдесятка уцелевших зубов.

— Когда же вы третий раз замуж вышли? — спросила Наталья Александровна.

Баба Варушка задержала на ней взгляд.

— Да уж в твоих годах... Такая у меня на пятом десятке получилась история.

«Первая смена приглашается на завтрак»,— прозвучало из динамика.

— Охти мне, опять я вас заговорила,— всполошилась баба Варушка.— Радио это понаделали, нигде не ухоронишься. У нас теперь бабы на ферму с транзисторами ходят. Манька Малашиха своих коров к музыке приучила. А поперву-то в диковину радио было. У нас на порядке Липатиха живет, годов уж восемьдесят теперь ей. Провели Липатихе тогда радио. Черну тарелку повесили в переднем углу. Когда оно первый раз заговорило, Липатиха, глупа голова, подумала, что оно взаболь с ней разговаривает. Она, значит, радиву и отвечает. Я бы говорит, голубеюшко, с тобой побеседовала, да мне надо житники в печь садить, а деда тоже дома нет, утянулся перемет ставить... Гляди-ко, каки темны люди были...

«Первая смена приглашается на завтрак»...

— Да идем мы, идем. Вот ведь настырное. Слова не даешь людям сказать,— рассердилась баба Варушка на пластмассовый динамик.

«Иван Сусанин» шел по Свири.

Разбегающиеся струи вязались под берегами, заплескивали на камни и крутили стекленеющие воронки. Было мрачновато от мешанины валунов, неясных теней и дичины тальников. Ветер приносил терпкий черемуховый дух, и восковые скорлупки скоротечных цветов сеялись на воду.

На душе у Натальи Александровны смутно. Хотя берега оставались берегами и вывалы скал теми же знакомыми с давних пор каменными проплешинами, и река, приняв в объятья трехпалубный теплоход, так же, как и прежде, ровно и упруго катила воду.

Все было так и вместе с тем не так.

В памяти лежали другие берега. Искореженные, опаленные, вздыбленные взрывами, испятнанные оспинами воронок. К воде тянулись рогатки с колючей проволокой, щели траншей и ходов сообщения. Меж валунами таились дзоты, целились стволы пулеметов и «собак» — скорострельных, сухо лающих при выстрелах, пушек. В укрытиях сидели дозоры и хоронились снайперы. Каждая, чудом уцелевшая, изувеченная, сосна именовалась ориентиром, и мин в траве пряталось побольше, чем грибов в урожайный год.

Даже небо, голубеющее на весь окоем, в которое сейчас можно было долго и безбоязненно смотреть, не походило на то, давнее.

Здешнее небо Наталья Александровна знала хмурым, задернутым облаками, сеявшими снег или неуютные дожди, от которых лубенели шинели и прохватывал тягучий, неутихающий озноб. Когда же облака расступались, в небе сразу начинали кружить «юнкерсы» и «фокке-вульфы», вылезала глазастая, примечающая каждое движение «рама». При ясном небе все живое забивалось в щели, укрытия, пряталось по землянкам и тоскливо ждало, когда кончится визг бомб, татакание очередей, гудение бомбардировщиков и гулкие хлопки зениток.

Воспоминания отгораживали Наталью Александровну от людей, и она все острее ощущала среди шумных туристов одиночество и боялась его. Подолгу выстаивая на верхней палубе и потирая мерзнущие руки, она неотступно думала об одном и том же. Далекое время неторопливо разматывалось в памяти, спрятаться, уйти от этого внутреннего движения было некуда.

Каменистые у истоков берега Свири в нижнем течении переходили в болотистые поймы и торфяники. Весной окопы заливала вода, летом поедом ели комары и мошка, а осенью поливали тягучие, как бессонница, дожди. Потом морозы схватывали землю, и она становилась

твердой, как кость. Вымороженный снег остро скрипел под ногами. Солдатам, привыкшим к потаенным шагам, этот скрип казался пугающе громким.

Командование, готовившее наступательную операцию, беспокоила плотина гидроузла. За ней находилось водохранилище, а управление шандорными затворами было в руках противника. Стоило ему открыть затворы — и по реке хлынул бы водяной вал, затопил наступающие батальоны, орудия, боевую технику, порвал понтонные мосты и в щепки разнес паромы.

Егеря поставили на пути к плотине и шандорным затворам надежные заслоны. Тонны воды, подпертые плотиной, заменяли не одну дивизию. А их у противника на третьем году войны оставалось не густо.

Плотину пытались разбить бомбами, пробовали пускать в нее торпеды с легких катеров. Но все было безуспешно. Тогда к ней стали одна за другой направляться группы разведчиков и саперов, нагруженных взрывчаткой.

Ни один человек, отправившийся к гидроузлу, не возвратился назад. В окопах поползли слухи о шпионах и о всем прочем, что вылезает в минуты неудач и беспомощности. Тем более что в дивизионных тылах не раз ловили диверсантов, одетых в нашу форму.

Хоть и не часто, Наташе и Мите удавалось встречаться. Улучив свободный часок, Митя тут же прибегал в батальон. Лейтенант Крохмалева, понятливо улыбаясь, давала увольнительную старшему сержанту Сиверцевой.

В мороз Наташа и Митя забирались в землянку. Митя щедро топил печку мерзлым осинником, и они с ногами сидели на ложе батальонных медичек, смотрели на огонь и разговаривали. Нараспев, как сказители читают былины, Митя декламировал Пушкина, неизвестного Наташе Гельдерлина, Есенина и Кольцова. Летом они уходили в лес. Брели по ольшанику с узкими ржавыми листьями, по сырым тропам мимо замаскированных батарей, линий связи и фанерных указок с надписями «хозяйств». Яростно пели комары, и стволы автоматов цеплялись за ветки. Когда Мите случалось нечаянно прикоснуться к Наташе, он начинал говорить сдавленным голосом и оттопыренные уши его розовели, как у взрослеющего маль-

чишки. Он и в самом деле был таким. На войну Дмитрий Волохов ушел в семнадцать лет. Шесть месяцев скороспелых пехотных курсов, фронт, тяжелое ранение и снова фронт. Наверное, ему и целоваться с девушками не довелось. Эта мысль радовала и немного смущала Наташу. Ей казалось, что в таких делах она взрослее, хотя с Митей они были одногодки и целовалась Наташа только со знакомым десятиклассником. Ей нравилось, что случайные прикосновения тревожат Митю. И она отчаянно трусила, потому что от этих прикосновений у нее кружилась голова и по спине пробегали щекочущие мурашки.

Перед уходом на спецзадание младшему лейтенанту Волохову удалось вырваться к Наташе. Он сказал ей, что отправляется с разведгруппой.

Наташа догадалась, что Митя идет к плотине.

Они сидели недалеко от санпункта на поваленной взрывом сосне. Рядом по тропе ходили солдаты. Но Наташа обняла Митю и стала целовать его в шершавые, заветренные губы.

— Ты должен вернуться. Ты обязательно должен вернуться,— шептала она, припадая к гимнастерке, под которой громко тукало сердце.— Я тебя прошу... Ты слышишь? Я умоляю тебя вернуться, Митя!

Младший лейтенант растерянно гладил ее по спине. Кроме матери, его еще никто так страстно не просил вернуться.

Разведгруппа ушла, и через двое суток с нею оборвалась связь.

Наталья Александровна хорошо помнила тот день с низкими тучами и скользким дождем, когда на левом фланге полка вспыхнула всполошная стрельба. Раскидисто застрочил на финском берегу пулемет. Затем вступил второй, третий. Рокотнули автоматы, и сухо затрещали винтовочные выстрелы. Потом в воздухе скрипуче, словно рвали парусину, завыли мины.

В санпункт притащили командира пятой роты, старшего лейтенанта Огаркова. Шальной осколок располосовал ему живот. Военфельдшер Крохмалева перевязала рану и распорядилась:

— Сиверцева, бери повозку и немедленно старшего лейтенанта в медсанбат. Нужна срочная операция.

В медсанбате Наташа узнала причину неожиданной стрельбы.

— С той стороны один перебрался,— сказала ей знакомая медсестра.— В финском мундире, документов никаких, а автомат немецкий. Худущий! Ну прямо скелетина... Как он только реку переплыл!

У Наташи похолодели кончики пальцев.

— Где он?

— Вон в той палатке... Ты чего, Наташка? Что с тобой?

Наташа не ответила. Она чуть не бегом заторопилась к небольшой палатке, стоящей поодаль, на краю медсанбата. Возле палатки прохаживался часовой. Он строго окликнул Наташу.

— Мне только посмотреть, товарищ ефрейтор... Одним глазком взглянуть. Я даже внутрь заходить не буду, честное слово... Пожалуйста, товарищ ефрейтор!

— Не положено, сестричка. Не имею права.

В это время к палатке подошел пожилой капитан со шрамом на щеке. Он спросил Наташу, кто она и почему оказалась в медсанбате? С минуту подумал и приказал автоматчику:

— Пропустите товарища старшего сержанта.

В полумраке душной, наглухо зашторенной палатки Наташа увидела на носилках костлявого, незнакомо длинного человека в финском сером френче, в подкованных ботинках и брезентовых гетрах на медных пряжках. Голова его была замотана бинтом, левая рука уложена в проволочную шину. Закрытые глаза и тонкий нос со знакомой горбинкой.

Сердце разнобойно и загнанно торкнулось где-то под самым горлом: «Митя!»

Наташа кинулась к носилкам, встала на колени, с ужасом ожидая, что пальцы почувствуют смертельный холод, протянула руку.

Жив! Живой Митя!.. Живой...

От радости она обессилела и качнулась из стороны в сторону, словно под ударом ветра. Капитан со шрамом на щеке поддержал ее, и это помогло Наташе взять себя в руки.

Опытными глазами фронтового санинструктора она оглядела Митю. Худое, в ссадинах и кровоподтеках лицо его было ужасно. Пугал неподвижностью подбородок и закатившиеся в костлявые орбиты глаза, замкнутые синюшными веками.

Когда Митя застонал, негромко и страшно, не разжимая спекшихся губ, Наташа снова ослабела и заплакала, уткнувшись в колючее сукно чужого френча.

— Вы знаете его, сестра?

— Знаю.

Наташа назвала капитану имя, фамилию, звание, номер части и должность Дмитрия Волохова. Все это было, видимо, известно капитану, и он не стал ничего уточнять.

— Вас не удивляет, что Волохов в чужом мундире? Пойдемте ко мне, побеседуем.

В землянке особого отдела Наташа рассказала капитану, что знала о Дмитрии Волохове. Даже о стихах незнакомого Гельдерлина.

— История! — задумчиво протянул капитан.— Два дня назад нам вот эту листовочку кинули.

Наташа взяла четвертушку бумаги и обомлела. На ней была напечатана фотография: трое сидят за столом, нагнувшись над котелком. Крайний из них — Митя. Возле него пузатая бутылка с пестрой этикеткой и стакан. Под фотографией напечатано, что русские разведчики, добровольно сдавшиеся в плен, обеспечены горячей пищей и им оказана медицинская помощь. Листовка призывала сдаваться в плен.

— Если добровольно сдались, зачем же медицинская помощь?

— Все это так, Сиверцева... Но на листовке Волохов в нашей гимнастерке, а через Свирь он перебрался в финском мундире. Сам он ничего пока объяснить не может... Из двенадцати человек возвратился один Волохов.

— Не верю,— сказала Наташа капитану со шрамом на щеке.— Не верю, и все!

Вспомнила проволочную шину на руке Мити.

— Он же с перебитой рукой Свирь переплыл! Не верю, товарищ капитан.

Наташа прижалась затылком к сучковатому бревну-подпоре так сильно, что ей стало больно, и решилась сказать то, в чем боялась признаться самой себе.

— Я люблю его, товарищ капитан... Люблю.

Впервые в жизни Наташа произнесла вслух слово, в котором была непонятная сила, и ужаснулась, что говорит его не Мите, а капитану особого отдела, с точки зрения которого такой довод ничего не стоил.

Но она знала Митю больше, чем капитан. У него были доказательства и факты. Но он не заглядывал Дмитрию Волохову в глаза, не слышал, как он читает стихи и какими словами рассказывает о матери и друзьях. Младший лейтенант Волохов не мог предать. Он же возвратился к нашим, к своим. Он же со сломанной рукой переплыл Свирь. Пусть хоть на него напялят эсэсовский мундир, Наташа будет верить в него.

— Ладно,— сказал капитан,— выслушав сбивчивые слова.— Напишите все, что о нем знаете.

Через два дня командир батальона, повстречав Наташу, спросил, что за ерунду она наплела капитану особого отдела.

— Разве любовь может быть ерундой, товарищ майор?

Комбат смутился и странно поглядел на Наташу.

— Война, товарищ старший сержант... Война идет, а вы такими делами занимаетесь. Несерьезно.

Через неделю комбата убили. Фамилия его была Левшин, Николай Степанович. Ему было двадцать четыре года, и он не успел понять, что любовь — это очень серьезное дело.

Капитан из особого отдела разобрался в странных обстоятельствах появления Волохова в финском мундире и в листовках с его фотографией. Через два месяца Митя возвратился в полк и пришел в землянку батальонного санпункта. Марина Крохмалева дала Наташе увольнение на целых шесть часов.

Они ушли в лес, и Митя рассказал, что произошло. Разведгруппа, направленная для подрыва шандорных затворов, нарвалась на засаду. Митю контузило разрывом мины, и он попал в плен. Трое суток ему не давали есть, не давали ни капли воды. Потом привели в дом, где было двое людей в нашей одежде, котелки с супом и пузатая бутылка с пивом.

— Тогда нас и сфотографировали на листовку... Мне эту штуковину показывали. Теперь, мол, тебе никто не поверит. Убежишь — свои же к стенке поставят.

Митя бежал через неделю. Убил часового, прихватил его автомат и надел его обмундирование.

— Мне капитан рассказал, что ты написала,— сказал Митя и обнял Наташу.— Я люблю тебя, Наташенька... На всю жизнь.

Она поглядела в его глаза и поверила — именно так: на всю жизнь.

— Кончится война, и мы сразу поженимся.

— Сразу,— ответила Наташа, хотя уже знала теперь, что до конца войны оставалось еще много месяцев, невероятно много дней, и в каждый из них убивали людей.

Медленно, неохотно опускалась на землю призрачная северная ночь. Леса погружались в лиловеющие сумерки, а отходящий день полыхал, не унимаясь, над ними багряным пожаром. Лишь к полуночи, словно устав, съеживался багрянец, ложился брусничной полосой на чело земли и неприметно гас, рождая зыбкий, дымчатый свет.

Хотелось темноты и сна, а свет проникал сквозь смеженные веки, и спрятаться от него было невозможно. Наталья Александровна ворочалась на постели, сминая простыни. До отвращения теплая подушка облепляла голову, будто стараясь удушить. В сумеречной синеве каюты все казалось одинаковым, неясным и расплывчатым.

Теплоход без остановки прошел Подпорожье. Ближе к устью Свирь распрямлялась. Вода добрела, успокаивалась, замедляла бег.

Увидев вольно расходящиеся берега Ладоги, Наталья Александровна нашла в себе силы посмеяться над вчерашним смятением и облегченно подумала, что прошел еще один день поездки.

Глава 4

Даня не пришла на ужин. Баба Варушка разволновалась, выпросила у официантки тарелку и принесла в каюту остывшую котлету с макаронами, сдобу и чай.

— Вот шалопутная девка. Куда же она запропастилась?

— Значит, есть дела поважнее ужина.

— Поискала бы ты ее, Александровна. Может, лихо какое стряслось?

— За борт, кажется, никто не падал.

Разыскивать на теплоходе восемнадцатилетнюю девицу было смешно, но тревога бабы Варушки невольно передалась Наталье Александровне, и она отправилась на поиски.

Даню она увидела на корме. Облокотившись о поручни, открытая ветру, девушка смотрела на взбулгаченный винтами пенный след, над которым сутолошно метались чайки, высматривая оглушенную рыбешку.

— Что случилось, Даня? Мы твой ужин принесли в каюту.

— Спасибо... Я не хочу есть, Наталья Александровна.

— Что же у тебя отбило аппетит?

Даня вздохнула, передернула плечами и попыталась привести в порядок волосы, разлохмаченные ветром.

— Неприятность получилась... Понимаете, Виталий меня в каюту пригласил. Записи интересные послушать. Те, которые капитан не дает ему прокручивать...

— Ясно... Потом появилась бутылка сухого вина...

— А вы откуда знаете?

— Технология таких ухаживаний не отличается, увы, разнообразием... Ты полагала, что он тебе будет про цветочки рассказывать, а он обниматься полез и так далее...

Наталья Александровна сердилась сама на себя, на нелепую, придуманную ею в собственное удовольствие, опеку над совершеннолетней девицей, отлично соображающей, что ей нужно. Сейчас, наверное, она услышит покаянное признание. Потом прольются не очень уже горькие слезы, будут тривиальные слова о безответной любви, о доверии и мужском вероломстве, которыми в таких случаях, как зонтиком, пытаются прикрыть грешное удовольствие.

— «Так далее» не было,— строго перебила Даня.— Он мне, в самом деле, рассказывал. Только не про цветочки, а про Белозерск. Там у него мама живет. Старенькая уже и плохо видит. Поэтому он и уезжать оттуда не хочет...

— В чем же тогда неприятность?

— Понимаете, вышла я из каюты, а тут как раз капитан по коридору идет.

— Вот оно что! Запрещается отвлекать членов экипажа от выполнения служебных обязанностей и находиться в чужих каютах... Ну, это не так страшно, и расстраиваться по такому поводу не стоит.

— Мне-то, конечно, наплевать, а капитан к Виталию придирается. Прошлый рейс он ему выговор в приказе объявил. И тут разорался на него, что больше терпеть это безобразие он не желает и спишет Виталия с корабля... Ну, зашла я к Витальке. Не арестованный же он. И каюта цела осталась. Не просидела же я там место.

— Дело тут, Даня, в другом,— возразила Наталья Александровна, рассмотрев вдруг, что у ее молодой соседки по каюте редкие, белесые ресницы и толстая переносица ее замусорена не легкими веснушками, а ямками глубоких рябинок.— Могу объяснить тебе, почему капитан к радисту придирается. Этот Виталий, по-моему, хлюст порядочный.

Даня вздрогнула от злого и обидного слова, резко выпрямилась и, придерживая рукой разлетающиеся волосы, уставилась на Наталью Александровну.

— Как вы можете так говорить? — неприязненно спросила она.— Вы же его совершенно не знаете. Словечко тоже придумали, а еще культурные, из Москвы.

— Могу так говорить. Он деньги на дом в Белозерске подрабатывает тем, что сдает каюту милым парочкам на условиях почасовой оплаты.

— Ну и что? — трезвым и спокойным голосом возразила Даня.— Вам-то до этого какое дело?

— Капитан, видимо, имеет на сей счет несколько иное мнение. Если ты такой приработок считаешь нормальным, нам говорить не о чем.

Наталья Александровна повернулась, чтобы уйти, но Даня ухватила ее за рукав.

— Вы неправду сказали? — торопливо спросила она. Глаза ее утратили резкость, стали беспомощными, распахнутыми, как окошки при пожаре.— Вы просто пошутили. Виталий вам не нравится, вот вы и придумали про каюту.

— Такое не придумывают,— раздраженно ответила Наталья Александровна, жалея, что сказала Дане о разговоре на верхней палубе. На кой черт ей влезать в такие дела. Своих забот, что ли, не хватает? Взялась наставлять на путь истинный незнакомую ей, в сущности,

девицу и получила, как это уже не раз случалось в институте, очередной раз по носу: «Вам-то какое дело?» Правильно, не суйся, когда тебя о том не просят.

— Вот что, милая, разбирайся сама с собственными неприятностями. Человек ты совершеннолетний, и водить тебя за ручку ни к чему.

— Я Виталия спрошу.

— Сделай одолжение... Впрочем, ты ведь и сама не прочь у жизни поскорее свой куш схватить. Чем только за такой куш расплачиваться станешь? Домик в Белозерске даром не поднесут. А за душой у тебя пока маловато.

— Презираете? Мораль хотите читать? До чего вы любите морали в нос тыкать. А я сама все хочу попробовать, сама хочу испытать, что я стою в жизни.

— Тогда начинай с пещерного человека, а то много без опробования останется.

— Слова это все... На словах что хочешь можно доказать. Витальку я не позволю с корабля списать. Не дам. К капитану пойду, заявление в пароходство напишу.

— Пиши. И к капитану наведайся. Он тебе наверняка еще кое-что любопытное расскажет.

Даня возвратилась в каюту почти вслед за Натальей Александровной. Деловито съела остывшую котлету, выпила холодный чай и принялась наряжаться в брючный костюм.

— Побегай, побегай, Данюшка,— зарокотала баба Варушка.— Я тоже, бывало, на вечеринки любила бегать. Мороз на улице, пуржит, зги не видно, а ты ухлестываешь, ног под собой не чуешь. Побегай, веселись.

— Какое тут, к дьяволу, веселье,— зло откликнулась Даня, вздохнула и раздумчиво добавила.— Так ведь веселимся-то, по нужде, девать себя некуда... У меня, баба Варушка, официальный визит.

— Какой еще такой визит?

— К капитану. Нужно выяснить, что есть белое, а что есть черное,— ответила Даня и вышла из каюты.

— Чего она к капитану потащилась? Про черное и белое сказывала? Ежели о человеке разговор, так черного

либо белого не отыщешь. Сколь я на своем веку людей ни встречала, все полосатенькие попадались.

— Тем не менее есть и черное и белое.

— Ты мне, Александровна, разум не темни. Ты скажи толком, что случилось.

Наталья Александровна рассказала о разговоре с Даней.

— Ну так и что? — спросила баба Варушка.— Мало ли у человека какая промашка выходит. Что же его сразу головой в омут совать?

«Эх ты, всеблагая утешительница! — снисходительно подумала Наталья Александровна.— Изломала тебя, видно, жизнь. Приучила плыть по течению. Все тебе хорошо. Все, как бог пошлет... Удобная философия».

Остров Валаам встретил отглаженным гранитом седых скал. Солнце купалось в холодной воде Ладоги, и березы прятались за каменными выступами от северных ветров. На припеках были разливы черники, зацветающей фиолетовыми искрами. Прозрачные, как весенние проталины, озера стыли в базальтовых покатых чашах.

Были обомшелые стены древних монастырских построек. За ними хоронились от жалостливой и потому обидной человеческой доброты те, кого особенно тяжко искалечила война. Об этом говорили шепотом и вдоль стен шли тихо, неодобрительно оглядываясь, когда под ногами у кого-нибудь хрустел сучок.

Баба Варушка семенила рядом с Натальей Александровной, вздыхала и шептала что-то про себя.

Вечером, когда Даня снова вертелась возле зеркала, перед тем как уйти на палубу, баба Варушка грустновато приподняла отбеленные временем брови и сказала:

— Мой нонешний мужик с войны тоже сильно увечный пришел. Три года воевал, не царапнуло, а на четвертом, когда проклятого лиха всего один месяц оставался, оторвало ему бомбой обе ноженьки...

Даня вздрогнула и отложила в сторону цветастый тюбик польской губной помады.

— Вот какая, девушки, беда мне на верхосытку привалила. Покалечила проклятая война Федора моего Степановича. Правую ногу ему сразу отмахнуло по самый пах, а вторую доктора в медсанбате отчикали. Кости в

ней были все раздроблены. В другое время так, может, и сохранили левую ногу, а тогда, Федор сказывал, горячка была у докторов. Навалом мы, грит, после боя в санбате лежали. Начали бы с моей ногой по всем правилам возиться, может, пять, а то и поболе человек за это время души отдали. Это он теперь рассуждает, чтобы себя утешить. А наверно, так и было дело...

Наталья Александровна кивнула, вспомнив заваленную ранеными операционную палатку на Сермягских болотах, небритого, седого от усталости хирурга Кострецова, его забрызганный, разорванный возле кармана халат, механические движения рук и те жесткие десять минут, которые он мог отвести каждому раненому. Их становилось все больше и больше. Они стонали, матерились, лежали безусые на лапнике, на носилках, на плащ-палатках. Им нужен был врач, а сутки назад при обстреле убило второго хирурга.

— Усыпили моего Феденьку. А когда, говорит, оклемался я, Варвара, от меня всего половина осталась...

Даня растопыренными пальцами нащупала койку и осторожно присела рядом с бабой Варушкой.

— Дак ведь по порядку надо сказывать,— спохватилась баба Варушка,— а я вам с середины завела. За Федора я в третий раз-то замуж и вышла. До войны дело было. По соседству мы с ним проживали. Федор в колхозе бригадиром по полеводству работал, а я на ферме дояркой. Жена у него в ту пору умерла, Надежда. Трое мал мала меньше на руках у мужика остались. Полгода маялся он со своей командой, потом пришел ко мне, поллитровку красного вина принес и сказал: «Давай, Варвара, в одну упряжку впряжемся. Троих твоих, да троих моих в кучу смешаем». А чего их смешивать, когда они по соседству, считай, и так давно смешались. В общем, договорились мы с Федором по-хорошему. Человек он самостоятельный, работящий, грубых слов и прочего никогда не употреблял. А только сказать вам, девушки, как на духу,— пожалела я его, и только. Не лежала к нему душа, как к Ивану. Бабье нутро ведь и колом не перевернешь. Первого я любила, Иванушку моего, единое мое красное солнышко...

«Единое мое красное солнышко»,— мысленно повторила Наталья Александровна слова морщинистой бабы

Варушки, сказанные дрогнувшим от волнения голосом, в котором выплеснулось давнее, светлое и незабытое.

— В войну на баб тягота навалилась несусветимая. Теперь дак и вспоминать не хочется. Федора взяли по мобилизации, и осталась я одна с шестерыми ребятишками. Августа уже в колхозе подрабатывала, а остальные только умели есть-пить спрашивать. Коровенкой мы спасались, всей компанией ей корм добывали. Где канаву у дороги обкосишь, где в бочаги забредешь и охапку-другую осоки добудешь, где отавы ухватишь. И все на своем горбу в дом. По трудодням в войну мало что доставалось. Пластаешься на работе, чтобы бригадир поболе палочек записал, а расчет подойдет, по тем палочкам получать нечего. В избе холодно, куржава в каждом углу, а в печи одна варя — картошка да кислые капустные листья. Когда колхозную капусту сдавали, правление мне навстречу шло. Ставили меня, как многодетну, с капустных кочанов верхние листья обрывать. Теми листьями мы с ребятишками на зиму и запасались. Упаришь их, бывало, в чугунке, молоком забелишь, и опять еда, коль брюхо просит... Федор с войны часто письма писал. Получишь весточку — и вроде легче делается. В хороших-то словах люди крепчают. Это я, девушки, по себе много раз примечала.

Баба Варушка вдруг замолчала, задумалась. По лицу ее мимолетно пробежала какая-то сокровенная дума и растаяла, оставив в уголках сухих губ скорбные морщинки.

— Как вам дале про все сказывать,— шумно вздохнула она.— Затаиться ведь надумал от меня Федор Степанович. Решил после увечья не объявляться. Вроде пропал без вести, и дело кончено. Товарищ его из госпиталя мне все прописал. Не одобрял он тут Федора... Так, мол, и так, уважаемая незнакомая мне Варвара Павловна Плотникова, тяжелую сообчаю весть, а только лучше знать вам доподлинную правду и решать, как поступать. Лежит рядом со мной ваш муж без обеих ног, и предстоит ему скоро выписка... Обидно мне показалось, что хотел Федор от меня затаиться. Может, веры у него тогда ко мне не было? До войны ведь всего год с небольшим и прожили вместях. Пущай мне не верил, дак от своих-то детей как он мог в отступ идти?

— Тяжело ему было.

— Знамо, тяжело, Александровна. Только свою тяжесть на плечи других без надобности не след переваливать. Мне такое письмо от чужого человека тоже несладко было получить. Поревела я тогда, девушки, вдосталь. Свою жизнь по маковым зернышкам в пальцах перебрала. Смекнуть хотела, за какой грех на меня столько бед положено. Хоть и не нашла я своей вины, а все равно надо нести то беремечко, которое тебе отмерено. Какой Федор не увечный, а живая душа. Не похоронку же тебе, Варвара, думаю, прислали, а известие, что законный муж на госпитальной койке раненый лежит. Решила себе так: пусть у меня в избе еще один ребятенок прибавится. Разве я его в такой куче не вытяну? Свела со двора телушку на базар, гостинцев, как положено, напекла и поехала за Федором Степановичем в Саратов — город на Волге. По поздней осени его уже домой привезла, по первопутку. Наше село от станции в отдале стоит на восемь километров, так председатель колхоза сулился лошадь дать. Только я председателя тревожить не стала. Отбила телеграмму, прибежали к поезду мои ребятишки с саночками, и мы на те санки Федю посадили. Коротенький он такой, как малое дитя. В одночасье в деревню, в родной дом прикатили. Вот как у меня все вышло...

На корме звенела музыка, а Даня так и сидела, притаив дыхание.

— А дальше, Варвара Павловна? — боязливо спросила она, нарушив тугую тишину каюты.— Как дальше?

— Дальше, Данюшка, обыкновенно было. Привальное я Федору справила, а гости разошлись, кровать нашу супружескую разобрала. Простыня у меня для такого случая сберегалась и наволочки новехонькие, с прошвами. Взяла я Федю в охапочку, на кровать перенесла и сама рядышком легла. Как, девушка, полагалось мужа встретить, так я и встретила своего Федора Степановича. До того времени у него и слезинки из глаз не выкатилось, пасмурный он был лицом, окаменелый. А на кровати заплакал и говорит мне: «Стал бы я перед тобой, Варвара, на колени, да сделать мне такое невозможно». Великое ты, говорит, сердце имеешь. А какое оно у меня великое? Обыкновенное бабье сердце... После той ночи нам обеим легче стало. День ото дня стал Федор успокаиваться, от горя отходить. В своем дому и стены человеку помогают. А тут еще ребятишки его со всех сторон

обложили, минуты свободной не дают. То им про войну расскажи, то обутку зашей, то задачку по арифметике помоги решить. Руки целы, да голова на месте, так делов человеку найдется. Федор с молодости был мастеровой, и его работа к себе потянула. Сплел он из бересты кошелочку, кожей от старого хомута подшил, две коротеньких клюки вырезал, да и начал жить помаленьку. Сапожничать стал, шорничать, по слесарному делу заниматься. В деревне после войны много дыр скопилось, вот и понесли ему со всех домов. Заработок у него стал такой, что весной я всем ребятишкам по обновке купила. Да и не в заработке дело. Верно говорят, что понурая голова и с рублем пропадет, а Федор твердым оказался, переборол свое несчастье. На другое лето он уже бревна катал. Мы с ребятишками из лесу деревов под угор пригоним, под самые наши окошечки. Федор переберется к бане на крыльцо, веревку ему дадим, так он одним моментом все бревна на угор выкатает. И пилить тоже приспособился. А вот колоть худо может. Размаху у него настоящего нет, так суковаты поленья не осиливает... Сейчас ему благодать — в моторной коляске по деревне раскатывает. Выдали ему, как инвалиду войны, тарахтелку... Провалилась бы она вместе с хозяином концом и без отвороту. Такая мне теперь с ним, девушки, морока, что хоть бери палку, да хлещи мужа наотмашь на смех людям. Уж ругала я его и добром говорила, а он только скалится в ответ да гогочет. Ты, говорит, бабка, уймись, не стой на дороге моей личности. Вот беда-то какая. Поседател ведь весь, а душой не угомонится.

— Что же случилось?

— И сказать совестно... Разве знаешь, с какого бока тебе заботы подвалят.

Баба Варушка махнула рукой, но в голосе ее явно утратилась горесть.

— Баян анчутке моему подарили. В праздник Победы правление ему такую премировку выдало, как заслуженному фронтовику. Вспомнила чья-то голова, что в молодости Федя на гармони играл, вот и отвалили ему баян за сто рублей с перламутровыми планками. Я, бестолковая, в ладони хлопала, когда баян вручали.

— Это же хорошо!

— С одной стороны, хорошо, а с другой, Александровна, поглядеть, так хуже некуда. Быстренько выучился

мой анчутка на том баяне играть, и пошла ногами вверх вся губерния. Таку каторжну грамоту развел, что житья мне не стало. Теперь ведь без него ни одна свадьба, ни одни именины, ни одна гулянка не обходится. И я за ним, как нитка за иголкой, должна на каждом веселии подол трепать — не откажешь ведь людям в честном приглашении. Мало того, так придумал в новом колхозном клубе хор организовать, чтобы старинные протяжные песни играть. Меня в тот хор хотел запихать, так на велику силу отбилась...

Когда был кончен рассказ, в каюте так и осталась тугая, спекшаяся тишина. Закатный, голубой с прозолотью луч бил сквозь шторы в окно. Он был столь реален и отчетлив, что казалось, протяни руку — и ощутишь его трепетную ткань.

«Боже мой,— ошарашенно думала Наталья Александровна.— Такое выдержать! Вот тебе и полосатенькие люди. Вот тебе и всеблагая утешительница...»

Наталья Александровна ощутила желание подойти к Варваре Павловне и приложиться к сухой, с натруженными венами, ее руке. Но она застыдилась внутреннего порыва и тут же, сожалея, подумала, что люди бывают часто без нужды сдержанны в отношениях друг с другом, топят много нужного в глупой застенчивости, в боязни показаться назойливым или излишне благодарным.

Даня медленно ссыпала в сумку цветастые тюбики с косметикой, шагнула к бабе Варушке и прижалась молодым лицом к ее увядшим щекам.

— Спасибо вам,— сказала она и поправила пенсионерке седую прядь, выбившуюся из-под платка.

— За что спасибо-то? — удивилась баба Варушка.— Только и делов, что у нас с Федором все по-людски получилось.

— А это очень страшно — когда без ног? — спросила Даня.

В словах вопроса, в интонации их Наталья Александровна ощутила иные глубины и поняла, что ошибается в простеньком, наскоро сметанном по первому впечатлению портрете Дани. Сейчас она была признательна девушке за простой и искренний порыв человеческой ласки, на который сама она оказалась неспособна. Это примирило ее с Даней и заставило пожалеть о резкости слов, сказанных вчера на корме.

— Да как тебе сказать, Данюшка, страшно или нет,— помолчав, заговорила баба Варушка.— Не с ногами ведь живешь, а с человеком. Сначала, конечно, страшновато на калеку глядеть, жалостиво. А пообвыкнешь, так вроде и ничего. Глаза, говорят, боятся, а руки делают. На этой присказке наш бабий род и держится. Вишь, как я тебя своими россказнями разбередила. Может, здря, а может, и на пользу. Крутые иной раз бывают пригорочки в жизни. Чтобы одолеть их, сила нужна. Есть она в каждом человеке, да не каждый ее достать из себя может. Так я это понимаю.

Наталья Александровна ощутила себя посторонней и ненужной слушательницей. У нее не нашлось умения наладить с бабой Варушкой внутренний контакт, на который так естественно оказалась способна Даня. Хотелось сказать что-то, влиться в разговор. Но нужных слов не находилось, а те, что вывертывались в голове, были ходульными и выспренними.

Наталья Александровна извиняюще улыбнулась, надела плащ и вышла из каюты.

Спустя полчаса ее разыскала Даня.

— Извините меня, я вам вчера такое наговорила.

— Не стоит, Даня... Какие тут могут быть извинения. Мало ли что мы иной раз говорим друг другу. Не следует придавать словам повышенное значение. Проще, много проще следует глядеть на вещи.

Наталья Александровна говорила расхожие слова, радуясь, что рассказ бабы Варушки помог Дане, как и ей самой, одолеть мелкое и словно приподнял их на новую ступеньку невидимой лестницы, с которой можно зорче посмотреть окрест.

Душа Дани была по-молодому раскрыленной, простодушно доверчивой, отзывчивой на ласку и внимание, на горе и радость. Даня знала это и инстинктивно пыталась укрыть собственную обнаженность, возводила вокруг себя защитную стенку, пряталась за резкостью суждений, наигранной практичностью и «взрослым» житейским опытом, который она еще не поспела обрести и постигнуть. Она не понимала еще, что человека не спасает никакая искусственная стенка.

Сейчас Наталья Александровна видела в ней себя, угловатую и стеснительную, несмелую и отчаянную в давней своей молодости.

— А я ведь была у капитана,— сказала Даня.— Его Петром Егоровичем звать...

— Ну и как?

— Верно все. Были у Витальки такие заскоки. Я потом ему настоящий допрос устроила. Признался. Я, говорит, сначала им по доброте, а они мне в руки деньги суют. Вот ведь, змей корыстливый. Простачка решил из себя строить, но я ему рога сломала... А вообще-то почему отказываться, если тебе деньги дают?

— Смотря за что дают.

— Так я ему и сказала. В точности. Пообещал мне и Петру Егоровичу, что в каюту к нему теперь никто ни ногой.

— И ты тоже?

— Мне сделано исключение. Вообще Петр Егорович только строгость на себя напускает, а так он хороший человек... Чай вприкуску пьет. Смешно... Вы в самом деле не обижаетесь на меня, Наталья Александровна?

— За что мне на тебя обижаться. Рада, что у тебя с Виталием все так серьезно получается. Смотри только...

— Я смотрю, не беспокойтесь,— деловито перебила ее Даня.— У меня он хвостом не закрутит, будет по струночке ходить... Стоит уже, дожидается. Постой, постой, дружочек, подыши свежим воздухом. Тебе это полезно.

Наталья Александровна повернулась и увидела в дальнем конце палубы знакомую фигуру радиста. Улыбнулась и подумала о девичьем сердце, извечно верящем в чудо.

«Иван Сусанин», отдыхая после долгой пробежки, стоял у пристани под гранитной пологой горой. Наверх взбиралась дорога, выбитая до седого камня ногами туристов. Обочь дороги на солнечном припеке громоздилась развесистая черемуха. Она пахла удушливо сладко, и порывы ветра заметали на ней белые вихри.

Глава 5

Огромная Ладога была ветрена и пустынна. Кругом на десятки километров расстилалась темная, взлохмаченная вода. От нее, как из распахнутого погреба, несло

зябкой сыростью. Выбеленные пеной волны зло били в корпус теплохода, вскидывая гремучие, колкие, как град, капли.

Холод разогнал туристов по каютам, и «Иван Сусанин», утратив празднично-беззаботный облик, деловито буравил винтами воду. Впереди по курсу, проложенному после Валаама круто на юго-восток, отчетливее становилась полоска берега. Где-то там, невидимые с озера за чащобами ельников, за частоколами хилых сосняков лежали Сермягские болота.

В сорок четвертом году наши части штурмовым броском форсировали Свирь в южном течении и создали плацдарм на другом берегу.

В ротах после штурма осталось по десятку человек. Их свели вместе, и Наташа Сиверцева стала воевать под командованием лейтенанта Волохова, назначенного командиром одной из таких сводных, разномастных рот.

От плацдарма дивизия ударила на север, к Олонецкому укрепленному району. На подходах к нему лежали непроходимые, как считалось, Сермягские болота. Но накаленные до яростной решимости сводные роты наперекор всему стали одолевать их. Тогда противник, оголив соседний участок фронта, кинул во фланг наступающим отборный полк егерей.

Рота лейтенанта Волохова сбила противника с редкой в этих местах высотки и получила приказ закрепиться на ней.

Санинструктор Сиверцева, доставив на полевой пункт очередную партию раненых, возвращалась в роту. Шла, продираясь в путанице чахлого осинника, увязала чуть не по колени в торфяной жидкой хляби, прыгала с кочки на кочку и далеко обходила коварные с сочной травой лужайки, скрывавшие бездонные провалы в здешних болотах.

Никто не знал еще, что противник кинул в наступление отборных, опытных в лесных боях солдат. Быстрые фигуры в камуфлированных, чужого цвета комбинезонах и в пилотках с длинными козырьками возникли среди деревьев так неожиданно, что в первое мгновение На-

таша не поверила собственным глазам. Но инстинкт самосохранения, оттренированный за фронтовые годы, мгновенно кинул ее за кочку. Сквозь ломкие ветки гонобобеля Сиверцева со страхом глядела на цепочку егерей с автоматами на изготовку. Цепочка ходко вытягивалась из глубины осинника, подступавшего к высотке, где находилась рота лейтенанта Волохова.

«В тыл заходят!» — отчетливая, пугающая до дурноты мысль заставила Наташу оцепенеть за кустом, вжаться в мох, скрыть в нем каждую клеточку живого тела, ощутившего смертельную опасность.

Егеря скользили в густом подлеске, почти неразличимые среди листвы, скрываясь за кустами, перебегали от дерева к дереву. Двигались так, что не вздрагивала ни одна веточка. Безмолвие уверенного движения делало его особенно страшным.

Наташа понимала, что ей не защититься единственным автоматом от цепочки егерей, отлично знающих солдатское ремесло.

И все-таки ударила по ним заливистой, на весь магазин, очередью. Наугад швырнула лимонку и кинулась к высотке, до которой оставалось сотни две метров. Вдогонку припоздало зачиркали по деревьям пули.

Уже после боев в Сермягских болотах Наташа случайно узнала, что ей тогда отчаянно повезло. Пленный рассказал на допросе, что очередью, выпущенной почти наугад, Сиверцева наповал срезала командира отряда. Егеря на мгновение растерялись и дали Наташе возможность уйти.

— Ты? — хрипло спросил лейтенант Волохов, прибежавший с тремя бойцами на звуки неожиданной стрельбы.— Ты стреляла?

— Егеря заходят!.. Совсем близко. Ну что ты стоишь как пень! С тыла же заходят.

— Ясно! Куликов, сюда с «деттярем»... Быстро! Чтобы муха не пролетела!.. А остальные со мной к гати. Ты, старший сержант, скорей к раненым. Пятеро тебя дожидаются.

Когда егеря разобрались, что к чему, путь к высотке им преградили очереди ручного пулемета. Но жиденькую, наскоро сделанную гать они успели оседлать и отрезали роту.

Не всем повезло, как сводной роте Волохова, сумевшей организовать круговую оборону. Просочившись в стыки полков, егеря смяли передний край. Сермягские болота загрохотали суматошной стрельбой, очередями и гранатными взрывами. Бой раскололся, перешел в рукопашную, и среди кочек, в торфяной грязи началась отчаянная схватка.

К вечеру на высотку, где дралась сводная рота, пробилось два десятка солдат из соседнего батальона. Это помогло продержаться до утра. Лейтенант Волохов сам лег за пулемет. Он был хорошим пулеметчиком. Бил прицельно, кинжальным огнем, не сплошной строкой, а с расчетливыми паузами. Но на «максим» осталась одна лента, а егеря, очередной раз отброшенные от высотки, снова стали накапливаться для атаки в кустах возле гати.

Санинструктор Сиверцева возилась с ранеными. У нее не осталось ни одного бинта, ни одного индивидуального пакета. Она ножом кромсала подолы нижних рубах и кое-как обматывала раны, экономно расходуя вату, которая тоже подходила к концу. Бродила от одного раненого к другому, поила водой из фляги и уверяла, что все будет хорошо.

Потом высотку стали обстреливать из минометов, и у лейтенанта Волохова кончилась лента. Наташа тоже легла в цепь. Оставшуюся лимонку она сунула под ватник и решила, что вырвет чеку, когда набежат егеря.

Когда на высотке осталось девять человек, егеря кинулись в атаку.

Они медленно брели по ржавому болоту, заросшему осокой, хвощами и елочками с бородатыми лишаями на ветках, просыпающих слабую хвою. Ноги по щиколотку уходили в мох. Блестели лужи застоявшейся воды, подернутой тусклой пленкой с осыпавшимся сором, мертвыми жуками и паутиной. Кочки неверно колыхались под ногами и норовили уйти в стороны. Звоном звенели комары, обрадованные невиданным пиршеством на живой человеческой крови. Текучий посвист пуль над головами стихал. Рыкающие очереди пулеметов оставались позади.

От высотки уходило четверо. Впереди, ощупывая осиновой жердиной каждый метр перед собой, шел лейтенант Волохов. Грязный, в шинели с разорванной полой, с

автоматом, в магазине которого остался десяток патронов. Спасаясь от комаров, он натянул на уши отвороты суконной пилотки. Пилотка была выцветшая, белесая, с косой дырой, заштопанной неровными мужскими стежками. Воротник шинели был поднят. Лейтенант вполголоса чертыхался и лупил ладонями по щекам, по шее, оставляя после каждого хлопка размазанную кровь.

За ним тащилась санинструктор Сиверцева. У нее подкашивались ноги, но она старалась ступать след в след.

Потом шел незнакомый чернявый солдат в разбалахоненной, без хлястика, шинели. Он был ранен в шею и наклонял голову к левому плечу. Казалось, он все время всматривается под ноги и ничего там не может разглядеть. Щекастый, с беспокойными, притаивавшими злость глазами, он шумно дышал за спиной Наташи.

— Пропадем, сестричка, к чертям собачьим в этом гнилом месте,— свистящим шепотом бубнил он и трогал, будто проверяя, грязную повязку на шее.— Разве здесь пройдешь? Егеря не достанут, так комарье сожрет заживо... Слышь, сестричка!

Наташа молчала. Ей было невмоготу без плаксивых слов солдата, а она почему-то не доверяла ему.

Последним шагал вразвалку, по-медвежьи загребая крупными ногами, огромный и сутулый ефрейтор с проволочной щетиной на подбородке. Шинель он где-то потерял и оставался в одной грязной, залубенелой гимнастерке. Костлявые лопатки тяжело ходили под залоснившейся тканью. У ефрейтора было противотанковое ружье и подсумок, набитый ненужными в Сермягских болотах бронебойными патронами. Ружье он нес на плече, как стрелецкую пищаль. Цеплялся стволом за деревья и ломал ветки. Чернявый оборачивался на шум и уговаривал ефрейтора кинуть к бесовой бабушке ненужную бандуру.

— Какой тут танк пойдет! Тут и человеку дороги нет... Кидай ты свою железяку.

Ефрейтор отмалчивался. Потом терпение его, видно, кончилось. Он крупными шагами нагнал чернявого и тяжело положил ему руку на плечо.

— Заткни хайло! А то как двину, и будешь на том свете царю небесному советы подавать... Ружье не брошу — и точка!

У Наташи кончались силы. Сердце колотилось паровым, ухающим молотом, и перед глазами реяла паутинка, которую она принимала за настоящую и пыталась отмахнуть ладонью. Больше всего она страшилась, что из глаз исчезнет знакомая спина, обтянутая шинельным сукном, и хлястик с двумя новенькими пуговицами, видно пришитыми лейтенантом Волоховым перед наступлением. Механически, как заводная, она поднимала облепленные грязью кирзачи и делала очередной шаг, каждый раз удивляясь, что у нее нашлись для этого силы.

Жиденькая кочка ушла в сторону под неверным шагом. За ней открылась безобидная лужа. Наташа неловко взмахнула автоматом, ойкнула и боком упала в лужу. В лицо плеснула вонючая вода. Вспучились и лопнули затхло брызнувшие пузыри.

Тело не ощутило опоры. Торфяная грязь студнем облепив ноги, потянула в глубину. Наташа рванулась. Пальцы царапнули по кочке, ухватили слабый податливый мох и несколько ломких стебельков гонобобеля. Кочка отплыла к краю лужи, скрывавшей предательское «окно» в торфяной болотине.

— Наташа! — сдавленно крикнул Волохов и крутнулся, чтобы прыгнуть в лужу.

— Назад! — ощерив рот, заорал бронебойщик, сдернул с плеча длинное ружье и выставил его, как рогатину, перед лейтенантом.

— Обоих засосет! Палку, палку давай... И ремни! Скорее же ремни, черти! Ремни!

Он выхватил у Волохова осиновую жердину и рвал с себя ремень. Дергал и не мог расстегнуть пряжку.

Наташа погружалась в холодную грязь. Гнилая жижа дошла до поясницы. Намочила полы ватника и еще круче потянула вниз. Раскинув руки, Наташа ощущала, как тело сантиметр за сантиметром погружается в скользкую трясину.

Бронебойщик невероятно медленно пристраивал к жердине поясные ремни. Казалось, он никогда не привяжет их, не поспеет, и болото опередит его. Наташа с ужасом представляла, что захлебнется грязью. К горлу подступала тошнота, хотелось кричать дико, отчаянно, биться изо всех сил, спасаясь от объятий страшной болотной смерти.

— Не шевелись, сестричка! — словно угадывая ее мысли, просил ефрейтор.— Только не шевелись, Христа ради... Сейчас... Сейчас!

Митя снимал шинель. Лицо у него было бледное и решительное. Наташа понимала, что стоит крикнуть — и Митя кинется к ней. Это помогало удерживать рвущийся из груди крик. Она до крови кусала губы, и из глаз сами собой катились молчаливые слезы.

— Сейчас, сестричка, сейчас! — бормотал ефрейтор, пристегивая ремни один к другому и рывками пробуя их на разрыв.— Сейчас... Вот и все, кажись.

Наташе пришлось поднять руки, чтобы они оставались свободными до последнего момента. Автомат она уже не могла вытащить из болотной жижи.

— Бросай! — крикнул Митя.— Бросай его!

Наташа выпустила скользкий ремень, и грязь, обрадовавшись добыче, с жирным всхлипом проглотила оружие.

— Держи, сестра!

Бронебойщик расчетливо кинул жердину к груди Наташи.

— Крепче хватайся!

И теперь Наталья Александровна не может сообразить, сколько времени пристраивал тогда ефрейтор ремни к суковатой жерди. Может, это продолжалось всего минуту. Но если это была минута, она была самой долгой в ее жизни.

Грязь смачно чавкала и не хотела отпускать добычу. Намертво вцепившись в жердину, Наташа думала, что лопнут солдатские ремни, и тогда уже ничто не спасет ее.

Бронебойщик и Митя вытянули Сиверцеву из трясины, мокрую и скользкую. С ватника стекала грязь. Штанина оказалась разорванной на бедре. В прореху выглядывала испачканная озябшая кожа и край голубых рейтуз. Один сапог остался в трясине. Наташа дрожала, нервно стучала зубами, еще не верив в свое спасение, и прикрывала ладонью прореху на штанине. У нее не было сил, кружилась голова, ломило затылок и временами что-то проваливалось из сознания. Наплывало странное безразличие ко всему на свете, и одной живой мыслью был стыд, что мужчины видят ее грязные голубые рейтузы.

Идти она не могла. Обмахнув Наташу пучками осоки, Митя и бронебойщик взвалили ее на шинель и понесли прочь от страшного места.

— Вон к тем елочкам, лейтенант... Там посуше будет.

Вскоре они наткнулись на крохотный островок твердой земли, заросший пушистыми, непохожими на болотные елочками. Забрались в их гущину и с облегчением повалились на землю.

Чернявый метнулся вперед, но тут же возвратился. За островком хода не было. В обе стороны расходился тусклыми клиньями разлив стоячей воды.

— Приехали,— зло сказал он, тронул рукой замотанную шею и кинул на землю бронебойку, которую заставил его нести ефрейтор.— Бери свою дрынду!.. Не пройдем дальше. Прищучат нас здесь егеря, и каюк!.. Пропадем, как собаки... Подохнем.

Лицо его перекосилось, он согнулся в поясе, словно его неожиданно ударили в живот, и начал скулить по-собачьи.

Волохов подскочил к чернявому и тряхнул за плечи с такой силой, что у того мотнулась голова.

— Замолчи! Приказываю замолчать, товарищ боец! — голос Мити сорвался на крик.

— В рыло ему двиньте, лейтенант,— угрюмо посоветовал бронебойщик, обтирая подолом гимнастерки затвор ружья.— Двиньте, и очухается... Не в себе человек. А то давай я, коли стесняетесь.

Эти слова отрезвили чернявого. Он замолчал и, оглаживая шею, сел под елочку.

— Не догонят нас егеря,— сказал Волохов.— Ни к чему им нас догонять. Отыскать нас в этой чертовой болотине непросто. А насчет дороги дела неважнецкие...

Митя прошел к краю елочек и смотрел на разлив воды, уходящей в мелколесье.

— Не разберешь, где кончается. Вот какая загогулина. С самой Свири перли, а тут ковырнули нас под ребро... Через такую воду гать не положишь, а наугад соваться нельзя.

Наташа лежала на расстеленной шинели и плохо понимала, о чем говорит Митя. Смотрела мутными глазами и облизывала сохнущие губы.

— Обход надо искать,— предложил бронебойщик.

— Да, нужно искать. Назад нельзя возвращаться, и войну здесь не пересидишь.

— Сестру нести придется, товарищ лейтенант. Кончились у нее силенки. И так держалась, мыслимое ли дело...

Да и не пройдет она при одном сапоге... Пойду, гляну хоть поблизости.

Прихватив тяжелое ружье, бронебойщик ушел в заросли елок и вернулся минут через десять.

— Шалаш тут имеется, товарищ лейтенант,— сказал он повеселевшим неизвестно от чего голосом.— Охотники в добрые времена наведывались. Старенький шалаш, а все же лучше сестре, чем под елкой лежать. Уток здесь, наверное, богато брали.

— «Уток»,— передразнил его чернявый.— Теперь на людей охота пошла. Дорогу надо разведать, а ты шалашу обрадовался. Обход нужно искать, не прищучат егеря, так с голоду подохнем.

Ефрейтор взглянул на Наташу, без движения лежащую на шинели.

— В себя сестре требуется прийти. Нести ее по дряби, товарищ лейтенант, никак невозможно. Предложение такое имеется — мы обход пощупаем, а вы нас подождите в шалаше.

— Хорошо,— согласился Волохов.— Идите, ефрейтор. Если обход не найдете, к вечеру возвращайтесь. Старшим назначаю вас.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант,— по-уставному вытянулся бронебойщик, кашлянул и добавил: — Пискун моя фамилия, товарищ лейтенант, Сергей Михайлович... С-под Тамбова я. Запомните на случай чего. У нас там тоже болота на Цне попадаются... Найдем лазею. Быть того не может, чтобы не нашли. Ну, брат славянин, двинули!

Чернявый послушно встал, и они ушли влево, где болотный разлив казался меньше.

Митя помог Наташе добраться до шалаша, нырнул внутрь, выгреб мусор и финкой обкорнал несколько елочек. Бросил ветки в шалаш, и там опрятно запахло скипидарной свежестью хвои.

— Вот так. И сверху тоже прикроем... А теперь раздевайся.

Наташа растерянно поглядела на Волохова.

— Раздевайся,— повторил Митя.— Высушить все надо и ногу замотать. Что ты на меня смотришь? Раздевайся, говорю.

Наташа ушла за елочки, сбросила ватник, стянула через голову мокрую до карманов гимнастерку, сдернула единственный сапог и сняла брюки.

— Кидай сюда! — услышала она голос Мити.

Бросила за елки грязную одежду, присела и нерешительно огладила сырую рубашку грубой солдатской бязи с тесемками у ворота. Такие рубашки выдавали женщинам вместо сорочек.

— Белье тоже снимай,— сказал Митя и шагнул за елочки, где скукожившись, схлестнув на груди руки, укрылась Наташа.— Ну что ты? Застынешь ведь в мокром. Шинелью вот укройся, а я пока все остальное сполосну и выжму как следует. Костер-то разводить нельзя.

Неловко прикрываясь шинелью, Наташа сняла белье, и Митя ушел с ним к краю островка.

Комары с жадным писком кружились над головой. Кидались в лицо, кусали шею, лезли в рот и в нос, жгли голые плечи и руки. Наташа дрожала, ежилась и затравленно оглядывалась по сторонам, покорная черному вихрю болотных кровососов.

Митя возвратился минут через двадцать. Сдернул с головы пилотку, шагнул к Наташе и оголил ей плечи.

Руки у него были сильные. Они уверенно скользили по телу. Шершавое сухое сукно горячило кожу на спине, на бедрах, на груди, разгоняло кровь, освобождая суставы и мышцы от зябкой скованности. Наташе было стыдно и хорошо. Она искоса смотрела на Митю и вздрагивала.

Потом Митя поплотнее укутал ее в шинель и принес в котелке воды. Наташа умылась, и боль от комариных укусов стала меньше. У Мити нашлась иголка с ниткой, и Наташа зашила прореху на штанине.

— Ну вот,— похвалил ее Митя.— Опять по всей форме, товарищ старший сержант медицинской службы.

Он сел рядом, обнял Наташу за плечи и, как маленькую девочку, погладил по голове, на мгновение задержав пальцы в волосах. От этого стало теплее и начали прибавляться силы.

— На ногу мы санитарную сумку приспособим. Брезентовая, в самый раз подойдет. Ремнем примотаем, и будет полный порядок.

Затем Митя нарезал ножом лапника, закрыл им дыры на стенах полусгнившего шалаша, и они забрались внутрь, где не так донимали комары.

С покорной терпеливостью они ждали на островке в глубине болот тех, кто ушел искать дорогу.

Бронебойщик по фамилии Пискун и чернявый солдат не возвратились. Непохоже было, чтобы они нарвались на егерей, потому что в той стороне, куда они ушли, стрельбы не было слышно. Может быть, они угодили в трясину, а может, просто заплутали и не могли найти в болотном редколесье крохотный сухой островок, где ждали лейтенант и девушка-санинструктор.

Вечером, когда солнце прислонилось к лесу и на кочки, на разлив воды легли длинные тени, стало ясно, что они остались вдвоем.

Одежда подсохла, и Наташа с облегчением оделась. Вывернув санитарную сумку, Митя ловко пристроил ее на босой девичьей ноге и переплел полосками кожи, нарезанными из ремня.

— А что? Здорово получилось. Вроде греческих сандалий, какие носили богини Олимпа.

От глупого сравнения Наташа еще больше отошла душой и несмело улыбнулась Мите.

— Пойдем!

— Куда? Ночью в трясину как пить дать угодим или еще хуже — на егерей напоремся. Нет, теперь надо до утра ждать.

Стрельба, непонятно и придавленно ворчавшая в отдалении над лесом, затихла. Невидимо гудел в поднебесье самолет. В болоте что-то редко и гулко булькало. Ни одна птица не подавала голоса.

Митя вылез из шалаша, прошел за елочки и долго стоял у края разлива.

— Никого,— сказал он, возвратившись.— И стрельба кончилась... Неужели наших оттеснили?.. Ух ты, комарье проклятое. Живьем, паразиты, норовят съесть. Интересная история получается, товарищ старший сержант медицинской службы. Что же дальше нам делать?

Наташа пожала плечами.

— До утра, конечно, подождем... А потом что? Похоже, мы в финском тылу. Ладно, гадать не будем.

Митя подсчитал боеприпасы. На автомат оставалось десяток выстрелов, к пистолету была запасная обойма. Наташа отдала свою лимонку.

— И насчет еды небогато,— подытожил Митя, роясь в вещевом мешке.— Немножко сухарей, банка тушенки и кусок сахару.

Они съели по сухарю и запили их болотной, пахнущей прелью, водой. Цветом она была похожа на заваренный чай, и в ней шныряли кособрюхие жучки. Воду пили, процеживая через Митину пилотку, пахнущую мужским потом.

Оттуда, где скрылось солнце, вылезла лохматая туча. В елочках, на болотном разливе стала набухать пугающая темнота. Туча помрачнела, расползлась по небу, налилась фиолетово-угрюмой тяжестью.

— Дождь будет,— сказал Митя.— Хоть комарье немного разгонит.

Он погуще укрыл лапником шалаш.

— Ты отдыхай, утром что-нибудь придумаем... Спи, Наташа.

— А ты?

— Я буду на посту,— нарочито бодрым голосом ответил Митя и поправил ремень автомата.— Не хочется мне, товарищ старший сержант медицинской службы, чтобы егеря нас сонными накрыли. Я у них в лапах побывал и знаю на собственной шкуре, чем это пахнет... Под утро я тебя разбужу и ты тоже подежуришь. Отдыхай, завтра нам загорать будет некогда...

Наташа кивнула, стараясь сообразить, как они будут выбираться к своим из этого болота. Может, не только их полк попал под неожиданный удар егерей? Может, и дивизия отошла от Сермягских болот. Все гати и дороги наверняка перекрыты, а идти по болоту... Наташа вспомнила, как трясина затягивала ее, и содрогнулась от страха.

Вид у Мити был не особенно бодрый. Щеки запали, и грубо выточились скулы. Наташа поняла, что расспрашивать лейтенанта не стоит. Пустые это будут расспросы.

— Спи,— снова сказал Митя.

Он постелил в шалаше просохший ватник, сверху укрыл Наташу своей шинелью и заботливо подоткнул полы. В усталых глазах его лучилась несмелая нежность.

— Утром я тебя разбужу.

Наташа угрелась под шинелью, и сон сморил ее.

Она не слышала, как к полуночи стал сеяться мелкий дождь.

Лейтенант Волохов, укрываясь от дождя, подвинулся в глубь шалаша. Осторожно уселся под стенкой, чтобы не потревожить сон Наташи.

Ему невыносимо хотелось спать. Это желание еще потому было острым, что рядом слышалось ровное дыхание Наташи.

Хотелось на мгновение прикрыть глаза, опустить отяжелевшие, налитые невыносимой тяжестью веки, чтобы дать им крохотный отдых. Но глаза закрывать было нельзя. Это Волохов знал наверняка. Когда бороться с дремотой в душном шалаше стало невмоготу, лейтенант выбрался наружу и принялся расхаживать между мокрыми елками.

Дождь, к которому Волохов уже притерпелся, стих под утро. И тогда на болоте стал сбиваться туман. Промозглые ватные хвосты его тянулись от разлива и нехотя расползались по лесу. Колыхались, как живые, свивались в шевелящиеся клубы, расступались и снова начинали сходиться. От их медленных движений редкие, подрезанные туманом елочки тоже, казалось, шевелятся, переходят с места на место, то скрываясь в серой мути, то вдруг возникая из нее.

Туман принес загадочные звуки. В нем кто-то непонятно бормотал, ходил, осторожно и вкрадчиво похрустывая ветками, и расплескивал воду.

Проснувшись, Наташа с тоской и боязнью слушала эти подкрадывающиеся, непонятные шорохи.

Со сна она не могла сразу сообразить, где находится. Машинально подтыкала шинель, чтобы не пустить к угретому телу промозглый озноб тумана. Потом увидела Митю, шагавшего возле шалаша. Лицо лейтенанта осунулось, губы слепились в темную полоску, и глаз нельзя было различить в провалах глазниц. Автомат свешивался дулом вниз с его руки.

— Не надо,— сказал он, увидев, что Наташа собирается встать.— В таком тумане нас никто не найдет... Лежи, не надо меня сменять. Я уже малость носом поклевал.

Он вдруг вздрогнул, и Наташа сообразила, как ему холодно.

— Иди ко мне... Ну, что же ты, Митя! Иди...

Волохов поднял голову, хотел что-то сказать, но промолчал и неловко полез в шалаш.

Они лежали на телогрейке, укрывшись с головами шинелью. Ощущали дыхание друг друга, каждое крохотное движение. Митя не мог согреться. Лицо его было холодным, и неудержимая дрожь била тело.

Наташа испугалась, что Митя простудится и заболеет. Подумала, что она дура и эгоистка. Митя готов за нее отдать всю кровь по малой капельке, а она... Боже, какая она непроходимая идиотка! На высотке гранату приготовила, чтобы егерям не попасть в руки живой...

Но сейчас же рядом Митя. Ее Митя... Единственный...

Она тихо засмеялась.

— Ты чего?

— Так... Просто так,— ответила Наташа и погладила Митю по щеке. Пальцы прошлись по подбородку и нашли воспаленные, обветренные губы. Губы дрогнули и несмело прижались к девичьей ладони.

— Спи.

— Солнышко уже всходит,— прошептала Наташа и принялась расстегивать пуговицы на гимнастерке...

Стылой пеленой колыхался на болоте рассветный туман. В нем едва угадывалось голое, без единого лучика, солнце. Вдали лениво зачиналась стрельба.

Наташа обняла Митю, прильнула к нему тесно, без боязни касаясь лицом, животом, бедрами. Раздернула полотняные завязки бязевой рубахи и рванула лифчик, обнажая грудь.

— Ты что? — бессвязно и горячо заговорил Митя.— Ты что?

— Молчи... Молчи, любимый мой...

Она притянула его ушастую голову и, задохнувшись от подступившего желания, неудержимого, как жажда, начала целовать. Затем сомлела в ответной силе мужских губ.

Перестало существовать время, стрельба и гнилое дыхание Сермягских болот.

Так прошло ее самое короткое, самое незабвенное утро, и когда солнце разогнало туман, пробилось сквозь щетину ельника и заглянуло в шалаш, она удивилась.

Подоспевшие части второго эшелона смяли егерей и оттеснили их в заладожские леса. Мите и Наташе удалось выбраться из Сермягских болот.

А через неделю под Видлицей старшего сержанта Сиверцеву ранило взрывом мины, которыми были здесь нашпигованы редкие дороги, тропинки, просеки и завалы из вековых, в обхват, сосен, безжалостно скошенных саперными топорами.

Лейтенант Волохов, командовавший стрелковой ротой, погиб под городом Питкяранта. Об этом написала Наташе в дальний уральский госпиталь ее бывший командир Марина Крохмалева.

Истратив к вечеру упругую силу, стих надоедливый ветер. Вода успокоилась, расстелилась синим полотном. Его морщили волны, усами разбегающиеся от носа теплохода. Но они были бессильны вновь взволновать громаду вод и таяли в их величавом и своевольном спокойствии.

Подступало время коротких северных ночей. Серебристо-серый свет проливался на озеро, на прибрежные леса и скалистые острова. Овевал их к полуночи призрачной дымкой, мешал свет и тьму. Трудно было понять, что главней в причудливом смешении — день, притененный быстротечной ночью, или ночь, просветленная почти не исчезающим днем.

Остались позади город Питкяранта, Видлица и не увиденные ею с борта теплохода Сермягские болота, где схоронилась давняя жизнь старшего сержанта Сиверцевой.

В душе было пусто, как в осенней, с увядшими травами, степи. И так же горьковато тянуло в ней тленом увядания, как от истративших силы, прислонившихся к земле трав.

Воспоминания давили и требовали выхода.

Наталья Александровна позавидовала бабе Варушке, переступившей некий человеческий предел, за которым возраст обнажает тайны, и рассказ о них становится естественным и чистым, удивляя людей причудливостью жизненных ситуаций и освобождая самого себя от груза прожитого.

Наталья Александровна невесело подумала, что ее исповедь могут понять неверно. В том, что случилось на Сермягских болотах, не было, как в последнем замужестве бабы Варушки, ни подвига, ни самопожертвования. Была просто любовь. Молодая любовь, которая не выбирает ни места, ни времени. От которой некуда деться. Это первая и самая главная любовь.

Глава 6

— К сожалению, экспонатов у нас пока маловато.

Экскурсовод, похоже, стеснялся, что экспонаты музея лежат на простеньких незастекленных стеллажах, что полы в комнатах не крашены, на окнах нет драпировок и по-казенному сиротливо выглядят лампочки без абажуров на витых, с матерчатой оплеткой проводах.

— Две комнаты еще пустуют.

За широкими окнами музея трепетали молодой листвой ровные, одна к другой, березки, стоящие рядами, как парадные шеренги солдат.

Березы на глинистом бугре, медленно вздымавшемся от Свири, были посажены теми, кто воевал в здешних местах. Они же в Победную весну срубили добрый крепкий дом с широкими окнами и свезли в него овеществленную память войны. Расставили на стеллажах каски, винтовки и автоматы, положили под стекло простреленные, с ржавыми пятнами иссохшей крови офицерские удостоверения и солдатские книжки, расстелили изорванные осколками и пулями полотнища знамен, которые водружались на захваченных дотах и на улицах освобожденных городов. Поставили на постаменты знаменитые «тридцатьчетверки» и пушки истребительных противотанковых полков, героических и бесстрашных ИПТАПов.

Взрослые и дети, мужчины и женщины, фронтовики и те, кто никогда не слыхивали пулеметной очереди, упрямо приносили в этот дом котелки и позеленевшие солдатские пуговицы, ржавые, без магазинов, автоматы и светильники, сработанные из снарядных гильз. Смущаясь собственной доброты и застенчиво гордясь сделанным, водили сюда туристов с проходящих мимо теплоходов, школьников и всех остальных, кого тревожила

память отгремевшей войны и кто хотел узнать о ней не только по книгам.

В маленьком городе жили приветливые люди. Они пришли на пристань к приходу «Ивана Сусанина», подарили туристам букетики первых лесных фиалок и повели показывать город, вытянувший ухоженные улицы вдоль Свири.

— Здесь почти три года проходила линия фронта,— рассказывала девушка с тугими косами, уложенными короной над чистым лбом, и с комсомольским значком на франтоватой, с замшевыми вставками, куртке.— Как раз по реке. На этом берегу наши, а на другом финны... Пройдемте, товарищи, немного подальше... Пожалуйста, осторожнее, здесь крутой спуск.

Она провела Наталью Александровну вместе с другими экскурсантами на берег, где скат срезался к воде трехметровым обрывом. И, повторяя изгибы реки, тянулись змейкой окопы. Зигзаги их в сером суглинке были выложены бетонными плитами, выступали козырьки стрелковых ячеек, темнели укрытия под накатами бревен, и в углах можно было высмотреть пулеметные гнезда.

— А там на бугре, где теперь сосны, финские траншеи были... Вон, левее той лощинки!

Девушка так уверенно показала рукой на заречный берег, словно ей самой довелось лежать в здешних окопах.

Поймав чуть иронический взгляд Натальи Александровны, она смутилась и торопливо добавила:

— Это нам фронтовики рассказывали... А про город мне мама говорила. Она из эвакуации возвратилась сразу, как только здесь бои кончились.

Во время войны Наталье Александровне довелось несколько раз бывать в этом маленьком городке. Но он не сохранился в памяти. Война уравнивала облики городов разбитыми зданиями, дымными провалами окон, сиротливо торчащими печными трубами и обрывками проводов, свисающих с покореженных столбов. Люди отстроили город заново. Может, потому они и так бережно сохраняли память о войне и передавали ее детям, что это была их собственная живая память.

Девушка показала на остатки темных свай под крутым берегом.

— А здесь находилась верфь Петра Первого. Строили корабли во время войны со шведами.

Теперь она уверенно посмотрела на Наталью Александровну, потому что два с половиной прошедших века уравнивали их, и никто не мог в ответ на ее слова улыбнуться с ироническим превосходством очевидца.

Наталья Александровна почувствовала неловкость перед старательной и серьезной девушкой.

В музее рассохшиеся половицы тревожно скрипели под ногами. Туристы рассматривали каски с вмятинами пуль и осколков, металлические ленты немецких «геверов», ножи разведчиков с наборными рукоятками из пластмассы, маскировочные плащ-палатки со следами отстиранных кровавых пятен, полевые сумки, просеченные очередями, замусоленные орденские ленты и письма, написанные жесткими, рвущими бумагу, карандашами.

В музее висела картина. На большом холсте был запечатлен момент форсирования Свири во время прорыва вражеской обороны.

Наталья Александровна знала подробности этого штурмового, умно рассчитанного броска через реку, перекрытую заслоном артиллерийского и пулеметного огня, огороженную дотами и дзотами, кольями с колючей проволокой, спиралями Бруно, минами-ловушками, пулеметными точками, снайперскими позициями и минометными батареями.

Интенсивной бомбежкой и мощной артподготовкой, в которой приняли участие стволы выведенных к переднему краю танков и самоходок, были смяты, перепаханы огнем, подняты в воздух вторая и третья линии обороны противника. Первая же, лежащая за рекой так близко, что ее опасно было тронуть самолетами и огневыми калибрами резерва главного командования, затаилась, укрылась под куполами бетонных убежищ, нацелилась, чтобы смести огнем тех, кто решится кинуться через реку.

Когда от южного берега отошли плоты с десантниками, первая линия во всю мощь заговорила огнем пулеметов и минометных батарей. Их тотчас же засекли артиллерийские наблюдатели и дали координаты для стрельбы прямой наводкой.

И только тогда егеря разобрались, что на плотах через Свирь плыли чучела. Набитые соломой и хворостом старые комбинезоны и изношенные шинели. Но было уже поздно. По обнаруженным огневым точкам в упор ударили наши пушки, сокрушая бункера, накаты и траншеи.

В этот момент через реку пошла штурмовая группа разведчиков-добровольцев.

На холсте, висевшем в музее, был изображен их дерзкий бросок. Двое разведчиков, припав за валунами, вели фланговый огонь. Один протягивал руку, помогая товарищу скорее выбраться из воды. Остальные карабкались наверх, поливали автоматными очередями, чтобы расширить пятачок, занятый ошеломляющим наскоком.

Нарисовано было плохо. Неискушенному взгляду Натальи Александровны было ясно, что холст малевал кустарь, ремесленник от живописи, чьего умения хватает на оформление афиш кинотеатров и стендов в районных глубинках с диаграммами и призывами следовать примеру передовиков. Разведчики на картине были одинаково румяноликие и темнобровые. На их гимнастерках не было ни единой морщинки. Словно махнули они через Свирь парадным шагом, в отглаженном обмундировании и наваксенных кирзачах. И валуны были аккуратными, как колобки. И небо над головами голубело ярким кобальтом с конфетными, похожими на зефир, облаками.

Наталья Александровна хорошо помнила небо в день форсирования Свири — тусклое и зловещее, испятнанное отсветами взрывов, измазанное дымами горящих лесов, сквозь которые таращился кровяной зрак солнца. Помнила черные кресты самолетов, кружащихся в смертных схватках, грязных и мокрых солдат первого эшелона, их спутанные волосы, хрипящие рты и пятна розовеющих свежей кровью бинтов. Кромешный ад на воде от разрывов снарядов и мин, от пулеметных очередей в упор и огненную преисподнюю на берегу. Грохот, свист и скрежет. Тучи вскинутой земли, гарь, стискивающую рот шершавой сухостью, и отчаянные крики тех, кто раненным уходил на дно.

— Конечно, нарисовано не по первому классу,— сказал экскурсовод, приметивший выражение лица Натальи

Александровны.— В войну рисовали. Был при штабе дивизии оформитель. Постарался, как умел. Важна память. В простреленной гимнастерке тоже нет высшего эстетического выражения, а ее под музейным стеклом храним. Вот соберемся со средствами и пригласим художника. Только этот холст все равно не снимем. Пусть рядом висят... С ассигнованиями пока у нас небогато,— извиняюще добавил экскурсовод.— Мы ведь больше на общественных началах... И те, кто в здешних местах воевал, нам активно помогают.

— Каким же образом?

— Приезжают. Музей смотрят, по округе бродят. Окопы свои разыскивают, землянки. Весной вот лейтенант наведывался, бывший командир стрелковой роты. Он отсюда наступал на Олонец через Сермягские болота, а потом они шли на Питкяранту. Фронтовую пилотку обещал прислать...

Невидимые провода коснулись Натальи Александровны, и был удар тока, заставивший съежиться от боли и испуга. Знакомо похолодели кончики пальцев и конвульсивно дернулось правое веко.

— Простите, товарищ,— одолевая холод, страх и боль, спросила Наталья Александровна.— Вы не могли бы мне сказать фамилию лейтенанта?

Увлеченный рассказом экскурсовод не учуял вздрогнувшего от напряжения голоса, не разглядел неровного румянца, вдруг слившегося с висков на щеки рослой, модно одетой женщины с большой брошью на вороте кофточки.

— Могу,— просто ответил он.— Мы ведем картотеку... Адреса, фамилии. Понимаете, у нас есть мысль создать стенд о послевоенных судьбах тех, кто воевал здесь, на Свири. Интересно, как сложилась их мирная жизнь. После экскурсии я покажу вам нашу картотеку.

Покусывая губы и плохо понимая, что рассказывает сухолицый человек с указкой, Наталья Александровна дождалась конца экскурсии и напомнила о себе.

— Да... Да... Лейтенант, который недавно приезжал,— заторопился экскурсовод и привел Наталью Александровну в служебную комнату, где стоял плоский ящик, аккуратно разделенный по алфавиту картонными прямоугольничками. Он быстро разыскал нужный конверт.

— Вот, пожалуйста,— поправил очки и прочитал.— Волохов Дмитрий Николаевич...

Воздух стал упруго сжиматься, с трудом протискиваясь в онемевшую от молчаливого крика гортань. Зелень берез за окнами полыхнула обжигающим полымем. Грудь стала немыслимо просторной, и разнобойно затукало в ней сердце, выискивая норку, куда спрятаться. Задрожали, стали податливо-ватными колени.

Наталья Александровна ухватилась за край стола ищущими опору пальцами. До боли впилась ногтями в некрашеные доски и устояла на ногах.

— Гвардии лейтенант, участник форсирования Свири и боев за Олонецкий укрепрайон. Награжден орденами Боевого Знамени и Красной Звезды, медалью...

Экскурсовод читал, не замечая срезавшегося, побледневшего лица Натальи Александровны и ее расширенных до черноты зрачков.

— И фотокарточка есть.

Он подал Наталье Александровне прямоугольник глянцевой бумаги с обмявшимися уголками.

На нем был Митя... Два Мити! Один с вислыми мешочками под глазами, с морщинами на узком лбу, с пролысинами и дряблым подбородком.

И второй... Молодой и знакомый Митя. Безусый, с оттопыренными круглыми ушами и ясными глазами. Тот же нос с горбинкой, те же пушистые, вразлет, брови и большой лоб без единой морщинки.

«Сын,— ошарашенно догадалась Наталья Александровна, и ей стало легче дышать.— Боже мой, конечно же, это его сын, совсем взрослый».

Она смотрела на фотокарточку возникшего из небытия лейтенанта Волохова, на его двадцатилетнего сына. До озноба, до пугающего удивления похожего на того Митю, который стал ей мужем в шалаше на Сермягских болотах.

— Не может быть! — сопротивляясь напоследок, сказала Наталья Александровна и провела по лицу растопыренными пальцами. Словно силилась снять, содрать немыслимое наваждение, призрак, галлюцинацию, отпечатанную на фотографической бумаге.

— Что не может быть? У нас, товарищ, точная картотека... Вам нехорошо? Сейчас я открою окно... Что с вами?

— Ничего,— тихо, утратив голос, ответила Наталья Александровна.— Ничего. Просто закружилась голова.

И, ощутив встревоженность экскурсовода, нашла силы объяснить:

— Мне ведь тоже довелось воевать здесь, на Свири... Только западнее, ближе к Ладоге. Лейтенант Волохов — мой однополчанин.

Экскурсовод обрадованно кивнул, присел за стол и тут же начал заполнять новый учетный конверт. Наталье Александровне пришлось отвечать на вопросы, и это помогло ей взять себя в руки. Она назвала фамилию и адрес, воинскую часть, в которой воевала на Свири, нынешнее место работы и должность.

Фотография Волохова лежала на столе.

Жив Митя! Не убит. Здоров и ходит по земле. У него есть сын. Взрослый сын. Наверное, студент. А может быть, уже работает.

Радость накатила облегчающей волной.

Жив Митя! Единое мое красное солнышко... Какое счастье узнать, что ты дышишь, говоришь, смеешься...

Но тут же стало зябко и одиноко. Десятки лет отделили их друг от друга, и в этих летах была у каждого собственная жизнь. Было время, имеющее скверное качество — необратимость. Полысевший человек на фотокарточке был, в сущности, почти незнаком Наталье Александровне. Она жадно и пытливо всматривалась в него. Глаза ревниво вбирали каждую деталь, каждую крохотную отметину, каждый штрих. Старались высмотреть давнее и убеждались, что мало осталось в нынешнем, в деловито сосредоточенном взгляде от тех несмелых и удивленно-восторженных глаз, которые следили за ней на танцах в медсанбате.

Она подумала, что жернова лет наверняка перемололи у Волохова давнее и развеяли пыль ветром времени, который рушит и крепчайшие скалы.

А вдруг он все хранит, бережно и крепко? Потаенно, в одиночку прикасается к нему нерастраченной памятью. Может, потому он и приезжал в здешний музей, потому и сберегает фронтовую пилотку. Может быть, ту, суконную, с косой дыркой, заштопанной грубыми мужскими стежками...

Что было правдой, Наталья Александровна не знала. В ней мешались радость и страх, растерянность и удив-

ление. Память отвергала морщинистого, хмуроватого человека, тянулась к его сыну, и Наталья Александровна не могла отделаться от этого наваждения.

— У вас ничего не сохранилось из фронтовых вещей?

Голос экскурсовода вывел из оцепенения.

— Может быть, есть фронтовые фотографии?

Наталья Александровна отрицательно качнула головой. У нее есть фотокарточки военных лет, но лучше, много лучше, будет, если она не отдаст их в музей.

Наталья Александровна повернулась и пошла из маленькой комнаты с косым, срезанным с угла на угол лестницей, окном.

Экскурсовод выскочил вслед. В руке у него был конверт и фотокарточка.

— Погодите, товарищ Сиверцева! Вы же адрес однополчанина не записали! Воронежская область, город Борисоглебск...

Он назвал улицу, номер дома и квартиры, уверенный, что Наталья Александровна непременно захочет написать письмо. Да и как может быть иначе, если нашли друг друга двое фронтовиков-однополчан.

Наталья Александровна не стала записывать. Она знала, что крепче любой записи запомнит то, что сказал экскурсовод.

— Обо мне, пожалуйста, ничего не сообщайте,— строго сказала она.— Я сама... Я сама все сделаю!

— Конечно, конечно,— торопливо согласился экскурсовод, не понимая, почему так встревожилась модно одетая женщина.

Наталья Александровна ушла к реке. К зигзагам заботливо сохраняемых окопов. Придерживая юбку, спрыгнула в узкую щель, остановилась возле пулеметного гнезда, потрогала козырьки-накаты, заглянула в четырехугольную дыру пехотного укрытия.

Окопы были ухожены и прибраны. В них не было осыпавшейся при взрывах земли, не бренчали под ногами стреляные гильзы, не отдавало смешанным запахом сырых шинелей и пороховой гари. Не ощущалось опасности.

Окопы превратились в чистенькие макеты, и Наталье Александровне расхотелось бродить по ним.

Заречные леса стояли успокоенные, в ласковой зелени. Невозможно было представить, что оттуда мог ударить снайпер, могла прилететь жгучая пулеметная очередь.

Наталья Александровна спустилась к реке. Зачерпнула пригоршню холодной воды и сунула в ладони лицо, чтобы остудить, успокоить его.

Жив Митя! Жив лейтенант Волохов...

Почему же Марина написала, что он погиб под Питкярантой?

Мало ли что случалось на войне. Порой мертвым по нескольку месяцев писали письма, порой хоронили живых. Последнее случалось реже, но все-таки случалось... Почему Митя не искал ее?

Может, ему тоже сказали, что ее под Видлицей — насмерть? Ведь мина вдребезги разнесла санитарную повозку. Уцелела Наташа и один из пяти раненых, которых она сопровождала. Ее подобрали на дороге в бессознательном состоянии. А после госпиталя она попала на Второй Белорусский...

Наталья Александровна вдруг почувствовала опустошенность. Словно там, в тесной комнате музея, она растратила все силы, чтобы удержать себя в руках.

Она сидела у среза воды и крошила кусочки бурой глины. Беззвучно и податливо рассыпаясь в пыль, они текли сквозь пальцы, пачкая длинную юбку. Падали в воду, оставляя мутные пятна, которые тут же размывали холодные струи.

В сотне метров темнели под обрывом остатки скользских, обглоданных временем свай. Все, что оставалось от живых людей, когда-то стучавших здесь топорами и ладивших неизносимые, казалось, крутоносые фрегаты, бригантины и шлюпы беспокойному российскому императору.

Мало ли что было на далекой войне. Смешно пытаться возвратить себя в прожитые годы. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Так, кажется, сказал в древности философ. Изменится река, изменишься ты сам.

Баба Варушка, наверное, просто решила бы сейчас все вопросы. Пригорюнилась, выслушав Наталью Александровну, покивала бы сочувственно и сказала:

— Что поделать, девушка... Не выпала, значит, тебе доля.

Вот именно — не выпала доля. Забыла судьба в спешке и сутолоке подарить то, что было всего главней. Теперь не слепить разбитого, не стереть годы, стеной вставшие между бывшим санинструктором Наташей Сиверцевой и бывшим гвардии лейтенантом Дмитрием Воловым. Теперь оба они — бывшие. А настоящие совсем другие. У Мити сын, семья. Он спокоен и, дай бог, счастлив.

Она через пять дней возвратится в Москву. В Химках, на речном вокзале ее встретит Андрей Владиславович, у которого наверняка уже будет заказано такси, который будет суетиться, хлопотать с багажом и смотреть обожающими глазами. Он увезет Наталью Александровну в уютную квартиру возле Филевского парка, а потом они зарегистрируют брак. Она сменит фамилию и станет Гнездиной, хотя эта фамилия и не очень нравится — в ней что-то от гнезда, от теплого куриного насеста. Но она возьмет ее, чтобы потерялась в человеческом скопище Наташа Сиверцева, чтобы никто, даже случайно, не отыскал бывшего санинструктора сводной роты.

Теперь ничего не слепить.

Но и не выбросить ничего. Память не подчистишь, не приберешь, как квартиру к большому празднику. Так и будут жить две Наташи: бывшая и настоящая. Они никогда не примирятся, будут снисходительно взирать друг на друга, ссориться и упрекать в том, что не случилось, не произошло, не сделалось.

К вечеру вдали ворохнулся гром, и сизо-синяя туча вспухла над хмарью лесов. Ее рыхлое, бесформенное тело на глазах стало набухать такой чернотой, что по палубам обеспокоенно забегали матросы. Принялись задраивать люки, прикрывать брезентами лебедки и бухты причальных тросов, привязывать какие-то ведра и бочки.

В другой стороне небо беззаботно голубело, и мир казался склеенным из двух половинок.

— Интересно как! — сказала Даня, стоявшая на палубе рядом с Натальей Александровной.— Будто одно взаправдашнее, а другое придуманное.

— И то и другое, увы, реально,— усмехнулась Наталья Александровна в ответ на восторженное восклицание.— Ливень будет... Гроза и ливень.

— Пусть. Я грозу люблю. В деревне, когда я еще маленькая была, я грозы совсем не боялась. Выбегу на крыльцо и стою. Молнии полощут, гром грохочет, а я стою и думаю.

— О чем же?

— О разном... Я мечтать люблю,— доверчиво призналась девушка.— И еще мне сны особенные снятся. Города с широкими улицами, а на них добрые люди. Хулиганства никакого нет, и все друг другу помогают. Дома без замков, окна открыты, и ребятишки с портфелями в школу бегут. Мужчины женщин не обманывают...

— Хорошие тебе снятся сны. Я в детстве тоже много красивых снов видела, но в жизни они ни разу не сбывались.

— Все равно верить надо,— убежденно возразила Даня.— Когда веришь, жить легче.

— А если знаешь, что верить нельзя? Вот, например, ты верила, что человека нет, что он убит. Погиб еще на войне. А он, оказывается, живой.

— Как же так может быть? — удивилась Даня.— Это у вас так получилось? В музее... Вы прямо с лица изменились. Я хотела подойти, а вы все в сторонку, в сторонку... В музее?

— Да,— глухо, одолев вдруг преграду недоверия внутри, подтвердила Наталья Александровна, взглянула в молодые глаза Дани и поняла, что должна рассказать девушке, что случилось с санинструктором Сиверцевой в Сермягских болотах.

Туча разрасталась, затягивала небо, смывала лазурь, нависала душным пологом. Налетел ветер. Взбулгачил воду, покатил по ней острые гребни.

Ударила молния, облив все вокруг вспышкой мертвящего пламени, раскололась на желтые косые прутья, ударилась о землю и разбилась. Гром грохнул невиданно гулкий в темном небе, как в пустой бочке, и тут же хлынул косой дождь. Струи с грохотом забарабанили по железу палубных надстроек, разбивались в пыль о поручни и шлюпбалки, отлетали от задраенных люков

и иллюминаторов, сбирались в потоки и с сытым урчанием катили вдоль бортов, сливаясь в реку.

Сквозь дождь небо пластало желтым огнем, и раскаты грома глушили слова.

— Что же вы теперь будете делать? — спросила Даня, ухватив в кулак ворот кофточки под подбородком.

— Ничего,— ответила Наталья Александровна, помолчала и добавила: — Ничего теперь уже не сделаешь.

Глава 7

Наталья Александровна надеялась, что все разрешилось в одиноком раздумье на берегу Свири, где она, как опытный шахматист, трезво оценила трудную позицию, расставила фигуры по нужным клеткам и, довольная собой, устроила круговую, несокрушимую оборону.

Но спокойствие оказалось иллюзорным. Сейчас она сознавала, что вопреки холодным командам разума вызревает в ней что-то большое и пугающее, что случившееся в музее является лишь частицей того неясного, что подспудно жило в ней.

Ожидание ведь не только временная категория, дни, месяцы и годы, отсчитанные календарем. Бывает так, что ожидание — это состояние души. Сама того не понимая, Наталья Александровна давно пребывала в нем. Она ужаснулась от мысли, что все это время пряталась от себя, старалась изо всех сил, чтобы прожитый день был похож на предыдущий, чтобы недели, месяцы и годы казались близнецами. Прошлое казалось ей теперь чем-то вроде немыслимо затянувшейся командировки, скучноватого и размеренного житья в гостиничном номере со всеми удобствами.

В Наталье Александровне росла сила сопротивления привычному течению жизни, и теперь с каждым истекающим днем и часом эта сила становилась неподвластнее разуму и житейски-практичным расчетам.

Она владела теперь ее сердцем и тревожила сильнее боли.

Сопротивляясь, Наталья Александровна не раз спрашивала себя, может ли в жизни человека произойти не-

что более поразительное, нежели то, что случилось с ней в музее. И знала — может быть, потому что человеку нет завершения, как нет его у жизни.

«Человек рожден для счастья...» — пришло же в голову умному писателю сказать такую нелепость. Счастье — это когда уже все достигнуто и нет желаний. Розовая конечная станция, ухоженный обустроенный тупичок, за которым нет движения. Без движения же ничто не существует.

Наталья Александровна удивлялась упорству своей памяти и силе воспоминаний. Ей всегда казалось, что за прожитые годы то, давнее, улеглось, успокоилось, затихло. Осталось отзвуком молодости, который она по женской природе чуточку приукрашивала и хранила, как хранят иной раз давнее письмо. Забывают про них, а наткнувшись при случае, рассматривают или с улыбкой перечитывают, улыбаясь собственной наивности. Порой легко грустят. Потом укладывают найденное на старое место и снова забывают о нем на долгое время.

Наталья Александровна, как и раньше, часами бродила по палубе, сидела в салонах, перебирала книги в библиотеке и, выбрав, носила с собой, не имея сил прочитать и одну страницу.

Ей все время было холодно. То ли от свежего ветра, ровно льющегося по простору Онежского озера, по которому шел теперь «Иван Сусанин», то ли от нервного возбуждения.

Утрату, неожиданно возникшую реальностью живого, существующего, трудно было осознать. Не под силу было принять невероятный переход от смерти к жизни. Наверное, только дети, способные воображать живыми пластмассовых, с нарисованными глазами кукол и плюшевых добродушных медвежат, могут принимать переход от мертвого к живому, немыслимый для сознания взрослых, не верящих в воскрешение людей.

Было ощущение, что набросили сеть, и она барахтается под ней, как рыба, выдернутая на песок, слепо ищет выход, пытается нащупать опору. Наталья Александровна рада была ухватиться сейчас и за маленькую соломинку, хотя и знала, что соломинки не спасли ни одного утопающего.

Сознание, обостренное случившимся, рождало необходимость ясного и четкого анализа. Ум, приученный де-

сятками лет конструкторской работы к строгой логичности мышления, пытался разложить все по полочкам. Но едва это случалось достигнуть ценою напряжения воли, как все тут же рассыпалось, мешалось в кучу, и трудно было в ней найти начало и разыскать конец.

Кижи появились неожиданно. Вдали, над обрезом горизонта, цвета расплавленного олова, прописалась и стала расти чешуйчатая пирамидка, обставленная островерхими куполами. Теплоход долго кружил по извилистому фарватеру между низкими шхерными островами, а пирамидка уже не исчезала. То приближалась, то отплывала в сторону, оказываясь чуть ли не за кормой, словно играла с «Иваном Сусаниным» в детские догонялки.

Затем возле нее обозначились колокольня с шатровой крышей, церковь, а поодаль восьмикрылая мельница, часовня с ажурным контуром звонницы, бревенчатые дома с амбарами.

Ломаясь от пологих волн, всколыхнутых теплоходом, бежала по воде его тень. Раскачивались на фарватере буйки, и на их суставчатых треногах ненужно мигали зелеными и красными огнями лампочки, закованные в проволочные кожухи.

Небо просторно раскрылилось, оставив лишь синеющую полосу дальнего леса и остров, зеленым овалом приподнятый над водой и уставленный причудливыми хоромами.

Наталья Александровна застыла у борта, боясь пошевелиться. Казалось, любое движение спугнет приближающееся к ней видение, и оно растворится, исчезнет, как мираж в барханной, прокаленной солнцем пустыне.

Была тишина, первозданная и величавая, которую теперь не просто найти на земле. Здешнюю тишину когда-то пытались убить разрывами бомб, искромсать пулеметными очередями, разорвать воем «юнкерсов» и залпами смертоносных батарей. Тишина приняла все, выстояла, без остатка поглотила огненный грохот и осталась сама собой.

Просветленными глазами Наталья Александровна вбирала простор, ощущая неповторимость встречи с величавой сказкой, которой одарило ее древнее озеро.

Хоть раз в жизни человек должен воочию увидеть подобную красоту, войти в нее с притихшим от изумления сердцем и носить запечатленное мгновение, спасаясь им в дни годин и потерь.

— Осподи Исусе, благодать-то какая! — выдохнула баба Варушка и потянула руку, чтобы перекреститься. Но застеснялась и принялась тормошить бахрому праздничного, с красными цветами по синему полю, старинного кашемирового платка.

— Красота! — откликнулась Наталья Александровна и грустновато подумала, что нынешний век кибернетики, космических скоростей и «кварцевой» логики электронных приборов потихоньку начинает подменять истинную красоту удобными к повседневному употреблению суррогатами. Пушкин и Рафаэль все больше начинают жить не в душе, а в разуме, в блоках хромосомной памяти.

Но душа противится, упрямо не желает меняться. У завзятого рационалиста порой источает невольные слезы щемящий аккорд Чайковского или проникновенная строка Гете. Душа желает оставаться сопричастной красоте, сопричастной всему, что было до нас, что есть, что будет и частью чего являемся мы сами.

Один ученый эпиграфом к книге по кибернетике поставил слова сказки Андерсена о солдате, предпочевшем серебру и золоту старое огниво.

Помнится, Наталью Александровну удивил тогда необычный эпиграф. Сейчас она понимала его.

«Иван Сусанин» пришвартовался у дебаркадера, где стоял «метеор», совершающий регулярные рейсы между Кижами и Петрозаводском. Туристы сошли на берег без обычной суетни и разговоров.

Притихшими стайками, как деревенские школьники, впервые попавшие в Эрмитаж, они слушали рассказы об архитектуре, удивительных строениях, рубленных плотницкими «мастерскими» топорами, изукрашенных с помощью простой стамески и коловорота так, что карнизы, причелины, полотенца, потоки и бочки казались кружевом.

Архитектуру называют окаменевшей музыкой. Здесь музыка была живой, сотканной из дерева, резанной на

досках, звенящей островерхими куполами, коньками крыш, наличниками и подзорами.

«Как мера и красота укажут...» — вспомнился Наталье Александровне бесхитростный, доступный немногим, завет древних строителей.

Перед соборами стояли молча. Даже разговорчивая баба Варушка не могла найти подходящих слов, чтобы выразить то ощущение, которое испытывал каждый из смотрящих.

Затем брели от одного деревянного чуда к другому. Задержались возле укромной часовенки изящных пропорций, поставленной на фундаменты-валуны. Рубленной в три клети, незатейливо лаконичной, без резьбы и балясин, увенчанной невеликой главой. Часовня задумчиво гляделась в заозерную даль двумя запавшими в стены окнами. Купол мягко ликовал в покатых лучах вечернего солнца, как бы непостижимо утешая охваченную тревогой душу Натальи Александровны.

С первого взгляда часовня походила на крестьянскую избу, какие рубили по берегам рек и лесных озер новгородские ушкуйники, проламывающие путь к Студеному морю.

Наталья Александровна подумала, что предки поселяли богов в тех же жилищах, в каких жили сами. И потому боги были проще и доступнее. Они обитали рядом с людьми и могли понимать их заботы и радости. Затем для богов стали сооружать капища, раззолоченные храмы и громадные соборы, в которых потерялся человек, а бог стал пугающим, недоступным и далеким.

От роду часовенке было шестьсот лет. Рубленные из тонкослойной смолистой сосны стены ее высохли за века и стали звонкими. Когда экскурсовод ударил по бревну указкой, оно откликнулось певучим звоном.

— В будущем пропитаем синтетическим составом, чтобы законсервировать древесину и предохранить ее от гниения,— деловито пояснил туристам человек с указкой.

Наталье Александровне стало жаль часовенку. Она не хотела, чтобы стены ее пропитывали синтетическим составом. Он сбережет дерево, но убьет его душу. Она уже не будет отзываться на каждое прикосновение. Станет крепкой, глухой и равнодушной, как человек, с молодости сберегающий здоровье.

— Шестьсот лет! — изумилась Даня.— Только подумать... Шестьсот лет!

От прожитых восемнадцати шестьсот казались ей неправдоподобными.

Наталье Александровне не хотелось разговаривать. Глаза ее ненасытно вбирали все, что видели. И она ощущала, как тревога и боязнь отпускают ее, словно растворяясь в окружающей красоте. Когда стена под указкой отозвалась, будто тронутая скрипка, у Натальи Александровны отмякли губы. Она медленно прикрыла глаза, чтобы подольше удержать в себе облегчающий, чистый звук.

После осмотра туристы разбрелись кто куда. Даня и Виталий затравенелой тропкой ушли на плоскую оконечность озера, расписанную разливами ромашек и курослепа. Из ковра росных, светлых трав там гляделись веселые глаза одуванчиков, сушились невода, растянутые на кольях, рос низкий ивняк, и ветки его сгибались к воде, утихомиренно плескавшейся о камни. Поодаль от берега стыла смоленая рыбацкая лодка, казалось, приклеенная к блестящей глади озера.

Наталье Александровне вдруг захотелось, чтобы Даня уехала с Виталием в Белозерск, чтобы они построили там дом.

Баба Варушка сменила выходной с кистями плат на белоснежный из простенького ситца, пришла к собору и пошепталась с краснолицей сторожихой, надзиравшей, чтобы никто не смел запалить цигарку возле деревянных хором. Сторожиха понятливо покивала и, громыхнув замком, пропустила в калитку пенсионерку из-под Холмогор.

Наталья Александровна догадалась, что баба Варушка, передовая телятница, награжденная медалями и похвальными грамотами, прошла за ограду к древним соборам помолиться наедине, без сутолоки и спешки, раз уж довелось на склоне лет оказаться в таком месте. Всплакнуть по-бабьи над собственной долей, порадоваться спокойной старости, пожелать счастья и здоровья детям, Федору Степановичу, который хоть и играет на баяне в клубе, поет песни, а так и носит неизбывное увечное горе, пожалеть старшую, Августу, у которой ни-

как не склеится вдовья жизнь. Поклониться неведомым мастерам, доставившим радость сотворенной красотой, поклониться всем добрым людям.

Конечно, бога нет, раз космонавты летают в самое поднебесье и пешком там ходят, за веревку держатся. Но ведь земные поклоны бабы Варушки никому не повредят. Разобраться, так вовсе и не молитва это, а человеческий разговор наедине с собой, голос, обращенный к людям.

Наталья Александровна неожиданно позавидовала пенсионерке. Ей и самой оставалось сейчас впрямь помолиться. Но она не умела это делать и не знала, что ей просить.

На мир наплывала тонкая печаль уходящего дня, и невозможно было осознать, что он уже больше не повторится никогда.

Наталья Александровна бродила между узорчатыми теремами, неспешно рассматривала их со всех сторон, любовалась кружевом причелин, замысловатым орнаментом подзоров, глядела на легкие контуры звонниц. Ей нравились и дома, приземистые, прочно и просторно поставленные на земле, опоясанные галерейками — гульбищами с точеными балясинами легких перил. Ей думалось, что в таких домах работящие и добрые люди жили большими и дружными семьями, в которых легче одолевается беда и ярче ощущается радость.

Двадцатидвухглавый собор с каждой стороны, с каждой новой точки раскрывался по-особенному. Чередование чешуйчатых глав, возникавших в поле зрения в зависимости от движения смотрящего, обнаруживало вдруг некий ритм, в который зритель невольно вовлекался, и между ним и собором возникала связующая нить. Наверное, в этом и есть сила подлинного искусства, неприметно забирающего тебя в орбиту своего воздействия и прокладывающая незримые связи, которые заставляют часами простаивать перед картиной, скульптурой или таким вот дивным храмом.

Несколько раз окружив заповедное место, Наталья Александровна прошла в глубь острова и там, за жердяной темной оградой, она увидела Даню. Подперев кулаком подбородок, девушка сидела на шершавом се-

дом валуне. Глаза ее смотрели за озеро, и в лице была задумчивость.

— Нравится,— тихо сказала Даня, не поворачивая головы.— Голубое все.

— Почему голубое?

— Не знаю. Небо голубое, вода... Соборы тоже, избы, мельница...

— Ты хочешь сказать — легкое?

— Ага, голубое... Красиво здесь. Я теперь много буду ездить. И все смотреть, смотреть, смотреть...

Наталья Александровна улыбнулась и подумала, что вряд ли исполнится мечта девушки. Выскочит замуж, родятся дети, навалятся на плечи домашние заботы — и конец мечтаниям. В жизни больше прозы, чем поэзии. Лезет суматошная повседневность во все щели, вяжет человека по рукам, и деться от нее некуда.

— Не верите? — спросила Даня, поднялась с камня и упруго перемахнула через жердяную изгородь, в мгновение оказавшись рядом с Натальей Александровной. Прыжок был сильный и естественный. От него пахнуло молодостью и здоровьем, родив у Натальи Александровны короткую и завистливую печаль.

— Виталий где?

— Там, на берегу остался.

— Поссорились, что ли?

— Нет... Он хороший человек. То, что с каютой было,— ерунда. Заскок в мозгах получился... Только...

Даня не договорила. Нагнулась, высмотрела в траве сочный лист щавеля, сорвала и куснула крепкими зубами.

— Что только? Белозерск не устраивает?

— Опять вы про это,— досадливо поморщилась Даня.— Белозерска я ни капельки не боюсь. Хотите знать, я не то что в Белозерск, на Камчатку не побоюсь уехать... Виталька мне сегодня по всей форме предложение сделал. Ты, говорит, знаешь, как мне нужна. Может, говорит, еще такого счастья никто не знал, какое у нас с тобой будет... Здорово, да?

— Конечно... Так за чем же дело стало?

Даня покусала листик щавеля и чуть прижмурила глаза от свежей и острой кислинки.

— Хочется мне свою жизнь устроить. Как мама умерла, я все одна и одна. «Общага» — это разве дом.

Нас шестеро в комнате. И весело и тоскливо. Девчонки, конечно, собрались мировые, но свое иметь лучше. Только я не могу так, как вы.

— Как я?

— Да... Не любите, а замуж выходите. Митя ваш живой и здоровый, а вы на нем крест поставили.

Наталье Александровне сделалось стыдно, горько и печально. Она не знала, куда смотреть, куда деть руки. Кровь бросилась в лицо, внутри все съежилось, смешалось в клубок растерянности, раздражения и ощущения невольной вины перед Даней.

— Мне сначала полюбить надо,— продолжила девушка, не понимая, как казнит Наталью Александровну тихими словами, не замечая, что лицо ее соседки по каюте взялось неровными жаркими пятнами.

Наталья Александровна молчала. Ей нечего было ответить. Она вдруг со стороны взглянула на себя. Увидела молодящуюся изо всех сил женщину, независимую и обеспеченную, модно одетую, утихомиренную и благополучную. Предавшую ради благополучия и утихомиренной жизни прежнюю Наташу и предающую сейчас ее единственную любовь ради удобного пристанища возле Филевского парка.

Правду нельзя приспосабливать. Можно ошибаться, но отступать от нее нельзя. Это конец. Тихий и самый страшный конец, когда человек умирает, оставаясь живым.

— Что с вами, Наталья Александровна?

— Ничего... Ты говори, Даня... Говори. Мне это очень нужно.

— Вообще-то я насчет Витальки еще буду думать. Расстанемся после рейса, письма будем писать друг другу... Время покажет...

Слова Дани утратили силу, стали обкатанными, как речные голыши, и ненужными Наталье Александровне. Но она не перебивала девушку, которая, сама того не подозревая, помогла ей перешагнуть последний внутренний барьер, безбоязно приникнуть к истокам самое себя и найти единственный ответ, который был правдой. Внезапно обнажившимся откровением сердца она поняла, что жила не так, хотя и не представляла, как будет жить и куда пойдет.

— ...Если у нас ничего и не получится, Виталька переживет. Он дом будущий очень любит. Все время о нем говорит. Чудно — возле дома, значит, человеку и бегать всю жизнь, как собачке на проволоке. А мир такой большой...

— И пустой, Даня,— резко перебила Наталья Александровна.— Пустой, если живешь в нем как перекати-поле и ветер может прибить тебя к любому плетню. Худо, Даня, быть бродягой среди людей. Самое страшное, когда человек обманывает самого себя, обворовывает себя собственными же руками...

Наталья Александровна говорила, и в словах было чувство освобождения, какое иной раз наступает после долгих и беспричинных слез.

Тишину Кижей нарушил рупор «метеора», объявлявший, что через двадцать минут состоится очередной рейс в Петрозаводск.

— Через двадцать минут,— машинально повторила Наталья Александровна и огляделась.— Ты очень верно сказала, Даня. Здесь все голубое. Даже удивительно, как много голубого... Через двадцать минут. Ты извини меня, пожалуйста, мне надо торопиться.

Наталья Александровна повернулась и быстро пошла к дебаркадеру. Длинная клетчатая юбка ее при каждом шаге полоскалась, как парус, и приходилось придерживать ее рукой.

— Куда вы? — крикнула вслед Даня.

Наталья Александровна, не оборачиваясь, прощально махнула рукой. Объяснять все было сложно и ненужно. Просто она должна была успеть к рейсу «метеора» и уехать в Петрозаводск.

Там она сядет в поезд и поедет. Может быть, в незнакомый ей город Борисоглебск.

Пушица

(Рассказ)

Телеграмму принесли вечером. Девушка-почтальон молча указала, где расписаться, и ушла.

Я развернул телеграфный бланк и прочитал слова на бумажной ленточке. Она извещала о кончине Матвея Викторовича Шульгина. Фэкт смерти был заверен подписью врача и фиолетовой расплывшейся печатью почтового отделения.

— Пап, а кто такой Шульгин?

— Шульгин? — Я положил руку на голову сына, ощутил его жесткие волосы и подумал, что нам пора сходить в парикмахерскую.— Он мне на фронте спас жизнь.

Димка свел к переносице встопорщенные, выгоревшие брови, помолчал и сказал:

— Значит, и мне спас... Если бы тебя убили, меня ведь тоже не было... Это далеко, Кожма?

— Далеко, за Полярным кругом. От железной дороги надо катером добираться.

— Ты был там?

— Нет.

— Теперь поедешь?

— Поеду... Ты же сказал, что Шульгин и тебе жизнь спас,— так я ответил сыну, не любившему моих отлучек из дому.

— Пап, ты с ним вместе долго воевал?

— Одиннадцать дней...

Я уехал через несколько часов полуночным полярным экспрессом.

Одиннадцать дней воевал я вместе с Матвеем Шульгиным. Это было в июле сорок первого года в Кольской

тундре между озером Куэсме-Ярви и оленьими пастбищами в верховьях реки Туломы.

Я начал войну командиром стрелкового взвода. Восемнадцатилетним, наскоро испеченным лейтенантиком, ослепленным эмалью кубарей и скрипом ремня вишневой кожи с латунной звездой на пряжке.

Взвод держал фланг, укрепившись в недостроенном доте на берегу озера.

Отступать не пришлось. Тирольские егеря кинулись с тыла и погнали нас на запад, где уже была засада. Остался я в живых потому, что уходил за озеро последним.

Очнулся в какой-то щели. Ныла спекшаяся ссадина на скуле, и мерзла непокрытая голова. В затылке была разлита тягучая неотпускающая боль. Перед глазами снова встал желтый, ослепивший всплеск разрыва и бездонная, темная яма, куда невыносимо долго падал.

Над головой зияло солнце, разливая мягко притененный облаками ровный свет. Где-то капала вода. Крупная щебенка противно скрипела при каждом движении.

Шинель была разорвана, в нагане осталось три патрона.

Я был уверен, что цепи автоматчиков и патрули прочесывают местность, и торопливо опорожнил карманы. Порвал письма из дому, фотокарточки, какую-то завалявшуюся справку о денежном довольствии. Достал комсомольский билет, сколупнул травинку, прилипшую к обложке, перелистал страницы и ужаснулся, что не заплачены членские взносы за июнь.

Билет положил в нагрудный карман. Там, где под тканью гимнастерки неспокойно стучало сердце. Его остановит, пробив комсомольский билет, моя последняя пуля.

Потом выбрался из щели и лег за валун. Осколок гранита жестко уткнулся в грудь. Я вывернул его из щебенки, собрал охапку вороничника и поудобнее расположился в ожидании последнего боя, сжав шероховатую рукоять нагана. Металл холодил руку, тяжесть оружия успокаивала, выгоняла страх. В суматохе потерялся поясной ремень. Без ремня я ощущал себя расхлестанным, как солдат, отправленный на гауптвахту.

Вокруг стояла тишина. Звон падающих в камнях капель был в ней монотонен и тягостно отчетлив. Над соп-

ками катилось по извечному пути непотревоженное войной солнце. К полуночи оно пройдет над морем, не коснувшись горизонта, и снова начнет подниматься, оглушая беспокойным светом полярного дня.

Выступ ближней скалы мерцал красноватыми изломами гнейса. Гривка березок в лощине так нестерпимо зеленела, словно каждый листочек на ветках был вычищен и отполирован.

У лица настойчиво вился и попискивал одинокий тощий комарик.

Меня сморил сон. Сколько проспал, сутки или два часа, сообразить не мог. Небо затянули низкие плотные облака. В камнях посвистывала морянка, трепала березы, колыхала осоку на болоте.

Немцев не было. Только тут я сообразил, что егерям ни к чему прочесывать сопки. Тех, кто уцелел после боя у озера Куэсме-Ярви, они просто оставили умирать в пустых, холодных камнях.

На севере и на востоке погрохатывала стрельба. На западе лежала чужая земля. Поэтому я пошел на юг.

Взобрался на гранитную хребтину голой, просвистанной ветром, сопки, долго глядел вокруг и ничего не высмотрел. Спустился, прошел кочковатой лощиной, запутался в каменной осыпи, огибал топкие болота...

Наконец увидел своего. Русского, живого. В грязной шинели с винтовкой, с пузатым «сидором» на скрученных лямках, с котелком у пояса. Остановив его нацеленным наганом, приказал положить винтовку и спросил часть.

— Из нового пополнения я, товарищ лейтенант,— умоляющим голосом говорил красноармеец.— Всего неделю, как мобилизовали. Из местных я, из становища на побережье. Нас старшина Савченко в батальон привел.

Я поверил лишь тогда, когда красноармеец Шульгин сказал, что старшина первой роты Савченко в трудных случаях поминал не только бога, но и тот гвоздь, на который бог шапку вешает.

— Поступайте под мою команду!

— Слушаюсь, товарищ лейтенант,— сказал Шульгин и вытер пилоткой потное лицо.— Двое суток один по горам шастаю, сердце аж в трубочку свилось... Обрадовался, когда вас приметил... Вчера двоих наших у озера нашел. Рядком лежат, видно, одной очередью положило.

Камнями прикрыл, чтобы песцы не попортили. Едой вот у них запасся, сухариками и табаком... Неладно, конечно, у мертвых отнимать, да делать нечего... Сплошали мы, товарищ лейтенант, на первый раз. Ничего, дай срок, все им, гадам, на бирку нарежем.

Шульгин уселся на камень, достал кисет и предложил мне закурить.

— Некурящий.

Шульгину, большеголовому, с грузными, покатыми плечами, было лет под тридцать. На широком лице льдинисто светлели глаза, рот прятался в рыжеватой обильной щетине. Цигарку Шульгин держал в горсти, прижав ее большим пальцем, с рыжим от табака ногтем.

Верхний крючок шинели Шульгин расстегнул, винтовку, как палку, положил поперек колен.

— Будем выходить из окружения,— сказал я.— От немцев мы оторвались. Теперь надо пробираться к своим. Думаю, идти немного.

— Смотря куда идти, товарищ лейтенант,— возразил Шульгин, аккуратно прислюнил окурок и спрятал его за отворот пилотки.— Если к морю пробираться, так километров тридцать, а на Мишуковскую дорогу, совсем близко... Вон за той сопочкой, за горбатенькой...

Из его слов я понял, что мы находимся километрах в пяти от недостроенных дотов, где батальон принял бой. Значит, я без толку кружил сегодня по пустым сопкам. Не я ушел от страшного озера Куэсме-Ярви, а фронт ушел от меня.

— Отправляйтесь на разведку, установите, где легче перейти Мишуковскую дорогу.

Когда Шульгин уходил, я велел ему оставить вещевой мешок. Настороженность все еще не отпускала меня.

Шульгин снял мешок и ушел.

Я проверил его поклажу. В мешке лежала пара белья, полотенце, кусок мыла, соль в жестяной баночке и десяток винтовочных обойм.

Еще там были сухари. Крупные, в ладонь, ржаные армейские сухари, от одного вида которых у меня набежала слюна и утробно заурчало в животе. Я съел сухарь, затем, не удержавшись, второй и третий, напился воды и ощутил долгожданную сытость.

Шульгин вернулся быстро. Кисть руки у него была окровавлена, на прикладе винтовки белел сколок дерева.

— Докладывайте! — Я оправил разодранную шинель и снова пожалел, что потерял поясной ремень со звездой на пряжке.

— Нечего докладывать, товарищ лейтенант... Охранение на сопках и патрули. Едва ноги унес... Не подойти к дороге.

— Надо было подойти,— жестко сказал я.— Струсили, красноармеец Шульгин!

Шульгин исподлобья зыркнул на меня и недовольно засопел.

— На хрена нам дорога сдалась,— сказал он.— Все равно по ней к своим не добраться. Прихлопнут, как комаров.

— Отставить разговоры! — коротко, как бывало перед строем. оборвал я ненужные разглагольствования.— Дисциплину забывать стали!

— Пожуем, может, маленько,— не обращая никакого внимания на строгость моего тона, предложил Шульгин и потянулся к вещевому мешку.— Сухарик на двоих ликвидируем и заморим червячка.

У меня загорелись уши. Только тут дошел до моего сознания стыдный ужас того, что сделал в отсутствие Шульгина.

— Рубай, я без тебя подзаправился,— грубовато, чтобы скрыть собственную растерянность, сказал я.

— То-то гляжу не по-моему завязка сделана... Много умяли? Шестнадцать сухарей было.

— Три,— у меня хватило сил признаться.— Считайте, что свою норму на два дня вперед израсходовал... Немного пройдусь, посмотрю.

Когда я возвратился к приметной седловине с валуном, торчавшим на склоне, как каменный палец, Шульгин перекладывал мешок. Лицо его было сумрачным, на лбу шевелилась толстая складка.

— На чужое добро, лейтенант, нечего лапы расщеперивать,— сказал он.— Не положено в армии по мешкам шарить.

Наверное, человека нельзя обидеть сильнее, чем правдой. Кровь туго хлынула мне в лицо.

— Встать, товарищ боец!

Шульгин поднялся, косолапо расставив короткие ноги. Шинель его, неряшливо перепоясанная ремнем, комом собралась на животе. В углу рта чадил окурок. Ма-

хорочный дым попадал Шульгину в левый глаз. Он прижмурил его, а правым испытно, с нехорошей усмешкой смотрел на меня. Ну, что, мол, дальше?

Я не знал, что дальше, и вдруг понял, что беспомощен перед этим человеком в солдатской шинели, неохотно поднявшемся по моей команде. Здесь, на склоне сопки, в тылу у немцев, ему нельзя было дать наряд, оставить без увольнительной, посадить на гауптвахту...

Я объявил Шульгину выговор перед строем.

Он обалдело моргнул, усмехнулся, пристроил за спиной вещевой мешок и взял винтовку.

— Провались ты к лешему, глупа голова,— сказал он мне и пошел вниз по каменной седловине.

— Стой! — крикнул я.— Приказываю остановиться, красноармеец Шульгин!

Шульгин не спеша спускался по склону, обходил валуны, прыгал по уступчикам, перебрался через расселину. Он уходил, бросал командира, уносил винтовку и сухари. Дезертировал, оставляя меня в сопках с тремя патронами в нагане, без продуктов, одного...

Все это вихрем пронеслось в голове. Но тогда я умел только командовать.

— Стой, стреляю! — заорал я, сунул руку в карман и лапнул рукоять нагана.— Честное слово, выстрелю!

Шульгин не остановился Он лучше меня знал, что не хватит сил выстрелить в спину. Своему, русскому, чудом встреченному здесь, где до войны не ступала нога человека.

— Ну и катись! Ну и катись, сволота!.. Катись!..

Я беспомощно и жалко кричал это растерянное: «Катись!», застрявшее в голове со времен мальчишеских ссор и одиноких обид, пока Шульгин не скрылся из виду. Глухое, неразборчивое эхо насмешливо откликалось мне.

Уткнув лицо в поднятый воротник, я сидел, привалившись к гранитной стенке, поросшей жесткими скорлупками лишаев. Низко плыли тучи. Они цеплялись за голые верхушки сопок, оставляя на скалах клочковатый туман и сырость. Кричала полярная сова. Насмешливое кикиканье ее прерывалось угрюмым, пугающим «кр-р-рау». Крик бился о скалы и пропадал в них.

Ствол нагана смотрел с колен мне в лицо круглым завораживающим зрачком. В барабане латунной слепой

желтизной отливали орешки неизрасходованных патронов.

Я был пуст. Словно меня выжали, вывернули наизнанку и приткнули, как куклу, к каменной стенке на безвестной сопке, затерянной в гранитном море. Появись в эту минуту немцы, у меня бы, наверное, не сыскалось сил выстрелить в них, выстрелить в себя.

Поднял меня озноб. Промозглая сырость забралась под шинель. Онемели ноги в тесных хромовых сапогах. Икры схватывали судороги, ныла замерзшая поясница, и пальцы заледенели так, что мне пришлось долго дуть на них, чтобы заставить сгибаться.

Я побрел вниз по неровному гранитному склону, сам не зная, куда иду. Больше всего мне тогда хотелось, чтобы наступил конец. Любой, черт возьми!..

У подножья сопки, у поворота в лощину, увидел Шульгина. Он сидел возле куста полярных березок. У ног его едва приметно дымился костер.

Я подошел, присел на корточки и протянул к огню остро зябнущие руки.

— Звать-то тебя как, лейтенант?

Я поднял голову. Шульгин спокойно смотрел на меня. В глазах его, в самых уголках, я ощутил жалостливую усмешку.

Я ответил, что зовут Вячеславом и сообразил, что Шульгин ждал меня.

— Славка, значит,— уточнил он и сунул в костер пригоршню сухих веток.— А меня — Матвеем... Матвей Викторович... А то «встать», «прекратить»... С одной стороны, конечно, понятно, а с другой — чего шуметь без толку. Видишь, в какой переплет попали... Разве думалось, что так повернется... Ничего, остер топор, да и сук зубаст. Не сломали еще нам хребет... Шинель-то сыми, высушить надо, а то ночью до смерти заколеешь. Поболе бы огонек наладить, да ведь эти паразиты узреть могут. Ничего, пока маленьким обойдемся. Битую-то морду задирать негоже.

Когда я обсушился, Шульгин дал мне кружку кипятку, четверть сухаря, и мы обсудили наше положение.

— Мишуковскую дорогу можно изловчиться перескочить,— сказал Матвей.— Я сегодня опять к ней приглядывался. Не сплошь немцы ходят, а промежутками. Тогда к морю выйдем. Там становища, места обжитые. Толь-

ко ведь наверняка гитлеры их заполонили. Позаримся, а как бы на новую беду не наскочить.

Я предложил уходить на юг. Там стрельбы не слышно, там наверняка можно выбраться к своим.

— На юг? — переспросил Матвей и поскреб ногтем подбородок.— Дак там ведь тундра.

— Ну и что? — возразил я, хотя тундру знал лишь по учебникам географии. На картинках она была плоской, как стол, и представлялась мне, городскому мальчишке, удобной для пешей ходьбы.

— А то, что тундра... Не осилить ее, проклятую, с таким запасом,— Шульгин тряхнул вещевой мешок,— двенадцать сухарей на двоих...

Я не стал приказывать. Уловив неуверенность в голосе Матвея, стал убеждать его идти на юг. Кидал ему вытверженные мною по учебникам правила военной тактики, говорил о маневренности войск, о закономерностях развития наступательных операций и о прочих, бесполезных для нас истинах. Я напомнил Шульгину о воинском долге, присяге, о моем командирском звании.

— Ладно,— согласился Матвей.— Что на север, что на юг, один хрен без покрышки. Летом везде дороги торны, а тундра тоже земля. Лопари вон по ней не одну тыщу лет ходят.

Он расчетливыми затяжками дососал окурок.

— Оставаться здесь все равно нельзя... Махнем на юг километров пятьдесят, а там повернем к Туломе. Может, и впрямь к своим доберемся. Чем черт не балует, когда бог спит.

Ночь мы провели, забившись в заросли полярных березок. Кривых и темных, изувеченных ветром, с крохотными, зазубренными круглыми листочками. Было холодно и сыро. Морянка принесла скользкую замочь. Набухшие водой облака безостановочно сыпали мелкий, надоедливый дождь. Мы ворочались без сна и жались друг к другу, чтобы хоть чуточку согреться.

Ритмично постукивали колеса, плавно покачивался вагон с ковровой дорожкой в коридоре, с репродукторами и розетками для электробритв. Предупредительные девушки-проводницы звенели посудой, готовили чай. Торопясь ножками, бегал мимо купе щекастый белоголо-

вый карапуз с нестерпимо синими глазами. Студенты-практиканты говорили о сейсморазведке. Они ехали на базу геологической партии, расположенную, как я понял, в Туломской тундре. Туда же держали путь две независимых, перезрелого возраста девицы в тесных джинсах и обтягивающих кофточках — ботаники, таксаторы оленьих пастбищ.

Я курил и смотрел на тундру. Кочковатая, рыжая, как линяющий песец, равнина была пересечена рогатыми мачтами высоковольтной линии, уходящей к горизонту. Там, отчетливо видные, дымили трубы. То подступая к полотну железной дороги, то убегая от него, тянулась светло-серая лента шоссе. По тропинке катили на велосипедах и мотоциклах рыбаки со связками удочек, пристроенных к багажникам.

Без усилий, удобно и быстро мчался я теперь по злой, комариной тундре, до лютости изматывающей человека за полдня пути...

Мы шли шестой день. Сопки остались на горизонте. Теперь нас окружала равнина. Плоская, как стол, негде зацепиться глазу. Она вовсе не походила на городскую площадь, удобную для пешей ходьбы, как мне представлялось по картинкам из учебника географии.

По колено вязли в торфяной грязи, липкой, как клейстер, бурой няше. Рыхлые кочки ходуном ходили под ногами. Сизыми, недобрыми разводами стоялой воды были затянуты болота. На дне их таилась мерзлотина, прорезанная ключевыми ямами. В промоинах тундровых ручьев, оставшихся от недавнего половодья, приходилось барахтаться в раскисшей глине и на карачках выползать к сухому месту.

Разлившиеся озерины, озерки и лужи заставляли петлять, делать пятикилометровые обходы.

Ни тропинки, ни человеческого следа. На ягельниках лежали отмытые дождями черепа оленей. Острые, как пики, наконечники сброшенных рогов предательски прятались в кочках. Пищали остромордые лемминги, потревоженные в норах, скалили зубы. Простуженно и трусливо лаяли издали мышкующие песцы.

Звоном звенели, огнем жгли комары. Их были мириады. Они плыли за нами, как серый чад. Забивались в

рот, в нос, в уши, едко липли к глазам. Я по-бабьи обвязал голову рубахой, обмотал руки лоскутами шинельной подкладки, но спастись, укрыться от этих кровососов было невозможно.

Я шел за Матвеем след в след. Видел его сутуловатую спину, покатые плечи, хлястик, держащийся на одной пуговице, вещевой мешок, заляпанный бурой грязью. Видел его раскисшие ботинки, косолапо приминающие мох. При каждом шаге в них чавкало и сквозь дыры на сгибах выбрызгивалась вода.

Как Матвей угадывал направление, моему уму было непостижимо. Мы кружили, петляли, забирали то в одну сторону, то в другую, но упрямо шли на юг.

Последний сухарь был съеден. Мы глотали прошлогоднюю, кислую, как уксус, бруснику, грызли зеленые ягоды вороничника, сосали мох. Несколько раз Матвей пытался подстрелить песца. Передергивая затвор, жег обойму за обоймой, но винтовка дрожала в руках, и песцы уходили от выстрелов.

В животе была сосущая пустота, и сохли распухшие губы. Порой в глазах наплывал оранжевый туман. В нем вспыхивали и дробились легкие круги. Тогда приходилось останавливаться, чтобы не упасть.

Мощный электровоз голосисто покрикивал на поворотах. Рыжее солнце заливало светом бескрайнюю тундру, лобастые граниты, выпирающие из-под торфа, блюдечки озер, светлые, как ребячьи глаза. На взлобках, на теплом припеке, в затишке от ветра цвели полярные маки. Фиолетовые табунки камнеломок теснились среди каменных россыпей.

Шоссе, прорезавшее тундру, сделало заворот и уткнулось в железную дорогу. У полосатого шлагбаума, помаргивающего красными огнями, выстроились машины. Самосвал, голубая «Волга», два новеньких «Москвича», панелевоз с квадратом бетонной стены, зеленый «Запорожец» последней модели, «Жигули».

— С никелевого на озеро подались, на пикник,— сказал рядом со мной студент-геолог.

— Сейчас хариусы хорошо берут, самый клёв,— откликнулся его попутчик.— Наши тоже, наверное, на Ту-

лому убрели. Гошка Шаронов там все места знает... Пушица цветет... Красотища!

Цвела пушица. Белые пуховки причудливо изукрашивали землю, ожившую после полярной стужи. Кружево пушицы было просторно кинуто в тундре. По моховым ложкам заросли ее были легки, как первая пороша. На берегах озер пушица сбилась в плотные клинья, подступающие к воде. Казалось, что там сели на отдых стаи гусей после долгого перелета.

Ветер колыхал пушицу белопенными волнами, тормошил, прижимал к кочкам.

Пушица из семейства осоковых, скотом она поедается неохотно.

На вкус эта пушица весьма противна. Крохотные орешки, спрятанные в пуховках, горьки, как полынь, а жесткие трехгранные стебли оставляют во рту ощущение разжеванного хозяйственного мыла. Лишь из корней и укороченных прикорневых листьев можно выжать капельку питательного сока, которую человек в состоянии проглотить на пустой желудок...

На привалах мы варили пушицу. Матвей собирал ее охапками, крошил ножом корни и листья, заливал водой. Тальник разгорался неохотно, дымил, разгоняя нам на радость комаров, затем на корявые ветки выползали красные языки пламени.

В котелке пушица густела, становилась скользкой, душно-парной. Давясь от отвращения, глотали варево, упивались его теплом и смотрели, как, истратив силы, затухает костер. Гаснут, подергиваются пеплом угольки, и на выжженной моховине остается холодная горсть озолков.

Пустота в животе, казалось, понемногу засыпала. Голодные спазмы перестали выворачивать желудок, и во рту не набегала слюна. Голова сделалась высохшей, костяной, и внутри что-то временами отчетливо попискивало, словно туда забрался комар.

Не помню, на которые сутки это случилось. При очередном шаге передо мной вздыбилась земля. Круглая лужа сжалась в ослепительную, больно ударившую по глазам точку. Затем точка взорвалась, небо стало темным и со скрежетом просыпалось на меня.

Очнулся от толчков. Матвей стоял на коленях и тормошил меня за плечи.

— Слава, Славик! Товарищ лейтенант! Идти ведь надо...

Я ответил, что никуда не пойду.

— Притомился,— сипло сказал Матвей, поднял распухшее чугунное лицо и оглядел тундру тоскливыми глазами.— Ладно, передохнем маленько! Я ведь тоже опристал, ходули едва двигают.

Он уселся на кочку и принялся сооружать цигарку из ягеля и табачных крошек.

В сером, осевшем небе кругами ходил кречет, раскинув острые крылья. Я лежал и думал, что связываю Матвея Шульгина. Из-за меня, слюнтяя и недоноска, мужик погибнет в тундре. Из-за меня...

Негнущимися пальцами я медленно вытащил наган, сунул в рот холодное дуло и нажал спуск. Крутнулся барабан, щелкнул курок самовзвода, ударил острием по капсюлю. Раз... второй... Выстрела не было. Патроны отсырели в болотине, ими я уже никого не мог убить.

Шульгин ногой вышиб оружие.

— Ты что удумал, зараза! — он тряхнул меня так, что голова мотнулась из стороны в сторону.— Жизни себя лишить! Еще кубики нацепил, командир взвода... Вша рыбья! И так по этой болотине ползем, как слепые котята, так он еще придумал клевать в больное темечко, паразит!

Матвей ругал меня исступленно, нескладно и зло, выливая ожесточение, накопившееся в душе.

Я равнодушно, устало слушал. Горбоносый темный кречет ходил над тундрой, то приближаясь к нам, то отваливая в сторону. Наверное, он чуял поживу и терпеливо ждал, когда можно будет ударить клювом.

— Встать! — крикнул Шульгин.— Приказываю встать, товарищ лейтенант!

Я закрыл глаза и поморщился от нелепой команды рядового красноармейца. Встать не мог. У меня не было ни сил, ни желания. Воля моя сломалась, хрустнула как стебелек вороничника под сапогом.

Матвей рассвирепел:

— Да поднимайся ты, кисла образина! Навалился на мою шею... Думаешь, цацкаться с тобой буду!.. Ну!

Он перехватил винтовку, вскинул над моей головой приклад и остальное досказал бешеными глазами.

— Ну!

Приклад угрожающе качнулся надо мной. Я закрыл глаза...

— Славик! — голос Шульгина вдруг сорвался на хриплый, просящий шепот.— Давай дак не фасонь... Идти ведь надо.

Матвей уговаривал меня, подбадривал, помог сесть, разжег костер, насобирал мне пригоршню незрелой морошки.

— Идти надо, Слава. Тулома уже близко... Я сегодня вдали лесок приметил. Раз лесок, значит, и река там.

— Ты иди, Матвей. Иди один.

— Дурачина ты,— с расстановкой произнес Шульгин, вскинул винтовку и ударил по кречету, отгоняя его прочь.— Оглупел, что ль, совсем?.. Пойми, парень, не могу я тебя здесь кинуть. Если ты не поднимешься, значит, мне доля рядом с тобой подыхать... Вот ведь какая закавыка, товарищ лейтенант.

«Закавыка»,— испуганно отдалось в моей голове. Наверное, поэтому я в тот день заставил себя встать и мы снова побрели по тундре.

Остальное перепуталось. В памяти сохранились лишь бессвязные обрывки. Мы выбирались из промоины, и мне никак не удавалось зацепиться за валун... Помню тяжелое, с сиплым присвистом, дыхание Матвея... Жесткий палец, засовывающий мне в рот разжеванную пушицу.

Помню себя на закорках. Перехлестнутые ремни режут спину, шея ломается, не держит голову. Подбородок при каждом шаге тыкается в колючий, залубеневший от сырости воротник...

Я курил сигарету за сигаретой и смотрел в вагонное окно на пушицу, упрямо цветущую в тундре.

Все-таки мы тогда одолели ее. На одиннадцатый день нас увидели пастухи-саами, уводившие стада от границы к Ловозеру.

Сейчас я рылся в памяти и не мог сравнить ни с чем из прожитых послевоенных лет те одиннадцать июльских далеких дней.

Думал о Матвее Шульгине. В жизни человека случаются такие минуты, когда он приподнимается над обыденным и делает то, что с расстояния времени именуют подвигом. Еще думал о трех сухарях, съеденных самодовольным лейтенантиком...

После войны долго разыскивал Матвея Шульгина. Два года назад, когда перестал искать, встретил в сутолоке столичного вокзала.

Ко мне подошел большеголовый, усатый дядечка в синем топорщащемся плаще и зеленой велюровой шляпе. Лицо его от виска к щеке было изувечено бугристым шрамом. Он несмело поздоровался.

— Не признаете? — смутился дядечка.— Извините в таком случае. Выходит, обознался...

Он пошел прочь, знакомо ссутулив покатые плечи.

— Шульгин! — заорал я и кинулся вдогонку.— Матвей!

Я заставил его сделать остановку и затащил к себе.

— ...Напоследок меня под Прагой зацепило,— рассказывал Матвей.— Рядышком мина плюхнулась и из меня, считай, решето сделала. В госпитале доктора перепугались. Только я решил, что после войны помирать резону нет... Сам уж не знаю как, а выполз с того света на нынешний.

Матвей отхлебнул глоток вина.

— Кисленьким пробавляетесь, городские... У нас мужики уважают под железной пробкой... Побегали со мной напоследок врачи и сестрички, помытарились...

С войны Матвей привез полдесятка наград, шматок сала, сэкономленный на пайках, и крохотный осколок мины, застрявший возле аорты.

— Вырезать в госпитале хотели, не дал. Когда воевал, вроде пугаться времени не было, а тут, прямо тебе сказать, Вячеслав Иванович, страх меня взял. Вот так с немецким гостинцем и проживаю.

Из-за осколка Матвей был на инвалидности, получал пенсию и работал на легкой работе — кладовщиком в рыбацком колхозе.

— Справно живу,— рассказывал он.— Ребята на ноги встали. Трое у меня: два мужика и дочка. Алексей уже женатый, капитан дальнего плавания, этот год в Индию ходил, Саня — на апатитовом руднике, а Люся, младшая, в десятый класс пойдет... Дом недавно новый отгрохал, четыре окошка по лицу. Приезжай в гости, Вячеслав Иванович. Ты ведь мне вроде крестника.

Слишком долго я собирался в гости.

В Кожму приехал попутным катером. День был теплый и тихий, редкий для этих северных мест.

Село лежало в распадке между сопками на берегу порожистой реки. Вода в ней была прозрачна до изумления. В заводях, прогретых солнцем, метались стайки молоди. Босоногие рыболовы, как кулички, стыли с удочками на прибрежных валунах.

Мне показали новый дом с четырьмя окнами по фасаду, с высоким крыльцом и узорчатыми голубыми наличниками.

У крыльца толклось с десяток горестных, повязанных черными платками старух, ощупавших меня любопытными взглядами.

Третий раз я встретился с Матвеем Шульгиным. Он лежал в просторном гробу. После смерти он не вытянулся, был так же коротконог, широк в кости. Прядка пепельных волос старательно расчесана. Нос заострился, обкуренные усы колюче топорщились.

В ногах Матвея я увидел деньги. Двугривенные, полтинники, мятые рубли и единственную зеленую трешницу. Старый и стыдный обычай. Каждому, кто приходил проститься, полагалось положить деньги в гроб.

Я должен был положить в ноги Матвею Шульгину все, что имел, и этого оказалось бы мало...

Подушечка, наскоро сметанная из бархатного лоскутка, лежала в изголовье. На ней тускло блестела рубиновая Красная Звезда, орден Славы с залоснившейся муаровой ленточкой, пожелтевшие латунные кружочки «За оборону» — Заполярье, Ленинград, Москва...

Ко мне подошли двое. Я узнал — сыновья Матвея. Старший, с золотыми капитанскими шевронами на рукаве кителя, так же, как отец, коротконогий и плотно сбитый. Младший, в отлично сшитом костюме из темного крепа, смахивал больше на мать коротким, тупым носом и угловатыми скулами. Лица их были напряженными, в глазах, светло-ледянистых, таилась боль.

Я сел у гроба.

В комнату входили люди. Вздыхали, иногда крестились. Звенели мелочью, шуршали рублями, клали в гроб деньги. Старуха с розовым лицом и твердыми бескровными губами, наверное, родственница Матвея, разорвала душную тишину визгливым воплем:

Ненаглядный ты наш Матвеюшка,
Ждет тебя избушка небелена,
Жито сожато недоспелое!..

Капитан, побледнев лицом, смотрел на нее, перекатывая под бронзовой, обветренной кожей желваки.

К счастью, причитания старухи продолжались недолго.

В комнате было сумрачно, тесно и жарко. У стены стояли венки с бумажными цветочками, с непривычно широкими, как морские вымпелы, лентами. От родных, от правления колхоза, от сельского Совета, от друзей, от кого-то еще. К дому подходили и подходили.

Я вышел из комнаты. Близко раскинулось море. Светлое у берега, оно уходило вдаль, постепенно темнея. Горизонт был отчеркнут фиолетовой нитью, и непонятно — кончалась ли там вода или фиолетово начиналось небо. Медленные облака, похожие на белопарусные корабли, плыли в блеклой голубизне. На берег набегали утихомиренные волны, негромко шуршали окатышами гальки, расстилали по песчаным отмелям пенную воду, и хлюпали, всплескивая, бурунчики, у свай колхозной пристани. Чайки плавали на раскинутых крыльях, падали с высоты, беззвучно пробивая море.

На сопках, утыканных щетиной темных сосен, лежали языки еще не стаявшего снега, и в них полыхало солнце. Расселины были задернуты голубыми дымками. У подножья кудрявились полярные березы.

В низине за рекой цвела пушица, расходилась белоголовыми волнами, кланялась чуткая неслышному ветру.

Гроб несли на руках. Грузно покачиваясь, он плыл в воздухе. Менялись люди, поочередно подставляли плечи под жесткие ребра деревянного ящика, обитого кумачом.

За гробом, ухватив друг друга за руки, шли сыновья Матвея Шульгина. Сутулили, как отец, плечи и твердо, на всю ступню, ставили на каменистую землю крупные ноги. Шла заплаканная дочь в зеленом, не нашей работы, блестящем плаще. Размашисто вышагивала жена.

Потом о крышку гроба ударились горсти щебенки, и на земле прибавилась еще одна солдатская могила.

— Считалось, что он на легкой работе,— рассказывала на другой день жена Матвея, ненужно перебирая ка-

кую-то линялую тесемку.— Так это вообще говорится, а на деле ведь все от человека зависит. Иной и тяжелую работу на легкую перевернет, а у Матвея характер-то был... Кладовщик, а сам и ящики ворочал, и бочки катал, и трос целыми бухтами... Заругаюсь на него, а он одно: не шуми, мать... Теперь уже отшумелась.

Она гортанно всхлипнула, раздавила костяшкой пальца выкатившуюся слезу и продолжала:

— В тот день привезли бочки с соляркой для дизеля. Когда третью бочку на пристань поднимали, тали заклинило. Бочка-то и стала из стропов вылезать. Мужики ах да руками мах, а Матвей плечо подставил. Бочка в море ухнула, и он на доски пал, горлом кровь пошла... Врач мне потом объяснял, что от напряжения ему тот осколок сердечную жилу разорвал... День прожил. В памяти все время был. Наказал, в случае чего, вам телеграмму отбить. Не мог уж у смертушки из лап боле вырваться...

Она уронила на стол седую голову. Волосы рассыпались по клеенке с аляповатыми розочками. Плакала она долго, беззвучно, для себя...

Возле сарая Алексей, скинув капитанский китель, колол дрова. Топор взлетал над его головой, и кряжистые чурбаки разваливались под ударами. За оградой, возле бревенчатой двухэтажной школы с просторными окнами, ребята азартно гоняли футбольный мяч. У пристани негромко постукивал моторный бот. Сизые колечки дыма выплескивались из трубы и таяли в воздухе. На бот грузили сети...

Дома сын спросил меня:

— Пап, а ему солдатский памятник поставили?

— Почему солдатский? Война ведь давно кончилась.

Капитан «Сайды»

(Рассказ)

Справа по курсу тянулись сопки. Мешанина голых скал, без огонька, без человеческого следа. В распадках седели языки снега, хотя был уже июль — макушка здешнего короткого лета.

С другой стороны было темное, недобро взлохмаченное море. Из щели между тучами и фиолетовой отметиной горизонта лился сырой ветер. Он разгонял волны. Пароход болтался, как Ванька-встанька, до иллюминаторов окуная ржавый корпус с остатками военного камуфляжа.

Я возвращался из треста в поселок Загорное, где заведовал рыбокомбинатом.

В тресте снова устроили головомойку за невыполнение плана, отказали в заявке на ремонт и довольно убедительно разъяснили, что на пополнение рабочей силы в этом сезоне не стоит надеяться.

Я стоял в затишке у пароходной трубы, от которой веяло теплом, как от истопленной деревенской печки, смотрел на пустынный берег, на облака, цеплявшие лысые, отглаженные древним ледником макушки сопок, на тяжелую, чугунного отсвета, воду и думал о судьбе, сунувшей меня в здешние места, где летом не тает снег, а зимой два месяца не показывается солнце.

Год назад мне, инвалиду, с протезом на культе левой руки, выписанному из архангельского госпиталя через месяц после праздника Победы, больше всего хотелось спрятаться в глухом углу. Забиться, как покалеченному зверю, в нору и зализать раны. Хотелось уехать туда,

где никто бы не знал, что у меня два курса исторического факультета, что в войну я командовал взводом разведки и заработал три ордена, что отец и брат погибли на фронте, а мать, согнанная войной с родных смоленских мест в неведомую Кокчетавщину, умерла там то ли от голода, то ли от непосильной тоски.

Я тогда еще не понимал, что от себя человеку негде спрятаться. Даже в Загорном, крохотном рыбацком поселке, рассыпавшем на краю земли два десятка хилых домиков по песчаной, без единой травинки, косе между морем и гранитными сопками, с единственным причалом, осевшим на сваях, источенных морскими желудями-балянусами, сараем с брезентовыми засолочными чанами и салогрейкой с древним, украшенным медными заплатами котлом, в котором бородатый помор Игнат Добрынин ухитрялся топить жир из тресковой печени.

По ночам ныли несуществующие пальцы, обмороженные два года назад в снегу Муста-Тунтури, снились ребята из взвода и в ушах надоедливо звенел разрыв, отмахнувший напоследок почти по локоть руку горячим осколком.

Я понимал, что зря согласился заведовать рыбокомбинатом. Но обратный ход из-за собственного упрямого характера не мог дать и знал, что буду тянуть лямку, пока не вытяну воз или не надорвусь под грузом.

До войны комбинат в Загорном принимал в путину многие сотни тонн трески, сельди, пикши, жирного палтуса и белобрюхих, мясистых морских камбал. Теперь тонны превратились в жиденькие центнеры. Некому было привозить рыбу к приемному причалу, вдрызг износилась за войну промысловая снасть, барахлили много лет не ремонтированные моторы на ботах и елах.

Да и рыбы в море стало меньше.

— Треска покой любит, а ее столько годов бомбами да минами глушили,— втолковывал мне Игнат Добрынин.— В войну бабы ребятишек много мене рожают. И рыбешка — живая душа, тоже свой обычай имеет. Разбрелась куда-нито подале от шального смертоубийства и в разум еще войти не может.

Пассажиров на пароходе было мало. В районный центр направлялась стайка испуганных морем ремеслен-

ников в одинаковых долгополых ватниках. Добиралась к мужу-моряку молчаливая молодая женщина в шинели со споротыми петлицами. Ехало несколько здешних старух-поморок. Закутанные в толстые платки, они стыли на палубе, ревниво оберегая от ремесленников разномастные узлы и фанерные чемоданы, увязанные веревками с таким знанием дела, будто багажу предстояло кругосветное путешествие.

К вечеру, когда впереди показался плоский, как стол, остров, я увидел еще одного пассажира.

Высокий, с костлявым лицом, туго обтянутым блестящей, с неровным румянцем кожей, он был одет в грубо сшитую хламиду — нелепую помесь пальто и бушлата. Привычным в хламиде был только цвет — темно-зеленый колер немецкой шинели. На ногах пассажира были ботинки из просмоленного брезента с деревянными подошвами, звучно цокающими по железному настилу палубы. На голове же красовалась щегольская мичманка с блестящим козырьком, тонким кантом и кокардой с эмалевым треугольником вымпела рыбного флота.

Скользящей походкой человека, привычного к зыбкости судна, пассажир прошел к ремесленникам, позеленевшим от надоедливой качки.

— Что, ребята, море бьет? Ничего, скоро салмой пойдем. Там волны нет...

Салмой здесь называют пролив, отделяющий остров от материка.

Я подошел к новому пассажиру.

— Знаете места? Воевать довелось?

— Жил,— ответил он, повернув ко мне лицо, на котором выделялся тонкий нос и светлые, рублевской просини, глаза. Круги под набрякшими веками делали глаза неправдоподобно глубокими, устремленными внутрь.
— В Загорном до войны десять лет прожил. Оттуда и в армию мобилизовали. Теперь вот... еду.

— Выходит, попутчики. Остров пройдем, и считай, что дома.

— Да, часа три всего ходу останется... Где работаете?

— На рыбокомбинате.

— У Скрипова... У Александра Михайловича?

— Погиб Скрипов,— ответил я.— Прошлым летом. Вышел в море на рыбокомбинатском боте и наскочил на

бродячую мину. Всех в клочья... Жена с ребятишками весной из Загорного уехала.

— Да, новость... Тамару я тоже знал... Наверное, в Вологду подалась. Там у нее родня. Одной ребятишек не вытянуть. Трое ведь... Жаль Александра Михайловича. В путину, помню, неделями глаз почти не смыкал. Хоть и ругатель был порядочный, а душой человек отходчивый.

— Вы до войны на рыбокомбинате работали?

— Нет. Плавал... Шайтанов моя фамилия. Николай Матвеевич Шайтанов. Или уже не помнят?

— На «Сайде» капитанили? — спросил я, вспомнив рассказы Добрынина про довоенную жизнь в Загорном.

— Точно! — улыбнулся новый знакомый, и глаза его оживились.— Ничего ботишко. Складный и на волне устойчивый.

— И сейчас ходит. Григорий Ташланов теперь на ней капитанит. Дрифтерными сетями промышляет.

— Жива, значит, «Сайдушка»!.. Вот здорово! Вот...

Шайтанов не договорил. Вздернул головой, будто туго взнузданная лошадь, сипло втянул воздух, схватился рукой за грудь и торопливо отвернулся.

Кашлял он натужно и долго. В груди его клокотало, как в прохудившемся кузнечном мехе. Лицо побагровело, и пятна неестественного румянца отчетливее прописались на щеках.

Он изо всех сил старался перебить кашель. Нашарив вантовый трос, вцепился в него и сжал пальцы так, что побелели суставы. Кашель бил его до тех пор, пока на глазах не выкатились слезы. Потом внутри словно что-то прорвалось, и тело Шайтанова сразу ослабло. Он отнял руку от вант, выхватил из кармана платок и, прикрыв рот ладонью, плюнул в него.

Когда он прятал платок, я приметил на нем бледно-красное пятно.

— Ранение?

Шайтанов вскинул на меня покрасневшие глаза, с минуту помолчал, видно решая, стоит ли откровенничать с незнакомым человеком, затем коротко ответил:

— Плен... В сорок втором под Харьковом.

— Как?

— Обыкновенно... Скомандовали «Хенде хох!», и я

лапы вверх. В винтовке ни одного патрона, а они на бронетранспортерах накатили.

— Струсили?

— Ишь как вы словами сечете, аж искры летят. Вроде война вам тоже крепкую отметину оставила, должны понимать, что не все на ней просто. Не слыхал я еще, чтобы она, сучка, людей по головке гладила...

Шайтанов говорил, а у меня в голове упрямо вертелось то, что довелось видеть собственными глазами. Однажды, когда егеря прижучили нас возле Западной лицы, обложив с трех сторон, один мерзавец из моего взвода сделал «лапы вверх» и пошел в лощину, где немцы готовились к атаке. Я обалдело смотрел вслед, пока сообразил, что эта сволочь сдается в плен, и выпустил в него половину последнего диска. Пули тогда обошли его, и сейчас подумалось, что он, как Шайтанов, возвращается по какой-нибудь там дороге в свою нору. Жить ведь будет, по свету ходить. А нас тогда из взвода четверо уцелело.

— Врагу бы не пожелал те муки, которые довелось вынести,— тихо говорил Шайтанов.— Били в лагере. Один ефрейтор, рыжеватый из себя, с кривыми губами, все норовил прикладом по пояснице хрястнуть, чтобы нутро отбить... Потом с эшелоном в Рур, на шахты. Бутили камнем отработанные забои. Пять атмосфер давление...

Бывший капитан «Сайды» снова раскашлялся, и на платке появилось еще одно розовое пятно.

Мне было жаль этого высокого, крупного в кости и раньше, видно, сильного человека. Но это чувство мешалось с настороженностью и ощущением собственного превосходства. Я покосился на свою культю и с усмешкой подумал, что глупо считать, кому выше, кому ниже посадила отметину война. Однако доводы разума не всегда подчиняют чувства, и я смотрел на Шайтанова с неприязнью, невольно стараясь выискать в нем еще какой-нибудь изъян, чтобы осилить простую человеческую жалость.

— На шахте я эту штуковину и заработал. Весной вернулся домой, родная мать едва признала. Скриплю вот пока. В Загорное еду, чтобы на ноги встать.

— На юг вам нужно, поближе к солнышку.

— На юг при моей пенсии не разъездишься. Матери

на седьмой десяток перевалило. Сама возле огорода кормится, концы с концами внатяжку сводит.

— А в Загорном?

— Ребята выручат... Рыбьего жира вдоволь попью. Врачи говорили, что при моей штуковине рыбий жир самая полезная вещь. До осени поживу в Загорном, а там посмотрю дальше. Или работать буду, или на зиму в деревню уеду. Рыбьего жира с собой увезу... Верные кореша у меня в Загорном... Ванюшка Заболотный, братья Баевы, Сашка Журавлев, Алеша Жданов...

Шайтанов загибал пальцы, перечисляя друзей, которые — он верил — выручат из беды. Вдоволь напоят целебным жиром, дадут приют, окажут помощь. Бывший капитан «Сайды» будет приходить к причалу и встречать друзей с промысла. Стоять на упругом чистом, как родниковая вода, морском ветре, смотреть, как швартуются мотоботы и елы. Слушать скрип блоков под грузными ящиками с рыбой, крики «вира» и «майна», шуточки бойких девчат-рыборазделыщиц. Будет досыта хлебать обжигающую рот рыбацкую уху «по балкам», седую от накрошенной печени, бродить по полосе отлива, плотной, как асфальт, смотреть на чаек и сутолошных кайр, уходить в сопки, где стынут в гранитных чашах аквамариновые озера, в которых отражается беззакатное летнее солнце.

Когда зарубцуется «эта штука», он снова станет за штурвал мотобота...

В глазах Шайтанова, разгоряченного рассказом, снова прописалась рублевская просинь, и улыбка раздвинула шершавые, бескровные губы.

Шайтанов считал дружков, а я до боли сжимал единственный кулак. Тех, кого называл капитан «Сайды», в Загорном не было. Братья Баевы — все трое — погибли на войне, их полуслепая от горя мать едва бродила по поселку. Убиты и баянист Алеша Жданов и мастер по приемке рыбы Заболотный. Саша Журавлев вернулся с войны на костылях и теперь, по слухам, заведовал клубом в дальнем карельском лесхозе.

— Писали, что едете?

— Не писал... Свалюсь как снег на голову. Они же меня мертвым считают. Матери еще в сорок третьем похоронка пришла... Вот удивятся!

В словах бывшего капитана «Сайды» звучала такая вера, что я не нашел в себе сил сказать ему правду.

В Загорном я оставил Шайтанова на берегу, недоуменно разглядывавшим безлюдный рыбокомбинатский причал, латаные карбасы, кинутые без ухода, и остов поселкового клуба, развороченного при налете «юнкерсов», не забывавших в войну освободиться над Загорным от лишней бомбы или пары пулеметных магазинов.

Я ушел в контору, где было мое жилье. За шкафом с тощими пыльными папками стояла железная койка, а под ней чемодан с имуществом. Имелся у меня еще жестяной чайник, казенный графин со стаканом, котелок и объемистая, литра на два, алюминиевая фляга.

Что же теперь Шайтанов будет делать? Снова придется ему тянуть «лапы вверх». Это такая штука — раз с собой не совладаешь и покатишься под горку. Завернет, наверное, он следующим рейсом обратно в деревню и недолго протянет там на сухой картошке. Каждому война предъявляет счет и заставляет расплачиваться по нему полновесной монетой.

Ночью я не мог заснуть. Ныла растревоженная в поездке культя, и ломило несуществующие пальцы. Я ворочался и зло думал, что из-за таких, как Шайтанов, война обошлась остальным дороже.

На другой день ко мне пришел Добрынин и хмуро сказал, что самовольно взял бутылку рыбьего жира.

— Как вы могли, Игнат Ильич? Мы ведь ни капли не можем на сторону отпустить.

— Не для себя взял.

— Для Шайтанова. У него туберкулез, и ему надо пить жир.

— Во, во! — обрадовался старик, не уловив жестких ноток в моем голосе.— Николахе и споил... Вчерашней ночью он всего два раза кашлял. Откуда знаешь-то?

— Вместе на пароходе ехали... Ты поинтересовался, как он болезнь заработал?

— В плену был.

— Вот именно — в плену. А куда наш жир идет? В госпитали, где еще лежат те, кто с фашистами дрался, себя не щадя, в детские дома, где надо поднять сирот. Разницу между ними и Шайтановым угадываешь?

— Вину, значит, на Николаху положил... Судить легче легкого, Виктор Петрович. А ты сосчитай, сколько он до войны на «Сайде» трески наловил и сколько я из той трески жиру вытопил. Тонны! Не сам его выпил — людям отдал. Теперь, когда у него беда вышла, мы спиной поворотимся? Фашисты, мол, тебя не добили, так мы напоследок к земле пригнем. Я его возле причала встрел. Стоит одинешенек, в глазах слезы до краев. Попросился ко мне до обратного рейса. А не попросился, я бы его за руку привел. С пацанов ведь Николаху знаю, с самых корней... Посуди — ехал он сюда не ждан, не зван, со своей бедой, а здесь вместо помоги его другая беда огреет. Не добраться ему обратно в деревню. Или сляжет, или руки на себя наложит.

— Не наложит он руки... Кишка для такого слаба.

— Ты своей мерочкой всех не меряй, Виктор Петрович. Доведись тебе на его месте оказаться, неизвестно, что бы ты сделал.

— Известно, Игнат Ильич... Вот в том-то и дело, что известно... Отпускать рыбий жир мы не имеем права. Ты знаешь инструкцию о поставке рыбопродуктов. Если возьмешь еще одну бутылку, я передам дело прокурору.

Рука Добрынина перестала мять шапку, легла на стол и ухватила мраморное пресс-папье.

«Сейчас он меня огреет»,— подумал я, невольно напружинивая тело. Но Добрынин отставил в сторону пресс-папье и положил передо мной четвертушку бумаги. Это было заявление с просьбой отпустить десять килограмм рыбьего жира бывшему работнику рыбокомбината Шайтанову Н. М., страдающему заболеванием легких по вине фашистов.

— Все теперь на фашистов будем валить... Удобно придумано,— сказал я, прочитав заявление.

На заявлении следовало написать резолюцию. Короткую и ясную — «Отказать». Черкнуть карандашом, и в сторону. Ударить Шайтанова резолюцией покрепче, чем тот ефрейтор, который хотел ему прикладом отбить нутро. Да, положил я вину на Шайтанова. Но у каждой вины есть своя мера ответа.

— Тебе подано,— напомнил Добрынин.

Он сидел передо мной, широколицый, с глубокими морщинами на лице, с темной, как сыромять, кожей.

— С отцом Шайтанова мы вместях в Норвегу ходили. В восемнадцатом году он волисполкомом заправлял. Парня я не брошу. Мы от веку здесь тем и спасались, что друг дружку выручали... От такого инструкцией не загородишься.

— Думаешь, инструкции боюсь?

Инструкции я в самом деле не боялся, хотя ее параграфы грозили взысканием стоимости отпущенного жира в десятикратном размере. Расплатиться было просто. Уже год копилась моя зарплата, которую в Загорном тратить было некуда. Останавливало другое — десять килограмм жира, которые я отпущу Шайтанову, не попадут тем, кто не меньше нуждается сейчас в целебной пахучей жидкости.

— Передай, что директор рассматривает,— сказал я помору и выпроводил из кабинета.

Потом подошел к окну и стал смотреть на залив. Было время отлива. Серая полоса литорали, испятнанная темными валунами и мелкими лужами, опоясывала край песчаной косы, на которой располагался поселок. На отливе табунками белели чайки. В небе медленными кругами ходил остроклювый поморник, подстерегая, когда чайка отобьется от стаи. Тогда поморник камнем кинется на птицу, собьет ее и, пока другие опомнятся, унесет в потайную гранитную щель.

Низко катились облака, набухшие влагой.

«Чайка ходит по песку, рыбаку сулит тоску»,— вспомнилась поморская примета. Я погладил ноющую культю и подумал, что к ночи наверняка задует морянка.

Штормило пять дней. Морянка зло пластала о берег тяжелые волны. На сигнальной мачте темнел знак штормового предупреждения. Ни один бот за это время не причалил к рыбокомбинату. Раздельщицы сидели в закутке за посолочными чанами, ругали погоду и вязали кружева.

Торчать без дела в конторе было невмоготу, и я отправился на салогрейку.

Игната Добрынина я увидел возле холодного котла.

— Третьеводни последнюю партию истопил,— сказал он.— Вроде утихать собралась моряночка. Утром приме-

тил — кайры в голомень, в море потянулись. Глядишь, через день-другой и рыбешку подвезут. Заявление как?

— Лежит. Что я буду писать?

— Нечего,— неожиданно согласился помор.— Кабы твое было, хочу — дал, хочу — отказал. Ты к государственному приставлен. Тут твоей воли нет. Так я Николахе и растолковал, чтобы он другого чего не подумал.

Мне стало неловко за разговор в конторе. Игнат Добрынин не принял моего главного довода и пытался помочь мне выпутаться из затруднительного положения, упирая на формальную сторону вопроса. Инструкция в самом деле не позволяла удовлетворить просьбу Шайтанова.

Легче мне от таких мыслей не стало.

— Как твой постоялец?

— Сегодня к цадуну отправился чернику собирать... Всю ночь в баночку плевался. Взялись дрова пилить, едва одно бревно одолел. За пилу держится, а боле от него пользы нет... Такую муку человек вынес, а на своей земле в гроб ляжет... Закури, Виктор Петрович, развей душу.

Мы свернули цигарки и присели на порожек салогрейки, пропитанной неистребимым кисловато-горьким запахом ворвани. За многие годы он въелся в стены, в клепаные швы жиротопного котла, в бочки, в ящики, в канаты подъемного ворота и в щели пола из темных пропитанных салом досок, которые не брала ни гниль, ни червоточина.

— После такой морянки должна рыба в ярус идти,— сказал Игнат Добрынин.— Хочу на промысел съездить.

Я с удивлением поглядел на салогрея. Страдая от жестоких приступов ревматизма, Добрынин уже года три не выходил в море, балуясь иной раз удочкой на заливе, где за полдня можно было запросто натаскать десяток-другой камбал и мелкой пикши. Для того чтобы взять рыбу ярусом, нужно идти километров за десять от поселка в открытое море. Одному на карбасе такое опасно и непосильно.

Словно угадывая мои мысли, Добрынин притушил цигарку, бережливо спрятал окурок за отворот шапки и добавил:

— Другого, Виктор Петрович, все равно не выдумаешь. Как, говорят, не вертись, а спина позади останется...

— Ты понимаешь, что задумал?

— Как не понимать. Век у моря прожил, знаю, что шутки с ним шутить нельзя. Только ведь и то понимаю, что тебе себя не переломить. Для тебя Николаха — из плену пришел, вот и весь разговор. Пятно ты снять с него не сможешь.

— Не смогу. Вот это мне его беленьким сделать не позволяет,— ответил я, хлопнув о косяк двери протезом.— Ребята, которые остались лежать в скалах из-за такого, как Шайтанов.

— Крепко тебе, Виктор Петрович, война душу ушибла. А меня не отговаривай. Знаешь мой характер — задумал, так сделаю. Спокоя мне до конца жизни не будет, если сейчас на промысел не схожу.

— В пару кого возьмешь?

— Некого брать... Одному идти придется. Парусишко у меня еще надежный. Поветерь падет, дак справлюсь.

— А если встречный ветер?

Добрынин ничего не ответил. Ушел в глубь салогрейки и принялся ворочать тарные ящики, давая понять, что продолжать разговор бессмысленно.

Спорить в самом деле было не о чем. Если Добрынина прихватит встречный ветер, к берегу он не выгребет, и тогда рыбокомбинат, вдобавок ко всему, лишится салогрея. Другого мастера, знающего тонкости этого хитрого дела, не найти не только в Загорном, но и на всем побережье.

Подвалил забот капитан «Сайды»...

От салогрейки, стоящей на краю поселка, ноги вдруг сами собой понесли меня по берегу, туда, где километров за пять был водопад. Падун, как называют его в здешних местах.

Хилая тропа лепилась по склонам сопок. Прыгала с одного гранитного уступа на другой, обрывалась на щебеночных осыпях, ныряла на дно сырых, с отвесными стенами, расселин.

Ноги оскальзывались на мокрых лишайниках, ветер коварно подталкивал в спину, хрупкие ветки воронични-

ка, стелющегося по камням, были зыбкой и неверной опорой.

Идти к падуну не было нужды. Я уже хотел повернуть назад, остановившись перед расселиной, преградившей тропу, как вдруг на дне ее увидел Шайтанова. Распластавшись на камнях, он лежал неподвижно. Рядом с ним валялся берестяной короб-кошель, наполненный черникой. Кошель, наверное, уронил, потому что темные ягоды просыпались на замшелом валуне.

«Чего это он?» — подумал я, рассматривая лежащего капитана «Сайды». Глаза скользнули в сторону и приметили на тропе, чуть не отвесно взбирающейся по стене расселины, косые царапины, вороничник, сорванный с гранита, и осыпавшиеся камни. Я догадался, что Шайтанов не мог осилить подъем. Не один раз, видно, пытался выбраться из расселины, соскальзывал вниз и вконец ослабел.

Я негромко окликнул его. Шайтанов сел на камень и принялся отряхивать с ватника бурую торфяную грязь.

— Передохнуть решил малость,— сказал он, когда я оказался рядом с ним в щели.— С утра ходил, ноги по скалам исхлестал, вот и притомился. Место ягодное подвернулось. Кошель под самый край набрал. А вы к падуну подались?

— Нет. Промяться немного решил. В такую морянку на комбинате все равно делать нечего. Давайте кошель, пособлю.— Я протянул руку, чтобы взять у Шайтанова поклажу, но он решительно отказался от моей помощи.

— Сам донесу... Не стоит вам с такими, как я, пачкаться.

— Как так пачкаться?

— А так... Вроде прокаженный я теперь для всех. Игнат Добрынин, может, сейчас в Загорном для меня один и остался. Чем сажей мазать, разобрались бы, как я в плен попал.

— Вы же сказали — «лапы вверх».

— Дружка я на себе нес, Сашку Стрепетова. Обе ноги у него были прострелены. Четыре дня по лесам на горбу таскал. Просил он меня кинуть, а я не мог. Не мог его оставить, и все тут... Пристрелили Сашку в лагере. Всех добивали, кто своим ходом идти не мог.

— Что же вы раньше не сказали?

— А вам слова нужны? Рассказал, кому надо было знать. У меня и бумажка с печатью имеется. Да что тут говорить. Выходит, я вроде как оправдываться хочу.

Шайтанов поднялся, надел на плечи лямки кошеля и стал взбираться по крутой тропе. Руки его впивались в крохотные расселины, ноги находили невидимые опоры, медленно, сантиметр за сантиметром, поднимая его на крутой подъем. Как у Шайтанова нашлись силы одолеть почти отвесную пятиметровую стену, я не мог понять. Наверное, помог мой взгляд, который он ощущал спиной, затылком, всем своим существом. Втайне я хотел, чтобы капитан «Сайды» оступился на подъеме. Тогда ему уже пришлось бы принять мою помощь.

Возвратившись в Загорное, я пришел к Добрынину и заявил, что пойду с ним в море, как только утихнет морянка.

— Вишь, как решил дело повернуть,— качнул головой Игнат Ильич.— Рисковый ты мужик.

— Ярус в колхозе попросим и махнем.

Добрынин поглядел на мой протез:

— Ты к рулю сядешь, а я на весла. В случае чего и встречный ветер осилим. Присказка у нас такая есть — богу молись, а к берегу гребись. Сказывал мне Николаха, как вы с ним повстречались.

Морянка стихла через два дня. Заголубело небо, вода на заливе успокоилась, и чайки снова стали носиться возле причала рыбокомбината, сутолошно ссорясь из-за каждой тресковой головы.

Я пришел к Добрынину. Старик сидел возле ящика и наживлял крючки, аккуратно, одна к одной укладывая петли яруса.

Возле него стоял Шайтанов. Он хмуро поздоровался со мной.

— Не дело задумали... На дырявом карбасе в море идти.

— Ухи свеженькой захотелось, Николаха,— поморгав мне, заговорил Добрынин.— И директор пусть поглядит, как в море рыбку достают. В конторе ему бумажки этот вид загораживают... У нас с ним давно уговор, чтобы в море на промысел сходить. Верно, Виктор Петрович?

— Да,— соврал я, понимая нехитрую уловку старика.— Был уговор, а время не хватало. То дела, то командировка.

— А сейчас в самый раз,— снова заговорил Добрынин.— И дел еще сверх головы нет, и погодка наладилась. Привезем небось на уху.

— Не верти, Игнат Ильич. Для ухи с ярусом не ходят... Промышлять надумали.

— А хоть бы и так... На зиму тоже надо о припасе позаботиться. И Виктор Петрович не святым духом питается.

— Уж вам-то совсем ни к чему в такое дело путаться.

Шайтанов резко повернулся и уставился на меня немигающими глазами. В них я увидел гнев, растерянность и немую благодарность. Что из того было главней, я не мог сообразить.

— Как-нибудь сам разберусь, во что мне путаться,— перебил я Шайтанова и уселся рядом с Добрыниным готовить ярус.

Николай топтался возле нас. То уговаривал отказаться от рискованной затеи, то молчал, то пытался помогать.

— Ладно,— сказал он напоследок.— В сторону вас не своротишь. Я тоже в море пойду. Потонем, так за компанию.

Он настоял на своем, и в море мы вышли втроем. Отлив быстро вынес карбас из реки. На заливе Добрынин поставил парус, и, хлюпая тупым носом, наше суденышко бойко пошло напрямик к Крестовому наволоку, за которым открывалось море. Часа через три, высмотрев какие-то известные ему приметы, Добрынин скомандовал убрать парус.

— Хорошо дошли. Здесь будем выметывать... Ловись, рыбка, маленькая и большая.

Метр за метром уходил в воду ярус — веревка с крупными крючками. Лег на дно лапчатый якорь-дрек, и на пологих волнах закачался пробковый буй с выцветшим лоскутом на шесте.

То ли знал старый помор, где выметывать ярус, то ли в самом деле после шторма рыба хорошо брала наживку, улов оказался добрым. В ящики одна за другой полетела

увесистая, с мраморными разводами треска, крупная пикша и тяжелые палтусы. Пятнистые зубатки рвались с крючков и, вытащенные из воды, зло хлестали хвостами.

Мы не выбрали и половины яруса, а оба ящика оказались полными. Теперь бросали рыбу на дно карбаса, заталкивали ее под сиденья. Спотыкались о нее, в рыбацком азарте накалывались на крючки, путались в осклизлой снасти. Вперебой, словно кто-то нас подгонял, кидались к каждой рыбине, всплывавшей за бортом.

Когда ярус был выбран, Добрынин оглядел улов и сказал довольным голосом:

— Вот пофартило так пофартило. Пудов тридцать взяли.

— Сказать кому — не поверят,— откликнулся с носа Шайтанов, выбиравший якорный трос.

Лицо капитана «Сайды» посветлело, разгоряченное привычной работой. Он был рад хорошему улову, тихой погоде и крикам чаек, хватавших чуть не из рук мелкую рыбу, которую мы выбрасывали за борт. В просине глаз очистились донца, и взгляд стал оживленным. Сбив на затылок теплый треух, Шайтанов ладными движениями сматывал сырой трос, укладывая его в ровную, кольцо к кольцу, бухту.

Добрынин откидывал в корму рыбу, освобождая место для гребли.

— Ты, Николаха, садись за руль, а мы с директором помахаем на пару веслами, пока попутный ветер сподобится.

Придерживая протезом валек весла, я опускал его в воду, откидывался корпусом и с силой тянул на себя. Затем поднимал, наклонялся, снова отпускал. Вперед-назад, вперед-назад, раз-два, раз-два.

Рядом со мной так же мерно кланялся Игнат Добрынин.

Скрипели деревянные уключины. При каждом гребке вода раздвигалась под тупым носом карбаса и, прожурчав вдоль бортов, смыкалась за кормой. Море окружало нас со всех сторон. Большое, равнодушное и такое одинаковое, что негде было зацепиться глазу, приметить, что наши гребки двигают карбас.

От усталости ломило плечи, а берег, казалось, не приближался. Словно вода схватила нас в невидимые объятия и не хотела отпускать с добычей.

Сизую хмарь, которая начала вспухать над Крестовым наволоком, первым заметил Шайтанов.

— Похоже, шелоник собирается, Игнат Ильич,— обеспокоенно сказал он.

Добрынин повернулся на скамейке и с минуту вглядывался в низкое облако, на глазах распускавшее дымчатые перья.

— Шелоник, леший его бери... Налегай теперь, Виктор Петрович. Надо поспеть в залив завернуть. Ты, Николаха, доставай запасные весла и садись во вторую пару. Сколько поможешь, и то ладно.

Шелоник был грозой здешних мест. Накопив тугую силу над бескрайними тундровыми болотами, он взметывал над прибрежными копками такие вот невинные облака и, в одночасье перевалив горы, с разбегу падал в море. Бил воду тупыми порывами, разгонял волну, рвал паруса и сбивал суда с якорей. Облака расползались по небу из края в край и проливались густым дождем.

Кому удавалось выстоять против волн, тот в слепом дожде налетал на прибрежные каменные луды. Кому удавалось миновать их, шелоник отбивал с изодранными парусами в простор северного моря, откуда уже не хватало сил достичь гавани. Для карбаса в открытом море шелоник означал смерть.

Первый удар ветра настиг нас, когда мы огибали Крестовый наволок. Жалобно скрипнула мачта, заполоскал, вытянувшись струной, конец троса. Вода на мгновение сжалась и тут же тяжело колыхнулась, вмиг украсившись бегучими злыми барашками. Карбас застыл, словно наткнувшись на невидимую преграду. Весло вертанулось в моей руке, сбилось с ритма, сорвало гребень волны и окатило нас холодными брызгами.

Добрынин крутнулся и зыркнул яростными глазами.

— Навались! Навались, говорю... Сколь можешь, жми!

Руки, казалось, вывернутся из суставов, переломится позвоночник и лопнут, как гнилые нитки, до предела напряженные сухожилия.

Я не мог понять, откуда берутся силы у Добрынина. Безостановочно, словно был машиной, старый помор вскидывал весло, расчетливо опускал его в воду и делал очередной пружинистый гребок.

Мы сдерживали груженый карбас против ветра. Но вперед не подвигались.

Шайтанов совсем выдохся. Весла в его руках ходили вяло, и их сбивали набегавшие волны. Капитан «Сайды» горбился, понимая, что помощи от него нам нет.

— Навались, Петрович! — повернув ко мне мокрое от брызг лицо, сипло говорил Добрынин.— Христом богом прошу, навались, сколь мочи есть. Не выгребем сейчас — потонем...

Я понимал, что случится, если мы сейчас не сумеем завернуть в залив. Ветер крепчал, и нас вот-вот могло понести в море. Все, что оставалось у меня, я вкладывал в отчаянные гребки. Шайтанов кинул весла и схватил пудового палтуса, который лежал у его ног. Не успел я сообразить, как палтус плюхнулся в воду. За ним полетела треска. Одна, вторая, третья...

— Ты что! — заорал Добрынин.— Зачем улов губишь!

Шайтанов, словно не слыша старика, выкидывал рыбу за борт. Его надо было схватить в охапку, притиснуть к скамье, но наши руки были заняты веслами, которые нельзя было оставить и на мгновение.

Мы кричали, ругали Шайтанова, уговаривали его — все было бесполезно. Через десять минут рыба, лежавшая навалом, оказалась в воде.

Карбас приметно поднялся бортами, и грести стало легче. Крестовый наволок начал наконец медленно сползать к корме.

Шайтанов подвинулся к ящикам, где была сложена отборная треска, и уцепил за жабры верхнюю рыбину.

— Не дозволяю! — выкатив глаза, заорал Добрынин. —Не касайся улова, Николаха!.. Да греби же ты! Присох, как лишай... Он же из-за нас рыбу губит.

Я греб до красных огоньков в глазах. Чувство смертельной опасности прибавляло сил. Вся воля сконцентрировалась только на одном — выгрести. Выстоять против ударов шелоника, добраться до берега. Злая, упругая ярость борьбы переполнила меня. Так случалось, помнится, на фронте при броске через немецкие траншеи, при схватках, когда надо было кинуться на автоматы и разорвать смертное кольцо.

А я-то в ночных думах считал, что фронт выпил меня до конца, выжал силы до последней капельки.

Шайтанов кидал рыбу за борт. Когда опустел один ящик и капитан «Сайды» стал подбираться к другому, Добрынин изловчился, пропустил гребок и ногой оттолкнул Николая к сиденью.

— Опомнись! Для тебя ведь рыбу промышляли.

— Знаю! — крикнул Шайтанов.— Не выгребете ведь...

Упираясь руками в борт, он стал подниматься с сиденья, уставясь на Добрынина неподвижными тусклыми глазами.

Приступ кашля опередил его. Заставил схватиться за грудь, упасть без сил на скамейку.

Мы выгребли и привезли в поселок полсотни килограммов трески. Выпотрошив ее, Добрынин собрал печень и натопил литра полтора рыбьего жира.

Я и Шайтанов сидели на порожке салогрейки и смотрели, как Игнат Ильич осторожно сливает жир в мою алюминиевую флягу.

— И вот еще... Получишь на складе.

Капитан «Сайды» покрутил в руке собственное заявление, на котором стояла моя резолюция, усмехнулся и возвратил обратно.

— Не надо, Виктор Петрович. Теперь уже не надо. Что я буду вас под прокурора подводить... Хорошо мы на промысел съездили. Это главней любой резолюции... Завтра с рейсовым в деревню махну. Поглядим еще, кто кого... Верно ведь?

— Верно,— ответил я и разорвал подписанное заявление, понимая, что на склад Шайтанов не пойдет.

— Зря торопишься, Николаха,— вступил в разговор Добрынин.— Еще бы разок в море махнули. Промысел ведь такое дело, раз на раз не приходится. Не всякий день шелоник задувает. Правильно я говорю, Виктор Петрович?

— Правильно,— откликнулся я и полез в карман за папиросами.

Мне тоже не хотелось, чтобы Шайтанов уезжал в деревню. На промысел мы, в самом деле, сходили неплохо. Уже три ночи я не ворочался на жестком матрасе от бессонных дум. Ложился вечером и, едва коснувшись подушки, проваливался в убаюкивающую темноту и утром вставал с постели с ясной головой.

Музы́ка полковая...

(Рассказ)

Податливый от многодневного пекла асфальт и бетонные стены пятиэтажных домов полыхали, как истопленная печь. Автомашины стреляли облачками бензиновой гари. Она мешалась с пылью, с прокаленным до наждачной шершавости воздухом, удушливо лезла в лицо и выжимала липкий пот.

Возле продавщицы газированной воды, краснолицей и распаренной, томилась очередь жаждущих хоть единственного глотка обманчивой и скоротечной прохлады.

В жидкой тени подстриженных кустов маленького сквера, впечатанного в асфальт городской площади, лежала, вывалив из пасти красный лоскут языка, бродячая собака. Лишь присмотревшись, можно было угадать, что она еще не околела от нестерпимой июньской жары.

В чахлых акациях, обступивших сквер, босоногие мальчишки добывали стручки и мастерили визгливые пищалки. Звуки их заставляли вздрагивать Сергея Витальевича, как от озноба.

Уже часа три он одиноко сидел на скамье и потерянно думал о нелепости собственной затеи, которая заставила тащиться чуть не за тысячу километров в город Приреченск, где он когда-то прожил всего четыре дня.

Голова раскалывалась от жары, от бессонной ночи на боковой вагонной полке, где проходящие цепляли узлами и чемоданами, а не в меру старательный проводник каждые полчаса выкрикивал над ухом названия очередных станций.

Хотелось пить. Но мысль, что для этого надо выйти на солнцепек и торчать в хвосте раздраженных, дуреющих от жары людей, заставляла одолевать острое желание.

Очередной раз спасаясь от наскоков солнца, Сергей Витальевич передвинулся на край скамьи и переложил с места на место чехол с баритоном.

Пятьдесят лет прошли рядом инструмент циммермановской доброй работы, с лебединым изгибом певучей трубы, и его хозяин, капитан в отставке Узелков. Немалая была та жизнь. Первые парады красноармейских рот. Шеренги бойцов в шинелях с малиновыми «разговорами» на груди, мушкетерскими, длинными, чуть не по локоть, остроконечными обшлагами. Вальсирующие пары на танцевальных площадках военных клубов, праздничные марши парадов и колонны старательно топающих ополченцев сорок первого года. Была стрелковая дивизия, форсировавшая почти тридцать лет назад здешнюю реку и штурмом освободившая Приреченск. На городской площади, где сидел сейчас Сергей Витальевич, шли, уполовиненные после атак, батальоны и им играл военный оркестр...

Не было тогда здесь ни пятиэтажек, ни сквера с акациями, ни киоска с газированной водой, ни здания городского Совета с красным флагом на нарядном фронтоне.

Облезлая собака, спавшая под кустом, зевнула, поднялась и пошла мимо скамейки. Желтые глаза ее заискивающе косили на Сергея Витальевича. Добрый пес чуял неприютность одиноко сидевшего человека и деликатно напрашивался в компанию.

Сергей Витальевич усмехнулся, ощутив вдруг желание встать и брести вместе с псом куда глаза глядят. Выбраться из душного пекла городских улиц и очутиться на просторе полей у реки. Устроиться там в прохладной тени и по-солдатски разделить с бездомным компаньоном пару бутербродов, прихваченных в станционном буфете. Затем возвратиться в город, где прожил жизнь, где все было просто и ясно.

Все случилось неожиданно. Полгода назад Сергея Витальевича уложил в больницу приступ астмы. Врачебная комиссия категорически запретила играть на баритоне.

— Считайте, товарищ Узелков, что за пятьдесят лет вы уже все сыграли,— сказал очкарик-доктор, председательствовавший в комиссии.— Устанавливаем вам вторую группу. Баритон придется продать, или скажите жене, чтобы положила в сундук под крепкий замок.

Жена Сергея Витальевича умерла пять лет назад, а продать баритон он не мог. Да и не все еще было сыграно. В шкафу, на дальней полке, лежали ноты марша. Единственной вещи, написанной им за долгую жизнь.

После выхода из больницы дружки-музыканты из оркестра театра, где он проработал почти два десятка лет, затащили Сергея Витальевича в павильон городского сада и уставили стол пивными бутылками.

— Теперь тебе не жизнь, а рай, Сергей.

— Точно! Настроил удочки — и топай на Хопер за язями.

— На Малкинском кордоне клев сейчас — закачаешься!

— Солнце, воздух и вода — лучше всякого труда... Жми на заслуженный отдых.

— Никаких тебе забот...

Сергей Витальевич тянул горьковатое пиво, слушал неестественно оживленную болтовню дружков, а в голове упрямо вывертывались страшненькие слова: «Никаких тебе забот».

Как у лопуха под забором.

Возвратившись из павильона, Узелков достал папку, где лежали ноты марша, и понял, что немедленно должен ехать в далекий Приреченск.

Стрелка электрических часов добралась наконец до нужного деления. Узелков, одернул пиджак, измявшийся за длинную дорогу, и подхватил чехол с баритоном. Знакомая тяжесть инструмента успокоила смятенность мыслей, и Сергей Витальевич решительно зашагал к подъезду городского Совета.

В кабинете председателя окна были затенены от солнца сиреневыми шторами и гудел, как муха бьющаяся о стекло, электрический вентилятор. Лопасти его старательно месили воздух, не прибавляя ни капельки прохлады.

Председатель горсовета удивленно поглядел на папку с оттиском лиры на блестящем дерматине и вскинул на посетителя светлые глаза под густыми, курчавыми бровями. Рука, державшая карандаш, остановилась на полпути. Черные головастики нотных знаков, раскидан-

ные по линейкам, были загадочны, как клинопись на музейных черепках.

Уловив замешательство, Сергей Витальевич пояснил:

— Это марш... Марш на освобождение Приреченска.— Откашлялся, привычным движением растопыренных сухих пальцев поправил очки и добавил: — Узелков... Бывший капельмейстер стрелковой дивизии.

— При чем тут стрелковая дивизия? У нас же горсовет...

В день личного приема к председателю приходили просить жилую площадь, требовать ремонта протекающей крыши или благоустройства какого-нибудь окраинного тупика.

Но с жильем в Приреченске пока было туго, грязь после дождей разливалась в добром десятке тупиков и крыша протекала тоже не в единственном доме. Поэтому чаще всего Сакулину приходилось, отводя в сторону глаза, говорить об ускоряющихся темпах жилищного строительства, о перегрузке дорожного треста и о недостаточных ассигнованиях на ремонтные работы.

Если посетители обижались и называли Сакулина бюрократом, Иван Павлович тихонько вздыхал и не обижался, считая это штатным неудобством должности, которую занимал уже десять лет и с которой он бы с радостью ушел на прежнее место руководителя архитектурной мастерской.

Сейчас он смотрел на папку с нотами и не знал, что сказать неожиданному посетителю.

Память вытянула из-под спуда времени октябрьский дождливый день давнего сорок третьего года. Словно наяву возникли дымные глазницы разбитых домов, кислая гарь воронки, тупорылая машина, лежавшая на перекрестке вверх колесами, а возле нее блин растоптанных бумаг. Вспомнился звон простреленной каски, скатившейся с кучи битого кирпича под ноги десятилетнему Ванюшке Сакулину, пробирающемуся напрямик через развалины туда, где играл оркестр.

В городе, исхлестанном снарядами, бомбами и пулеметными очередями недавнего боя, где еще дымились пожары и валялись в развалинах неубранные трупы в зеленых и серых шинелях, звуки оркестра были столь не-

обычны, что к Садовой улице бежали, тащились, шли все, кто уцелел, отсиделся от смерти в подвалах, в щелях и потайных местах.

Ванюшка Сакулин, по-мальчишески верткий, оказался у самого крыльца Дворца культуры, развороченного фугаской.

В пяти шагах от него вершилась музыка. Барабанщик в шинели с подпалиной на боку размахивал колотушками и громыхал раскатисто-звонкими тарелками. Напрягая губы и скользя по клапанам умелыми пальцами, играл на трубе молоденький круглолицый ефрейтор. Степенно ухал контрабас усатого солдата в порванной ушанке, гремели тромбоны и валторны.

Этим невиданным чудом, заставившим сжаться от восторга мальчишеское сердце, управлял невысокий ростом, узкоплечий человек в шинели с мятыми капитанскими погонами. Он казался Ванюшке сильным и добрым волшебником, какие живут только в сказках, спасают людей от смерти, бед и страданий.

У капитана были круглые очки. Дужка, обмотанная медной проволокой, плохо держала, и очки сползали на нос. Улучив паузу в музыке, капитан поправлял очки растопыренными пальцами. Этот обыденный жест помогал Ванюшке, заставлял верить, что все происходящее реально. Что это не сон, а явь.

С крыльца, засыпанного битым стеклом и рваными листами горелого железа, лились торжествующие, праздничные звуки. Они наполнили душу так тесно, что стало трудно дышать, и принесли неожиданное облегчение. Слушая звучные марши, Ванюшка вдруг забыл, что дома нет ни капельки еды, что мать едва поднимается по утрам, что в сыром подвале вторую неделю не топили печурку. Впервые за много месяцев он поверил, что кончится война, возвратится с фронта отец, будут в магазинах продавать хлеб и ребята снова пойдут в школу.

— Так это вы тогда играли? — спросил Сакулин, сообразив, почему показались знакомыми темное, словно на иконе старинного письма, строгое лицо с прямым носом и глаза за круглыми стеклами очков. Светло-голубые, по-младенчески кроткие и простодушные. Лишь сухие морщины, исчеркавшие лицо, руки с натруженными

венами и седая дымка редких, упрямо рассыпающихся волос говорили о годах, прожитых этим человеком.

Иван Павлович встал, подошел к Узелкову и взволнованно пожал руку.

— Вы тогда оркестром дирижировали?

Сергей Витальевич кивнул, удивленный горячностью слов председателя и силой его памяти.

Да, это играл его оркестр. Играл марш, написанный капитаном Узелковым в те дни, когда стрелковые батальоны с боями пробивались к городу.

В Приреченск оркестр пришел вместе с пехотой. Выполняя приказ начальника политотдела дивизии, Узелков разместил музыкантов на главной улице, на крыльце дома, от которого осталась лишь фасадная стена, испятнанная горелыми пробоинами. В боях при подноске патронов убило альта и ранило в руку тромбониста. Шальной осколок секанул по барабану, и его пришлось залатать кусочком кожи, срезанной с трофейного седла. Тромбонист морщился от боли и фальшивил, трубача, простудившегося в осенней слякоти, бил кашель, сержант-барабанщик, успевший где-то приложиться к фляжке, сбивал ритм.

За такую игру музыкантов следовало посадить под арест, а капельмейстеру объявить выговор в приказе по дивизии. Но исхудавшие, измученные до смертной тоски люди плакали, слушая музыку. Бойцы стрелковых рот старательно топали по искромсанному взрывами асфальту, а командир дивизии остановил возле крыльца «виллис» и, приложив руку к козырьку генеральской фуражки, объявил оркестру благодарность. Пожалуй, один Сергей Витальевич понимал, что не прозвучал, как мог прозвучать в исполнении военного оркестра, его марш, написанный в блиндаже под накатом серых бревен в короткие часы затишья.

— Меня вы, конечно, не помните,— оторвал от воспоминаний голос председателя горсовета.— Пацаном я тогда был... Я ваш оркестр дотемна слушал... Потом, помните, дождь начался. Не узнаете?

Сергей Витальевич вгляделся в лицо крупного, сорокалетнего на вид человека, с кудрявящимися темными бровями на розовом от недавнего бритья лице.

— Не узнаю, простите.

Глаза председателя, в упор уставленные на Сергея Витальевича, откровенно огорчились. Сакулин тронул большой белой ладонью папку и подошел к окну.

— Ну и бог с ним... Всего человеку не упомнить,— продолжил он неожиданно споткнувшимся голосом и отмахнул в сторону легкую штору.

Иван Павлович смотрел на городскую площадь, где давным-давно не было и крыльца, на котором играл оркестр стрелковой дивизии. Ни к чему рассказывать Узелкову о голодном мальчике, который слушал игру оркестра стрелковой дивизии и больше всего на свете не хотел, чтобы она кончилась. Казалось, стоит оборваться музыке — и в душу снова придет война, которой страшилось неокрепшее мальчишеское сердце. Когда стал накрапывать дождь и оркестр закончил игру, Ванюшка побрел за музыкантами, утешаясь блеском труб, которые они несли, повернув вниз раструбами, и видом залатанного барабана.

Ежась под дождем, мальчик брел по темнеющим разбитым улицам вслед за оркестрантами, завороженный неожиданным праздником, выпавшим в горестной жизни.

Потом его приметил капитан. Остановился, подозвал к себе и спросил, почему он идет за ними. Объяснить было сложно, а простого ответа не находилось. Мальчик стоял, опустив голову, и молчал в ответ на расспросы. Капитан сказал, чтобы он шел домой, потому что скоро стемнеет и пойдут комендантские патрули.

— Ага, я пойду,— согласился Ванюшка, хотя ему не хотелось после такого дня возвращаться в подвал, где на осклизлых стенах расползалась плесень, капало с потолка и мать тряслась в ознобе под грудой лохмотьев.

Капитан приметил худобу непонятно зачем привязавшегося к оркестру мальчугана, сунул руку в карман шинели и вытащил сухарь. Ржаной, пахнущий сытым запахом хлеба, подрумяненный так аппетитно, что во рту набежала слюна.

— Держи! Считай, что заработал доппаек,— сказал тогда капитан.— Расколошматим фашистов, к вам в город с оркестром прикачу и такой концерт устрою, что все ахнут...

Сакулин поверил тогда капельмейстеру стрелковой дивизии и долго помнил сказанное. Потом подрос и уз-

нал, что люди говорят друг другу много необязательных слов, которые легко и просто забывают.

— Здорово вы играли, Сергей Витальевич!

Узелков махнул рукой, но протестовать не стал. Что может понимать в музыке человек, растерявшийся при виде нот?

...«Музы́ка полковая...» — так писали мудрые поэты, умевшие чувствовать взыскательной душой обаяние звонких военных труб и дроби барабанов на строгих плацах. Их возвышенные умы понимали власть музыки над человеческими душами. Как и хорошие стихи, она умела подчинять, радовать и огорчать до «молчаливых» слез.

От липкой духоты кабинета стала подкатывать знакомая дурнота. Сергей Витальевич торопливо расстегнул воротник рубашки, кинул в рот белую таблетку и благодарно взглянул на Сакулина, подвинувшего стакан с водой.

— Астма. Теперь уже сам играть не могу... Марш вам привез. Скоро юбилей освобождения Приреченска... Понимаете?

Иван Павлович кивнул, хотя и не очень понимал, что хочет бывший капитан Узелков.

— У вас городской оркестр есть?

Наморщив лоб, председатель стал припоминать. Десяток музыкантов играли в кинотеатре «Старт». Был оркестр в новом ресторане — несколько бородатых парней с электрогитарами и какими-то загадочными ящиками, от которых во все стороны тянулись провода. Пионеры на сборах трубили в горны. Прошлый год колонна машиностроительного завода вышла на демонстрацию с оркестром.

— Есть оркестр,— ответил Сакулин, понимая, что не может огорчить старого музыканта, приехавшего чуть не за тысячу километров.

— Я предлагаю на юбилее освобождения города сыграть мой марш.

— Ваш марш?

— Да,— подтвердил Сергей Витальевич и, встревоженный вопросом, заторопился: — Я сам буду заниматься с музыкантами. Разучим и сыграем. От вас нужна только моральная, так сказать, поддержка... Я на пенсии, времени много... Вы только представьте себе, товарищ Сакулин,— большой концерт на площади и марш на

освобождение города... Это же величественно... Патриотическое воспитание...

— Понятно, Сергей Витальевич,— улыбнулся Сакулин.— Конечно, это будет здорово.

Он нажал кнопку настольного коммутатора и попросил соединить его с Галиной Остаповной.

— Она у нас культурой заворачивает,— объяснил он Узелкову.

Просторный номер с видом на реку и ванной комнатой, сверкающей белоснежным кафелем, куда Галина Остаповна поселила Узелкова, был прожорлив, как колорадский жук на картофельном поле. Оплатив очередной раз гостиничный счет, Сергей Витальевич обеспокоенно пересчитывал тающие финансы. Уже две недели он жил в Приреченске, а дело, по существу, не стронулось с места.

Ресторанные музыканты: скрипка, бас-гитара и саксофон явно не подходили для исполнения марша на освобождение Приреченска.

Поджарые, как племенные гончие, ребята в оранжевых рубахах, игравшие в кинотеатре «Старт», сухо встретили Сергея Витальевича, явившегося в сопровождении Галины Остаповны.

— Что ж, ритмик вроде есть,— сказал руководитель оркестра, промурлыкав ноты, принесенные Узелковым.— Мелодия тоже нащупывается... Можно попробовать. Но в таком виде не пойдет.

— Почему не пойдет? — удивился Сергей Витальевич.

— Слушать, папаша, не будут. Теперь у людей другие запросы. Осовременить требуется... Дать, например, в духе «Ролинг Стоунз»... Это, Галина Остаповна, прогрессивная английская музыкальная группа. В переводе: «Катящиеся камни»... У нее, конечно, есть своеобразие. Пожалуй, еще лучше подойдет манера Поля Мариака...

Сергей Витальевич взял ноты и пошел к выходу.

На машиностроительном заводе оркестра не оказалось.

— Развалился,— объяснили в завкоме...— Ревизор записал в акте, что незаконно выплачиваем зарплату руководителю. Он у нас был оформлен разметчиком меха-

носборочного. Инструменты в ремесленное училище передали.

— Пойдем в ремесленное,— решительно заявила Галина Остаповна.

В ремесленном училище Сергей Витальевич неожиданно встретил любителя духовой музыки. Уединившись в дальнем конце коридора, остроносый и тонкошеий подросток старательно выводил рулады на трубе. Слух у него был, и музыку паренек чувствовал, но выразить ее не умел и при очередном переходе сорвал ноту.

— В кладовой инструменты,— хмуро объяснил Толька Макогон в ответ на расспросы.— В бас завхоз мыло складывает, а трубу мне под расписку выдал. Если, говорит, испорчу, по суду с меня будут взыскивать.

— Придется вам все заново организовывать, Сергей Витальевич,— сказала Галина Остаповна, стряхнув пылинку с ворота ярко-красного джерсового костюма.— Соответствующие указания по линии горсовета мы обеспечим, а остальное ваша забота.

— Моя,— согласился Сергей Витальевич и облегченно вздохнул, когда удалилась Галина Остаповна, старательная, как водяная мельница, и дисциплинированная, как прусский гренадер.

В музыкальный кружок записывались охотно, и почти месяц клуб ремесленного училища оглашался разномастными звуками, от которых Сергея Витальевича бросало то в холод, то в жар.

Затем на занятия не пришли два, похожие на братьев, крепыша, игравших на тромбоне и на альтовой трубе.

— Сегодня наши с машиностроительного встречаются с областным «Спартачком»,— хмуро объяснил Толька Макогон, выбранный старостой кружка.

Вслед за крепышами исчез с занятий барабанщик, слесарь-сантехник, тощий и костлявый, как суковатая жердь.

— Наверное, паразит, на пляж утянулся,— зло сказал Толька.— Утром его зазноба с подружкой туда подались. Давайте, Сергей Витальевич, я съезжу и его найду. Нельзя же без барабана репетировать.

— Не надо, Толя. К музыке веревкой не привяжешь.

— Это верно... Обижаются ребята. Обещали, говорят, марш учить, а мы до посинения до-ре-ми наяриваем... Надоели им гаммы до чертиков.

Сергей Витальевич слушал старосту кружка и думал, что у молодых есть две главные слабости. Или они хотят сразу объять весь мир, или считают, что ничего в мире им сделать не удастся. Первой слабостью страдают много чаще. Потому не выйдет толку с теми, у которых в головах каждый день дуют новые ветры.

Да и не нужны ребятам горькие звуки войны, о которой они знают лишь по книгам и кинофильмам. Не нужен отставной капельмейстер, прикативший в город, чтобы потешить на склоне дней дешевенькое самолюбие несостоявшегося композитора.

Сергей Витальевич поправил очки и сказал, что занятия кружка прекращаются.

На другой день он пересчитал деньги и решил, что возвратится в родной город и станет тянуть без забот и придумок пенсионную жизнь. Ловить на моченый горох язей у Малкинского кордона, пить пиво с дружками из театрального оркестра и читать детективы.

Но в номер пришла Галина Остаповна в сопровождении Тольки Макогона и заявила, что не ожидала от товарища Узелкова подобного самоуправства, что его непродуманное решение является саботажем важного воспитательного мероприятия и ставит под угрозу срыва план, утвержденный горсоветом.

— Какой план? — ошарашенный наскоком Галины Остаповны, спросил Узелков.— Я, простите, нахожусь на пенсионном положении...

— Все мы находимся на пенсионном положении,— не очень удачно отпарировала Галина Остаповна.— План подготовки празднования юбилея освобождения Приреченска от немецко-фашистских захватчиков. Ваш оркестр в нем значится отдельной строкой. Вы на пенсионном положении укатите из города, а мне за срыв плана отдуваться. Я, между прочим, женщина...

Доводы были не совсем понятны, но Сергей Витальевич ощутил робость перед Галиной Остаповной.

— Но у меня же нет оркестра. Двое на футбол удрали, один на пляж...

— Странный вы человек, Сергей Витальевич. Говорите о каких-то пустяках, когда есть четкая директива... Ну, случилась небольшая недоработка, так это же в наших силах поправить.

Галина Остаповна энергично щелкнула замком объемистого портфеля.

— Вот, подобрали мы вам людей с машиностроительного. Серьезные товарищи, с занятий убегать не будут. Общественность с ними беседовала. Иван Павлович лично просил меня передать, что будет оказывать содействие.

Сергей Витальевич слушал рослую женщину, с красивыми карими глазами, сердился на нее и завистливо думал, что ему всегда недоставало в характере такого напора и энергии.

Новых музыкантов оказалось пятеро: валторнист — бухгалтер из расчетного отдела со старомодным пробором на жидких волосах, щеголеватый инженер-технолог с саксофоном, два токаря — тромбониста и старший брат Тольки Макогона, игравший на баритоне.

Сергей Витальевич послушал в их исполнении штраусовский вальс, сдержанно похвалил и сказал:

— Начнем гаммы... Кого не устраивает программа, может быть свободным.

Бухгалтер пригладил пробор и покладисто улыбнулся Узелкову.

— Гаммы так гаммы. Вам лучше знать.

Смущенный невольной резкостью собственного тона, Сергей Витальевич извинительно добавил:

— У меня из-за гамм кружок разбежался.

— То зелень была,— откликнулся саксофонист.— Барабанщика я на себя беру. Он в соседнем со мной подъезде живет. С детского сада знаю.

На следующее занятие в дверь бочком проскользнул барабанщик, виноватый и, видно, воспитанный общественностью. Уселся на место и принялся старательно орудовать колотушками.

Из всех, записавшихся в оркестр, прирожденным музыкантом был Толька Макогон. Он без устали играл гаммы. Минорные и мажорные, хроматические и целотонные. Он купался в их стройных звуках, с каждым разом все глубже ощущая музыку, воспринимая ее мудрый строй, напевные сочетания семи простых звуков, из которых были сложены и «Аппассионата», и «Евгений Онегин», и марш отставного капельмейстера Узелкова.

Наконец Сергей Витальевич вручил музыкантам ноты своего марша.

Когда человек по-настоящему любит музыку, это сразу заметишь по написанным им нотам. По четкой вязи хвостатых значков, по изящной округлости ключа, по каллиграфическим «пронто» и «легато», выведенным над нотными линейками. Даже чернила для нот Сергей Витальевич употреблял особенные, самолично сваренные из зеленых дубовых орешков. Такими чернилами писали еще в боярских приказах. Они не выцветают на бумаге и за века.

Марш на освобождение Приреченска был разучен и сыгран в присутствии Галины Остаповны, пристально следившей теперь за оркестром. Стоя на сцене красного уголка ремесленного училища, Сергей Витальевич дирижировал оркестром. Громкие звуки бравурно неслись по коридорам, выплескивались в распахнутые окна, заставляя оглядываться проходящих мимо людей.

Галина Остаповна покровительственно кивала лакированной «бабеттой», глаза ее довольно жмурились, а пальцы с ярким маникюром отбивали такт на искусственной коже портфеля, в котором лежал план мероприятия. Руководитель отдела культуры мог теперь с полным основанием поставить в соответствующей строке его дорогую сердцу «птичку».

— Не то,— сказал Сергей Витальевич и, по-стариковски сгорбившись, сошел со сцены.

— Как не то? Все прекрасно, товарищ Узелков. Звучит!

Сергей Витальевич слушал Галину Остаповну и думал, как мало смыслит она в музыке. Гораздо меньше, чем Толька Макогон, на странный взгляд которого Сергей Витальевич наткнулся к концу исполнения собственного марша. Взгляд, который заставил Узелкова торопливо сойти со сцены.

—«Деревянную группу» надо подключать, Галина Остаповна... Пару флейт, кларнет, гобой нужен, фаготы...

Сергей Витальевич загибал один за другим пальцы и с каждым словом отчужденнее становилось лицо Галины Остаповны. Затем она осведомилась, сколько будет стоить «деревянная группа».

— Поначалу, полагаю, можно обойтись полутора тысячами рублей.

— У меня в смете такие ассигнования не предусмотрены. Не забывайте, что наш Приреченск областного подчинения,— сухо сказала Галина Остаповна и покрепче ухватила портфель, словно оберегая от нахального наскока казну отдела культуры.

Утром Сергей Витальевич пришел в горсовет и попросил доложить председателю, что его хочет видеть капельмейстер городского оркестра. Секретарша, удивленная пышным титулом узкоплечего старика, послушно отправилась к двери, обитой нарядным пластиком.

— Знаю,— коротко сказал Сакулин.— Нет денег, Сергей Витальевич. Вообще, в нашем бюджете не предусмотрено ассигнований на городской оркестр. Рад бы всей душой помочь, но не могу.

— Понимаю,— откликнулся Сергей Витальевич, вспомнил напористость Галины Остаповны и поудобнее расположился в кресле.— Понимаю, что по смете деньги не положены. А по совести как? Мы три месяца гаммы до седьмого пота разучивали... Для себя, что ли, старались?

— Тут другое дело...

— Одно дело, Иван Павлович. Наше общее. Беречь и чтить память тех, кто погиб при освобождении Приреченска... Юбилей на носу, а мы, извините, торгуемся как базарные перекупщики из-за мешка картошки... Память о тех, кто жизнь свою ради людей отдал, стоит миллионы...

Сергей Витальевич говорил, удивляясь решительности собственного тона.

Сакулин слушал, крутил в пальцах цветной карандаш и запоздало жалел о собственной слабости, накатившей при первой встрече с Узелковым. Сентиментальные воспоминания о военном детстве оборачивались требованием выдать деньги на непонятную «деревянную группу»... Полторы тысячи рублей! Как раз хватит, чтобы отремонтировать читальный зал городской библиотеки, где с потолка уже осыпается штукатурка.

— Не дороговато ли обойдется, Сергей Витальевич, ваш марш?

Узелков съежился в кресле и передернул плечами, словно в кабинете потянуло сквознячком.

— На мой марш, товарищ Сакулин, ни копейки не надо... Не буду я его играть.

— Как не будете?.. Из-за чего же тогда весь огород городим?

— Городим,— согласился Сергей Витальевич и поглядел на председателя виноватыми глазами. Сквозь стекла очков приметно выделялись старческие красноватые прожилки на выпуклых белках.— Не получился у меня марш... Сыграли вчера, и стало ясно. Так, пустозвонство и подражательство... «Звучит», как изволила выразиться Галина Остаповна... Медный таз тоже звучит, если по нему палкой колотить.

Вчера вечером, возвратившись с репетиции, Сергей Витальевич разложил ноты марша и мысленно «проиграл» его, придирчиво вслушиваясь в каждый аккорд. Старательно выискивал в сочетаниях нот, раскиданных по линейкам, то, что являлось музыкой. Настоящей музыкой, которую единственно признавал Узелков, которой служил жизнь, отдавая себя без остатка.

Все было звучно и складно. Не хватало в марше лишь одного — души. Того неуловимого и главного, что отличает цветную фотографию от картины, что ставит человеческое творение выше механической поделки самой хитрой машины. Не одна, не две ошибки прятались в россыпи нот. Найти их Сергей Витальевич не мог. Глядел и тоскливо думал, что «деревянная группа» ничего не исправит. Того, чего нет, нельзя достигнуть ни напевами звучных флейт, ни тревожным тембром фаготов, ни руладами гобоев и кларнетов.

Обманул Сергей Витальевич людей собственным маршем. Попусту заставил тратить время и силы на то, что оказалось складненькой пустышкой.

Решение пришло лишь под утро.

— Вам первому говорю, Иван Павлович,— тихо продолжил Узелков, расстегнул воротник рубашки и кинул в рот таблетку.— Опять что-то прижимать стало... Такая вот история. Вы мне первый поверили, вам первому и выложил правду.

— Зачем же тогда деньги просите?

— Деньги в самом деле нужны. На Чайковского, на Шостаковича, на городской оркестр... О вас же думаю.

Мне с моей астмой долго не протянуть. А у вас лет через пять не только квартиры будут просить. За другое начнут мылить головы на сессиях. Как, мол, так? Город без оркестра живет. Почему председатель не побеспокоился. Вам же придется лезть на трибуну и каяться... Бетховен говорил, что музыка — это народная потребность. Цель искусства не сладкие грезы, а реальная жизнь и музыка, универсальный язык человечества. Это, между прочим, слова Ромен Роллана и Лонгфелло.

Сакулин осторожно положил на стол карандаш и с силой потер подбородок.

— В наше время надо смотреть на десять лет вперед...

— Городской бюджет только на год вперед утверждают,— невесело откликнулся Сакулин, уже понимая, что никуда не уйти от слов Узелкова, сидевшего в кресле с такой обстоятельностью, словно время их беседы было неограничено. Не так прост оказался отставной капельмейстер.

Иван Павлович вгляделся в Узелкова и приметил, что глаза его полны упрямого голубеющего блеска, что в них светится вызов и неожиданная сила, вдруг пробившаяся, чтобы защитить то большое и единственное, ради которого Сергей Витальевич жил на свете.

В памяти снова выплыл далекий октябрьский день и звуки военного оркестра на исхлестанной снарядами улице. Еды ведь не хватало, а оркестры играли. И Сакулину музыка того дня запомнилась крепче подаренного сухаря.

— Без денег вперед не заглянешь. На меня и так каждый чуть не с дубьем кидается. Одному то, другому это. Вынь да положь, товарищ председатель.

— Значит, не дадите денег на «деревянную группу»?

— Дам. Не хотел давать, а теперь дам. Бетховеном и Роменом Ролланом вы же под корень подсекли... Пока на сессии музыку запросят, с меня за нарушение сметной дисциплины десять шкур успеют спустить.

Сакулин улыбнулся.

— Потерплю во имя будущего... Разорите вы теперь меня со своим оркестром. Раз палец дал, теперь руку оттяпаете.

Сакулин набросал несколько строк в блокноте и с хрустом выдрал листок.

— Вот, идите в горфо. Я позвоню.

За дверью кабинета Узелков почувствовал, как он устал. От неудачной репетиции, от бессонной ночи, от разочарования в собственном творении, от волнений и разговоров. Стучало в висках, ноги были деревянными, и грудь перепоясывал тугой обруч. Сергей Витальевич облизал сохнущие губы и подумал, что наверняка уложит в постель приступ астмы, что не по годам и не по силам уже ему такие хлопоты. Но сам взвалил их себе на плечи и обязан был теперь донести нелегкий камешек до положенного места.

Хотелось поскорее выбраться из душного горсоветовского коридора, но в руке была записка и нужно было идти в горфо.

Освободился Сергей Витальевич часа через три после утомительного хождения по кабинетам, где распоряжение председателя украсилось десятком «виз». Среди них были и подпись Галины Остаповны, не очень довольной самодеятельными хлопотами Узелкова, который, сам того не ведая, умалял ее авторитет.

У выхода из горсовета Сергея Витальевича дожидался Толька Макогон. Увидев руководителя кружка, он проворно погасил сигарету и поспешил навстречу.

— Не дали? — напрямик спросил он.— У нас так... Дадут! Догонят да еще дадут.

— Ну и язва же ты, Анатолий,— качнул головой Сергей Витальевич и показал бумажку с визами.— Читай... Полторы тысячи на «деревянную группу».

— Теперь сыгранем так сыгранем!

— Конечно... Завтра начнем разучивать Чайковского.

— А марш?

— Не будет марша,— тихо сказал Узелков и оглядел площадь, угадывая место, где давным-давно стоял дивизионный оркестр.— А верней сказать,— не было его.

Толька вскинул на старого капельмейстера темные и тугие, как спелые вишни, глаза. В них было понимание и вопрос.

— Кроме моего марша на свете есть много настоящей музыки. Будем учить Чайковского, Бетховена, Шапорина... Музыка не любит фальши, Толя. Она не приемлет ее в своей основе.

Сергей Витальевич говорил и ощущал, как исчезает чувство вины перед Макогоном, перед оркестрантами, перед Сакулиным и Галиной Остаповной.

Открывшимся вдруг внутренним зрением он по-иному глядел на себя и по-иному оценивал затею с поездкой в Приреченск.

Марш был лишь поводом, неким толчком, стронувшим с насиженного места. Сейчас Сергей Витальевич просветленно думал, что он нашел себя в пенсионном страшненьком одиночестве. Не согласился жить, как лопух под забором, а понял, что может помочь людям. Это ведь так славно, когда можешь помочь другим. Разобраться, так это же главное, ради чего живут на земле.

— Когда у нас репетиция?

— Завтра, Толя. В то же время. И договоримся, кто поедет со мной инструменты покупать.

— Я поеду,— решительно и твердо сказал Толька.— Я на флейте хочу научиться играть. Как вы думаете, получится у меня?

— Получится. Обязательно получится.

Узелков положил руку на костлявые плечи Толика Макогона и подумал, что прибавится ему еще одно дело.

Взволнованный и напряженный, стоя на виду людей, собравшихся на площади, Сергей Витальевич сообразил, что помост, на котором расположился городской оркестр, сооружен на том месте, где когда-то было крыльцо, уцелевшее от разбитого Дворца культуры.

«Спасибо тебе, Иван Павлович... Душевное тебе спасибо, дорогой человек!» — думал Узелков, оглядывая море лиц, знамена и транспаранты, строй красногалстучных пионеров возле чугунной чаши, в которой желтыми языками полоскался неугасимый огонь человеческой памяти. Безмолвный и трепещущий среди неподвижных людей.

Октябрь уже оголял деревья. Проредились подстриженные кусты, и легкие, источенные ночными заморозками листья тихо сливались с колючих акаций. Трава отяжелела, приклонилась к земле, и на клумбах прощально отцветали лиловые флоксы.

Бездомный пес с желтыми глазами, удивленный человеческим скопищем, бродил по краю площади, помахивая хвостом и просительно заглядывая в лица. Узелков подумал, что после концерта он поманит бездомную двор-

нягу, встревоженную подступающими холодами. Уведет ее с собой, чтобы она не чувствовала бесприютности и не потеряла веры в человеческую доброту.

Поправив шелковую бабочку на накрахмаленной рубашке, Сергей Витальевич постучал по пюпитру и недовольно поглядел на Макогона-старшего, нечаянно скрипнувшего стулом.

Повинуясь жесту дирижера, плеснулась над площадью музыка, заполнив все окрест тревожными, грозно плещущими аккордами. Звуки нарастали, обгоняли друг друга, перекликались в ускоряющемся ритме, подступали набатным уханьем барабанов и гулкими ударами медных тарелок. Наваливались, предвещая опасность, надвигающуюся беду. От звуков нельзя было спрятаться, убежать. Они заполняли все вокруг до отказа, раскатывались по улицам, улетали к низким, по-осеннему тяжелым тучам, проникали в каждую щелку. Казалось, мир, от края до края состоит из тупого ритма барабанов, давящего уханья басов, неукротимо громыхающих тарелок.

Сакулин вновь увидел себя десятилетним парнишкой, оглушенным воем самолетов, разрывами бомб, напуганным зрелищем пожаров и трясущимися руками солдата с забинтованной головой, которому он вынес кружку с водой. Солдат единым духом выпил воду, вытер губы тыльной стороной грязной ладони и хрипло сказал в ответ на испуганный взгляд мальчика: «Такая силища прет! Разве танк винтовкой остановишь...» И он побежал по улице, оставив мальчика одного перед тем, что накатывалось с запада. Перед силой, которая «перла» и от которой десятилетний Ванюшка не мог защититься...

Резкими взмахами рук Сергей Витальевич взвинчивал и взвинчивал мелодию, делал беснующуюся какофонию звуков столь нестерпимой, что хотелось кинуться к оркестру и остановить, прекратить натиск тупых торжествующих звуков.

Сергей Витальевич чуть повернул голову, выискал глазами Тольку и предупреждающе кивнул ему. Толька перевернул лист с нотами, прижал к губам потный мундштук, до отказа вобрал воздух и прорезал беснование басов и удары барабана серебряно звенящей нотой. Он взял ее самозабвенно, подняв одухотворенное, подвластное сейчас лишь музыке, лицо, высоко вскинув легкую и неожиданно звучную трубу.

Ноту смело и дружно подхватила «деревянная группа» — гобои, флейты и кларнеты. Подхватил певучий английский рожок и циммермановский баритон Макогона-старшего, наполнив ее звучание силой и страстностью.

Но медная вакханалия не хотела сдаваться. Упрямо наскакивала на трубу и баритон, на фаготы и кларнеты. Хотела смять их, опрокинуть, расплющить уханьем барабана и звоном тарелок.

Иван Павлович ощутил борьбу звуков в оркестре так остро и близко, что у него похолодела спина. Он знал, что труба должна победить, но всякий раз, когда гром тарелок рвал на куски напевную мелодию, ему становилось боязно и он с надеждой глядел на движения чутких, все понимающих рук дирижера.

Звук трубы креп, просторнее разливал мелодию, и больше голосов приходили ей на помощь. Звучнее слышались гобои, кларнеты и английский рожок. Переменили пение валторны, и громкоголосые тромбоны стали отходить от ухающего барабана и тарелок.

Просторнее и плавнее двигались руки дирижера. Старенького, страдающего астмой, со смешным старомодным бантом на рубашке. Повелевающего сейчас тысячами человеческих душ.

Когда он резким взмахом оборвал музыку, на площади возникла напряженная тишина.

«Провалились»,— тоскливо подумал Сергей Витальевич. Удивленно глядел на молчащих людей Толька Макогон, потерянно опустил колотушки барабанщик, и бухгалтер-валторнист полез в карман за носовым платком.

Галина Остаповна сделала шаг в сторону председателя горсовета.

И в это мгновение площадь взорвалась аплодисментами.

В сторону от шоссе

(Рассказ)

Я терпеливо трясся в «рафике» и пытался вспомнить название лесной деревеньки, где во время войны довелось застрять недели на три. Закрывая глаза, видел ее давний облик: ситцевый клин березняка, подступающий к сараям, бомбовую воронку на затравенелой улице и свалившуюся в нее черемуху с остатком шеста от скворечника, желтые и щербатые, как старушечьи зубы, остовы печных труб, возле которых ныряли бесприютные кошки, подкову реки, опушенной ивняком, и сваи разбитой мельничной запруды.

Многое, конечно, изменилось в той деревеньке. Отстроены дома, зарыта бомбовая воронка и шифер сменил на крышах гнилую дранку. Есть, наверное, и клуб, и магазин, и животноводческая ферма из сборного железобетона. И людей живет там сейчас больше, чем в тот горевой военный год.

Но лес и река должны остаться прежними. И косогор с ребрами промоин в красноватой глине и приземистый ивняк на берегах тоже не изменились.

Стоит увидеть — и все встанет в памяти на свои места.

«Рафик» вез нас на встречу в колхоз «Красный партизан». Кроме меня, представителя прозы, на жестких сиденьях маялись два поэта, художник-анималист с объемистой папкой акварелей и театральный критик — руководитель нашей, с бору по сосенке, скороспело скроенной, творческой бригады.

Давно хотелось побывать в тех местах, где когда-то воевал. Ходил в атаки, свернувшись клубком, забивался

на дно траншей при артобстрелах, месил грязь, мерз и мок. Прощался с белым светом и после каждого боя принимал собственную жизнь, как неожиданный подарок. Но поездку всегда оттягивали какие-то срочные и несрочные, сутолочные и важные дела.

Дребезжа расшатанным кузовом, «рафик» катил по старинному шоссе, обставленному раскидистыми вязами с грубой, растрескавшейся от прожитых лет, корой. Кроны деревьев смыкались друг с другом, образуя живой, трепещущий от дуновения ветра лиственный тоннель, выстланный тесаным булыжником.

Покрышки машины шелестели по полотну шоссе, которое наверняка помнило и подковы гусарских коней, и скрипучие повозки-линейки здешних обитателей, и бег шляхетских карет с ливрейными гайдуками на запятках, и ободья буденновских тачанок, и траки бессмертных «тридцатьчетверок».

Справа между деревьями высветлился Свитязь. Адам Мицкевич писал стихи о лесных русалках, которых якобы было полным-полно в некие времена на этом укромном, светлом, как июньское небо, лесном озере.

В моей голове Свитязь засел из-за жестокой бомбежки, которой угостила нас четверка «юнкерсов», высыпавшая кассеты с мелкими, противно воющими бомбами.

Сейчас на Свитязе не было ни русалок, ни «юнкерсов». На берегу красовались трехэтажные дома санатория, была лодочная пристань и павильон из акрихинового пластика.

По традиции проезжающих, мы остановились возле павильона. Выпили по кружке доброго, вкусно отдающего хмелем пива и съели по бутерброду с засохшими, скрючившимися от старости ломтиками сыра.

— Теперь километров десять в сторону от шоссе — и будем на месте,— объявил нам молодой, общительный водитель «рафика».

Деревня, название которой я мучительно пытался вспомнить, находилась где-то в здешних местах, между Свитязем и Новогрудком. Наш взвод связи в те давние дни после бомбежки свернул с шоссе на ухабистый проселок.

В «Красный партизан» мы добрались в сутемень, в тихие и протяжные летние сумерки, когда стихают живые звуки дня, перестает носиться по улицам крикливая ребятня и в окнах домов зажигаются уютные огни.

Председатель колхоза, лысый и грузный, томившийся по случаю приезда гостей в нейлоновой рубахе с пестрым галстуком, энергично потряс нам руки, говорил, что рад приезду, и принялся расторопно устраивать на постой.

Когда очередь дошла до моей персоны, председатель, заглянув в мятую бумажку, объявил, что данного товарища нужно поместить к Белевич.

— К Александре? — с явной растерянностью переспросил заведующий клубом.— Товарищ из центра, а мы его к Белевич...

— Я еще позавчера с ней договорился,— добавил председатель и покосился на меня.— Культурный ты человек, Вадька, а тоже за бабьими сплетнями тянешься. Александра в колхозе первая доярка... Характер у нее мягкий, другая бы за такую брехню тебе глаза повыцарапала. У нас ведь как — пустят сплетню, оглоблей от нее не отобьешься. Верно говорится, что за бабьим языком не поспеешь босиком. А тут еще местные деятели культуры в эту сопилку играют...

— Точно же говорят, Федор Николаевич...

— Помолчи. Ты в ту пору еще мартышкой в Африке по деревьям скакал... «Точно говорят». На моих глазах девка выросла. Хороший человек, душевный и работница что надо. Пойдете к Белевич?

— Пойду.

Так я оказался в небольшом ухоженном доме с веселыми резными ставнями и самотканым половичком на свежевымытом крыльце. Густой вишенник, усыпанный крупными ягодами, подступал к окнам. Вдоль выметенной, посыпанной песком, тропки пестрели анютки, петуньи и красные, одна к одной, махровые и сочные астры.

Дом был обставлен с достатком. На кухне эмалево поблескивал холодильник, в «зале» стоял чешский гарнитур, рижский приемник с проигрывателем и последней марки телевизор. Журнальный столик от гарнитура был приспособлен, как подставка для большого, корявого столетника. Он рос странно. С одной стороны мясистые ли-

стья растопыривались просторно и густо, с другой — торчали худосочными зародышками.

— Болеет он у меня,— объяснила хозяйка.— Я его и удобрениями подкармливала, и на крыльцо, на свежий воздух, выставляла, а он все равно одним боком живет. Агроном говорит, что микроб какой-нибудь завелся. Человека ведь болезнь иной раз тоже с одного боку точит...

— Разрешите курить?

— Курите,— певуче откликнулась она.— Пепельницы только у меня нет. Не водятся курящие... Да я вам сейчас блюдечко принесу.

Моей хозяйке было лет тридцать. Тонкая в кости, сноровистая в движениях, она собирала на стол ужин, с любопытством разглядывая меня по-девичьи теплыми и приветливыми глазами. Лицо у нее было широкое, миловидной округлости, с коротким носом и чуть великоватым ртом с тугими, четко, как на старинном барельефе, очерченными губами. Волнистые волосы были свиты в слабую косу. В разрезе глаз угадывалась та пикантная раскосинка, которую тщатся изображать на собственных физиономиях модствующие девицы.

Потом мы сидели за столом. Ели яичницу с домашним пахучим салом, хрустели пупырчатыми малосольными огурцами и лакомились оладьями с густой, как масло, сметаной.

Хозяйка выпила со мной рюмку коньяка, разрумянилась и неожиданно погрустнела.

— Вот так я и живу. Вроде и жаловаться грех, а жизнь моя комом слежалась... Вы ешьте оладышки. Огурчики берите, не стесняйтесь.

— Вкусные.

— Это меня мама выучила солить... Она все умела делать. И платья шила, и крышу перекрывала лучше иного мастера. Это я шифер позапрошлый год положила, а до этого дом под дранкой был. Трава уже на ней завелась. Председатель наш, Федор Николаевич, стыдить меня стал и без заявления шифер выписал... Маме все отказывали, в последнюю очередь ставили.

Александра подошла к стене, увешанной Почетными грамотами, свидетельствовавшими о трудовых успехах доярки Белевич. Там же висел в лакированной раме «портрет». Изделие разъездного фотохалтурщика, что за немалую мзду кропают похожие один на другой «порт-

реты» с остекленевшими глазами, расписанными волосок к волоску прическами и заретушированными по технологии поточного фотопроизводства живыми морщинами человеческого лица.

— С весны третий год пошел, как мама умерла,— сказала Александра, смахивая с рамки невидимую пылинку.— Рак у нее был в пищеводе. Последние месяцы кроме молока душа ничего не принимала...

Я посмотрел на фотографию пожилой женщины с худощавым лицом, широко расставленными глазами и тонким носом. На мгновение сквозь черты «портрета» повеяло на меня тревожно знакомым. Но ощущение было мимолетным, не всколыхнувшим пласты памяти.

— Мама тоже дояркой работала... Она меня к этому делу и приохотила... После семилетки я пошла на ферму и с тех пор все там. Пятнадцать лет с утра до вечера верчусь. Смешно сказать, а колхозных коров лучше, чем односельчан, знаю. Грамоты вон за работу выдают, места на стене уже не хватает. Мама две медали с выставки заработала. Другому бы наверняка орден выдали, а ей...

Александра вдруг осеклась, словно испугавшись, что наговорила лишнего приезжему, незнакомому человеку, и я невольно вспомнил странный разговор председателя с заведующим клубом. Но задавать вопросы было не в моих правилах. Если нужно, человек сам расскажет, а если промолчит, значит, дело такое, что совать в него нос другим не следует. Однако любопытство мое разогревалось и я еще раз, уже внимательнее, поглядел на «портрет». Но похожесть, как было при первом взгляде, меня теперь не потревожила.

Чтобы загладить неловкое молчание, возникшее в комнате, Александра принялась усиленно угощать меня. С горой накладывала в тарелку оладьи, погуще заварила чай и достала из шкафа сберегаемую к случаю коробку конфет, оплывших от долгого лежания.

Руки у нее были тяжелые и плоские, с синеватыми развилками жил под сухой кожей, с припухшими суставами расплюснутых, без единой мяготинки, пальцев.

Конечно, если с четырнадцати лет доить на ферме коров, не похвастаешься изяществом ручек...

Встреча творческой интеллигенции с колхозниками «Красного партизана» состоялась на следующий день в

новом просторном клубе из стекла, пластика и бетонных монолитов, украшенных чеканкой по меди.

На сцене был сооружен длинный стол, покрытый малиновым сукном, и во всю бархатную ширь растянуто переходящее Красное знамя, полученное по итогам весеннего сева.

Федор Николаевич, снова изнывающий в нейлоновой рубахе с галстуком, бренькнул звонком, утихомирил шум в зале и объявил состав бригады, прибывшей на встречу с тружениками «Красного партизана».

Зал вежливо похлопал творческим личностям, усаженным в первом ряду возле лестницы на сцену.

— Посоветовались мы тут,— продолжил председатель,— и такое есть, товарищи колхозники, предложение: пригласить в президиум вместе с дорогими гостями и передовиков нашего производства.

Возражений не последовало. Зал явно был доволен, что за малиновым сукном сцены рядом с заезжими «звездами» сядут и односельчане.

Федор Николаевич зачитал список передовиков. В нем была и моя хозяйка — Александра Белевич, выполнившая, как я узнал, на сто тридцать два процента план надоя молока на фуражную корову.

— Опять председатель фрицевку на трибуну тянет,— резанул мой слух шепоток в соседнем ряду.

Я оглянулся и увидел морщинистую старуху в темной косынке, повязанной над безбровыми глазами.

— Полно тебе, Лизавета,— попытались урезонить старуху.— Работает девка безотказно...

Старуха приметила мой взгляд, подобралась, и шепоток ее стал еще явственнее.

— У меня сын в партизанах пострадал, а я теперь должна смотреть, как германово семя на трибуне выставляется...

— Да разве она виновата, что так сотворилось...

— Виновата не виновата, а не имеют права фрицевку за красный стол сажать!

Вот, оказывается, о чем толковали председатель и заведующий клубом!

На сцене я уселся так, чтобы мне была видна Александра. Шепот, пущенный по залу, достиг и ее ушей. Глаза моей хозяйки застыли, словно схваченные нежданным ознобом. Лицо побледнело, широкие брови сошлись к

переносице. Сидела Александра напряженная и неподвижная. Живыми у нее оставались только пальцы. Они безостановочно и нервно двигались, будто скручивая невидимую нить.

После встречи я хотел подойти к Александре, но она исчезла из клуба, а председатель потащил нас на банкет.

Меня хватило только на половину застолья. Улучив момент, я выскочил из шумной, прокуренной чайной и с облегчением уселся на бревне, удобно забытом неподалеку в одичавшем вишеннике. Судя по множеству окурков, посеянных в живучей, жесткой, как проволока, траве, бревно служило местом отдохновения на воздухе и продолжения разговоров, которые не всегда, видимо, удавалось закончить к закрытию чайной. Я не ошибся. Минут через десять сюда же притащился распаренный председатель. Вытер лысину скомканным платком, расстегнул рубаху и с наслаждением пустил к телу освежающий предвечерний холодок.

— Ух! — блаженно отдулся он.— Душа передых требует. Раньше зараз суток по трое праздновал, а сейчас всего часа на четыре хватает. Силы стали не те... Как устроились?

— Спасибо, все отлично.

— Заботливая она, Александра, к людям. Наши мужики, дурни, не понимают, какая она хозяйка в дому.

Я рассказал о шепотке, пущенном морщинистой старухой.

— Мартьянова Лизавета,— усмехнулся председатель.— Вертит языком без ума. Ей каждая сплетка, как курцу табак... Александра недавно на собрании рассказала, как Лизаветин сынок ведро колхозного меду пропил. Вот Мартьяниха теперь и грызет ее, где только можно.

Председатель застегнул воротник рубашки и поправил галстук.

— Все нутро мне бабы брехней вынимают. От такого шепотка здесь непросто отбиться. Лютовали фашисты в войну крепко. В каждом дому оставили зарубку. Вот и саднит старое. Чуть что, перехлестнет через край — и пошло гулять из конца в конец. Как говорится — скажут курице, а та всей улице... Пошли праздновать. А то еще розыск наладят.

Мне не хотелось возвращаться в душную чайную. Я поблагодарил председателя за угощение и пошел к дому, где был мой временный приют.

Александра загоняла во двор, в приотворенные ворота белолобого телка. Телок шаловливо вскидывал тощий зад, растопыривал ходулистые ноги и целился боднуть хозяйку безрогой головой в ласковых завитках шелковистой шерсти.

— Иди, иди! — певуче уговаривала его Александра, помахивая хворостиной, которой телок, похоже, не боялся.— Домой пора... Эко разыгрался, дурачок ты глупенький!

Я невольно замедлил шаг, услышав нелепую присказку. Многое забылось с войны, но эти слова я помнил хорошо.

«Дурачок ты глупенький»,— как молодому телку, тридцать лет назад сказали мне в лесной деревне, которую хотелось отыскать.

Та давняя моя жизнь была непохожа на нынешнюю. Командировок тогда не оформляли и председатели колхозов не определяли на постой. Без ордеров и прописок мы по летнему времени заваливались в кустиках, в сараях, а зимой отыскивали уцелевшую избу, тесно, как сельди в банке, сбиваясь в ее драгоценном тепле. А еще чаще рыли в земле то ли землянку, то ли волчью нору, спасаясь от стужи и непогоды.

Твидового пиджака с разрезом у меня тоже не было. Щеголял в признанной модели сезона — хлопчатобумажной гимнастерке и таких же штанах галифе, стянутых обмотками на голенастых, как у взрослеющего петушка, ногах. Сверх того имелась у меня жесткая, в подпалинах шинель, шапка по сезону, вещевой мешок и ботинки свиной кожи, которые я уважал не за форму носков, а за их потрясающую крепость. Они оправдали мою молодую веру, протопав от Вязьмы до Кенигсберга.

Самое смешное, что у меня в те годы был личный телефон.

Звонить мне было некому, но телефон вместе с тяжеленными катушками кабеля я круглосуточно таскал на собственном горбу, спал с ним в обнимку, до одури кричал в трубку и тянул бесконечные километры проводов.

По снегу, по раскисшей грязи, по воронкам, по болотинам, по трупам, по минным полям. У тогдашних телефонов была отвратительная привычка замолкать в самое неподходящее время. Чаще всего тогда, когда вокруг ухали, раскатывались, гремели взрывы, пулеметные очереди с дурным воем вскидывали землю у тебя под носом и грохотали накатывающиеся «фердинанды». В такие минуты даже пехота хоронила забубенные головы в траншеях и окопах, норовила скрыться за корягой, за грудой битого кирпича, в воронке, а на худой конец, просто прижаться к земле.

А ротный командир, уставясь на меня поседевшими от бешенства глазами, орал:

— Связь!

Если по слабости души я на мгновение замешкивался, он матерком вышибал из меня крупицы обыкновенного человеческого страха, и я вылетал в огненное пекло, чтобы оживить проклятый зуммер в угловатой деревянной коробке.

Я шагнул к плетню и сказал хозяйке:

— Смешная у вас присказка. Дурачок, да еще глупенький...

— Мамина,— откликнулась Александра, которой удалось-таки загнать в ворота разыгравшегося телка.— Она и меня так называла. Смешно! Будто дурачки иными бывают... А совсем не обидно. Правда ведь?

— Правда,— согласился я и сказал, что немного пройдусь, погуляю перед сном.

Часа два я бродил по округе, заходя к деревне то с одной стороны, то с другой. Внимательно оглядывал и лес, и косогор, и подкову неспешной речки, на берегу которой густо рос ивняк, чуткий каждому вею ветра. Ни клина березняка, подступающего к сараям, ни остова разбитой мельницы и гнилых свай я не увидел. За крайними домами реку перегораживала бетонная плотина, рядом с которой горбатилось здание электростанции и в его чреве шумела вода, вращая турбину. Выше плотины река разливалась метров на двести, и по берегу расхаживал дед с древней берданкой, охраняя от мальчишек и наезжих рыболовов каких-то породистых карпов.

Я угостил его сигаретой, и мы разговорились.

— Была мельница на реке,— сказал дед.— Только не в войну ее порушили, а много позже, когда станцию зачали строить... Что-то ты, мил человек, перепутал. Наша деревня раньше по-другому называлась — Лихотище. Как германов из этих мест прогнали, постановили мы переменить название на «Красный партизан». Потому как здесь все, от мала до велика, партизанили... Горя столько нахлебались, что имечко родного места поперек горла стало. И-и, что теперь вспоминать...

Я понял, что не удастся мне разыскать ту давнюю лесную деревню, в которой война оставила всего четыре целых дома и всех до единого разогнала жителей.

Осенью сорок четвертого наш полк застрял в здешних лесах, километрах в тридцати от Новогрудка. На винтовку осталось по паре обойм, на автомат по диску. Тылы безнадежно отстали от штурмового рывка батальонов, гнавших фашистов от самой Березины. По раскисшим от затяжных дождей проселкам автомашины армейского боепитания одолевали считанные километры, то и дело садились дифферами в грязь, выручить из которой могли лишь тягачи и солдатские руки.

Когда подвезли наконец боеприпасы, командир полка приказал старшинам скинуть, к чертям собачьим, имущество со всех конных повозок и загрузить их ящиками гранат, минами и снарядами для полковых «сорокапяток».

Запасной кабель, катушки, шесты, лишнее питание и прочее табельное имущество взвода связи оказалось сваленным в окраинном домике лесной деревни. Я с двумя бойцами был оставлен для охраны.

Мы обрадовались неожиданному отдыху. Но через два дня в деревню забрела ватага немцев, пробивавшаяся на соединение со своей недобитой братией, и пришлось принять бой. Наскок отбили, но после боя я похоронил на угоре своих напарников и остался в деревне один.

Днем, помню, занимался житейскими делами, умудряясь урывками, вполглаза, соснуть, бродил мимо остовов холодных, исклеванных пулями печек с жирафьими шеями оголенных труб. Выходил за околицу, где поля и огороды были искорежены танковыми гусеницами, испятнаны оспинами давних и свежих воронок. Потом усаживался возле дома с автоматом на изготовку и тоскливо гля-

дел, как густеют сумерки. Темнота с каждым часом ближе и ближе подступала к крыльцу. Рождала непонятные шорохи, размывала привычные глазу силуэты. Все знакомое съеживалось и исчезало в ней. Темнота наполняла пространство от земли до невидимых туч, и я словно повисал в ней, теряя ощущение верха и низа, начала и конца. Страшно было сознавать, что на твой голос никто не откликнется, что тебе не ощутить ни человеческого присутствия, ни единого живого звука.

На горизонте багряными отсверками высвечивались дальние пожары. Нудили в небе невидимые самолеты, и орали одичавшие, в ошметках линяющей шерсти, деревенские кошки.

На войне кошки оказались самыми живучими. Скот немцы отбирали, курам скручивали головы, собак, остервенело лающих на чужих, пристреливали. Кошки же оставались живехоньки, приноровившись ловко скрываться в погребах и подпечьях, в подвалах и других укромных местах. Неведомо где они добывали пищу и без помехи плодились. Ночами отощавшие, первобытно неуловимые кошки сбивались стаями и устраивали такие концерты, что я порой не выдерживал и наугад крошил темноту автоматными очередями.

Проливные, не ко времени, дожди угомонились, и легла та неяркая, теплая и мягкая равновесь, какая бывает в ту пору, когда откняжит август, а сентябрь не наберет еще холодной росы, не накопит сил, чтобы выжелтить листья, остекленить травы и погнать по небу пасмурные облака.

На пятый день одинокого житья я увидел женщину с мешочной торбой за плечами. Она вела за руку крохотную девочку, старательно хлопотавшую ножками, чтобы не отстать.

— Отступать боле не будете? — спросила женщина, когда я вышел к ней навстречу.

— Пусть теперь фрицы отступают,— ответил я, обиженный вопросом.— Их очередь драпать.

Невозможно было понять, старая она или молодая. Она была серая. Сбитый на сторону рваный платок неопределенного цвета. Серые космы волос. Пепельное лицо с тусклыми, запавшими глазами. Щеки, с которых, казалось, сошла вся живая плоть. Юбка из мешковины, стеганая кацавейка с горелыми прорехами, из которых вы-

лезала свалявшаяся вата. Босые грязные ноги с кривыми, широко расставленными пальцами, похожими на обгорелые сучки.

— Значит, в своем дому можно поселиться?

— Можно,— ответил я, сообразив, что передо мной первый житель деревни, возвратившийся под родной кров.— Конечно, можно.

Женщина тронула за плечо девочку, до глаз укутанную платком, и они направились к избе, где находилось охраняемое мною имущество.

«Хозяйка»,— догадался я и пошел вслед.

Женщина поднялась на крыльцо, где я еще вчера отодрал на дрова сухую доску, машинально поправила опрокинутую кадку и боязливо распахнула дверь. Надсадно скрипнув ржавыми петлями, дверь пропустила ее в дом.

— Ну вот и пришли домой,— стертым, равнодушным голосом сказала женщина, развязала платок и скинула с плеч торбу.— Разве думалось, что цела останется наша хоромина. Хоть одно зернышко спаслось от жерновов.

Не обращая на меня внимания, она обошла кухню. Потрогала холодную печь, провела рукой по бревенчатой стене, плотнее прикрыла раму с выбитыми до единого стеклами и посидела за колченогим столом. Затем принялась разбирать торбу. Раскладывала мятые линялые тряпки, достала пятнистую немецкую плащ-палатку и складную ложку, грязный френч зеленого сукна с алюминиевыми пуговицами, котелок, фонарь с цветными стеклами, кружку. Развернула тряпицу с черствой краюхой хлеба, покачала ее на руке и снова спрятала в торбу.

Девочка сидела рядом с матерью, диковато зыркая на меня. Костлявые плечи ее горбились и тонюсенькие, как камышины, руки лежали на острых коленях.

— Как тебя зовут? — спросил я девочку.— Рада, что домой пришла?

Девочка вздрогнула и уцепилась, как в опору, в материну юбку.

— Ну, чего ты, чего? Теперь нам бояться не надо... Шурой ее звать. Одичала в лесу... Мы ведь, солдатик, с самой весны в глухомани спасались. Вот она и одичала... Шурой звать.

— Шура? — зачем-то переспросил я и ни с того ни с сего пропел куплет глупой довоенной песенки.

Девочка проворным звереньшем соскочила со скамьи, схоронилась за мать и затряслась в молчаливом плаче.

— Ты не пой, солдатик,— попросила женщина.— Она песен страсть как боится... Да не реви ты, дуреха... У нас фельдфебель стоял, Отто Шванцигер. Все время песни пел, а потом бабку убил.

— Как убил? — глупо спросил я, хорошо знавший, как убивают людей.

— Обыкновенно... Из револьвера... Кашляла бабка по ночам, грудью маялась. Спать ему мешала. Тверезый он ее в сенцы выгонял, а пьяный осерчал и кончил бабку у нас на глазах.

Говорила она безучастным голосом, словно рассказывала прискучившие ей деревенские новости.

— Не пой. Пусть девчонка от страху немного очнется. Всякого ведь насмотрелась. Позавчера рядом с нами человека миной разорвало. Агафью Панышкину, из соседней деревни. Вместе с нами из лесу домой шла. С большака уже свернули в нашу сторону и передых решили сделать. Агафье взбрело в голову грибов поискать. Отошла с дороги, может, всего двадцать шагов и на мину наступила... Голодно было в лесу.

Ошарашенный ее безучастными словами, я метнулся к вещевому мешку, достал кусок сахару и протянул девочке. Та вопросительно уставилась на мать.

— Бери,— сказала женщина.— Бери, раз дают.

Девочка стерла слезы и, ступая по половицам, как по неокрепшему льду, подошла ко мне и взяла сахар. Я думал, что он тотчас же захрустит у нее на зубах и между нами установится полное доверие.

Оглядев ноздреватый белый комочек, девочка принялась катать его на скамье.

— Глупая,— сказала мать.— Это же сахар! Ты кусай его, он сладкий.

Девочка вскинула голову и крепче сжала в руке сахар. Наверное, она подумала, что ее хотят лишить красивого камешка, полученного от военного дяденьки.

— Не едала она еще сахару,— сказала женщина, всхлипнула и расплакалась.— Как война началась, грудная была, а потом уж не удалось отведать. Сольцы бы ты нам, солдатик, дал. Извелись мы без соли.

Я высыпал на стол все, что было выдано старшиной

на трех человек. Сухари, кусок сала, пачки горохового концентрата, три банки тушенки, чай, комбижир и соль.

— Вот, берите... Все берите! Мне ничего не надо.

— Как не надо?.. Живому человеку все надо.

Женщина вскинула на меня глаза, и в них я увидел несмелую благодарность.

Затем она сказала, что ее зовут Настасьей, взяла из жестянки щепоть соли, бережливо посыпала ею горбушку, отломила кусок девочке и стала жадно и трудно жевать.

На другой день Настасья прибралась в избе. Смела в углах и на потолке бахрому паутины, выскоблила с песком заслеженный пол и кипятком ошпарила стены.

Осмелела и Шура, уже не вздрагивала, когда я заговаривал с ней. Чаще всего, уединившись в полутемном закутке за печкой, она молчаливо и сосредоточенно перебирала лоскутки, заворачивала в них камешки, пуговицы и щепки, укладывая свертки в полосатый мешок с лямками.

— Во что же ты играешь?

— В беженцев. Скоро герман на машине приедет, надо в лес убегать. В лес герман боится ходить... Холодно там, дяденька, хлебушка нет и кругом лягушки. Страшные-престрашные... В беженцев играю.

В ту пору мне было неполных двадцать лет, и я по себе хорошо помнил, во что полагается играть такой мелюзге. Разыскав на задворках подходящую деревяшку, я часа два просидел над ней и ножом вырезал, как умел, куклу. Химическим карандашом нарисовал глаза с фиолетовыми точками зрачков, вывел дужками брови и рот сердечком. Помусолив палец о трухлявый кирпич, положил на деревянные щеки охряной румянец.

Когда я преподнес Шуре свое творение, она глубоко вздохнула и уставилась на меня распахнутыми глазами, удивленными, радостными и боязливыми, не веря столь роскошному подарку.

— Это тебе,— разволновавшись вдруг не меньше, чем Шура, сказал я.— Кукла. Ее Машей звать... Бери, играть будешь...

Шура решилась. Выхватила из моих рук подарок и умчалась во двор.

Настасья привела ее в избу и заставила сказать спасибо.

— У самого-то ребятишки есть?

— Что вы, откуда они у меня. Я еще холостой.

— Ждешь, когда война кончится? А вдруг убьют тебя, парень... На такой войне живому остаться мудреное дело.

— Может, и не убьют.

Склонив к плечу голову, Настасья пристально, словно высматривая что-то нужное ей, глядела на меня. Густые ресницы, почти скрывавшие белки, делали глаза ее темными, отчетливо выделяя точки влажных зрачков.

Стесняясь под непривычным женским взглядом, я вдруг сообразил, что совсем еще не старая моя хозяйка с изможденным лицом и жилистой тонкой шеей.

— На войне ничего нельзя про запас откладывать. Ближняя солома сейчас лучше дальнего сенца... Когда еще кончится эта распроклятая погибель?

— Кончится... И жизнь останется, и люди будут по земле ходить.

— Кто будет ходить, а кому на карачках ползать,— невесело усмехнулась хозяйка.

С первого же дня, как появилась в избе Настасья с дочкой, жизнь моя стала веселее. Исчезло чувство заброшенности, и ночные страхи отступили, потому что рядом были люди.

Зарева пожаров уходили все дальше на запад, и реже летали самолеты. По этим приметам я вернее сводок Информбюро знал, что наступление продолжается, и втайне стал опасаться, как бы в стремительном марше начальство не махнуло рукой на одинокого сержанта, приставленного к груде не очень, видать, нужного теперь полку имущества.

Настасья устроила себе и дочке баню в корыте и сменила шершавый платок на легкую косынку. Лицо ее стало оживать, походка обрела упругость и на щеках выдавился первый румянец. С утра до позднего вечера она с жадной торопливостью возилась по хозяйству. Собирала, где только можно, по крохам и осколочкам все, что могло пригодиться для жизни, не брезгуя горелыми гвоздями и обрывками цветастых немецких кабелей. Копала на беспризорных, забитых сорняками огородах картошку, носила из лесу маслята и сыроежки, крепенькие боровички и переспелую чернику.

Сам по себе у нас сложился общий котел. Мои солдатские припасы через неделю кончились. Но мне посчастливилось найти в разрушенном сарае три ящика немецких гранат с длинными деревянными ручками, и я глушил рыбу в речных омутах. Чаще всего добывал мелочь — окуньков, плотвичек, колючих головастых ершей.

Однажды я прошел вверх по реке к сожженной мельнице, где сохранялись остатки запруды. Берега здесь круто уходили в глубину и частоколом торчали гнилые, темные сваи.

Я соорудил связку из гранат и кинул поближе к сваям. Ахнуло так, что вода на мгновение вздыбилась стеной, обнажив илистое дно, и тут же с шумом сомкнулась, окатив меня с головы до ног. Чертыхнувшись, я вытер лицо и увидел, что возле свай плавает невесть откуда появившееся бревно. «Бревно» безвольно шевельнулось. Это был матерый сом. Усатый, осклизло-зеленый, с плоской головой и беспомощно разинутым ртом. Я кинулся в воду и выволок добычу на берег. В соме было пуда полтора.

Настасья обрадовалась улову, ловко распотрошила рыбину и кинула в чугунок жирные куски сомятины.

— Праздник сегодня у нас,— сказала она помолодевшим голосом и смахнула с головы косынку. Легкие волосы рассыпались, и Настасья, смешно выпятив нижнюю губу, отдула их в сторону.

— Добычливый ты, Коля. Я и не знала, что в нашей речке такие рыбины водятся... Соли вот только у нас самая малость осталась.

— Ничего. Первобытные люди вовсе без соли жили.

— То первобытные, а нынешним без соли житье худое,— откликнулась Настасья, возясь у печки, где в широком зеве гудело доброе пламя.— Преснота так душу сосет, что хоть камень языком лижи... Натерпелись за войну люди. Много им теперь надо. Соль надо, доброе слово...

Она подошла ко мне близко, едва не касаясь острыми маленькими грудями, оттопыривавшими латаную ситцевую кофточку. Нагнулась, тревожно пощекотав меня волосами, пахнущими зольным щелоком, и погладила, как маленького, по голове.

— Ничегошеньки ты еще не понимаешь. Сунули тебя на войну, считай, из люльки. Небось и девки ни одной не поцеловал?

У меня заалели уши и гулко затукало сердце. Я, помнится, соврал что-то бойкое насчет целования.

Разморенный обильной едой, я к вечеру угрелся под шинелью и придремал перед ночным дежурством.

Проснулся я от неожиданного прикосновения и увидел рядом Настасью.

— Это я, Коля,— зыбким, ломающимся голосом сказала она и скользнула ко мне под шинель.

Желтым немигающим оком таращилась в окно луна. Белесые полосы света лежали на полу, на сдвинутых скамейках, где спала Шура, свернувшись в мышиный, неприметный клубочек.

— Хороший ты мой,— сбивчиво шептала Настасья, обнимая меня за плечи и приникая неожиданно упругим телом.— Сердцем приветливый... Пришла вот... Ну что же ты? Что?..

У меня пересохло во рту, гудела в висках кровь, и я не понимал, куда деть руки.

Я еще не знал женщин, хотя потаенно думал о них и желал их ласки. В солдатских рассказах все было просто и ясно. Сейчас же во мне все перевернулось. Желание и стыд, ожидание и испуг, ощущение близости доступного женского тела — все смешалось в комок, кидая меня то в жар, то выметывая на спине ознобливые мурашки.

— Ты не бойся меня, не бойся... Я к тебе ведь всей душой. Сердце насквозь прознобилось. Согрей ты его, Коленька... Хоть самую капельку согрей.

В вороте сбившейся кофточки остро выпирала ключица. На шее, ниже уха, горячечно трепетала жилка. Так близко от моих глаз, что, казалось, были слышны толчки разгоряченной крови.

— Ну чего ты, чего?

На меня нахлынули стыд и обида. Я не мог представить, что сокровенное случится в полуразрушенной избе с незнакомой женщиной в юбке из шершавой мешковины.

— Не надо... Не могу я так.

Я резко отстранился от Настасьи.

— Не можешь,— потерянно откликнулась она, сникла и стала застегивать кофточку.— Пожалеть не хочешь. А если бы ты знал, сколько лиха мне судьба отмерила...

Настасья заплакала, уткнувшись головой в шинель. Волосы ее рассыпались, плечи мелко дрожали под

изношенной тканью кофточки в блеклых сиреневых цветах.

Я сидел у окна и курил. Настасья приглушенно и одиноко выплакивала бабий стыд. Потом встала, оправила одежду, сколола гребенкой волосы и легла рядом с дочкой на хромоногие скамейки, застланные серым тряпьем.

Своим порядком вершилась ночь. Лунные отсветы ползли по росной траве от угла избы к кособокому сараю. Ветер топтался в кустах, скрипел сломанным суком дуплистой ветлы у изгороди и пропадал в лесу. Звезды равнодушно и холодновато светили в небе. Ватага кошек скользнула по улице к ближней паленине, и там послышался шум злой драки.

Днем Настасья сказала мне:

— Забудь, Коля, мою бабью дурь. Много в нас этой глупости насовано... Нам ведь как белая рубаха, так и праздник... Куда с копченым-то рылом любовью заниматься. Переехала война колесом мне ту дорожку. Ночью, случается, всколыхнешься, а рассветет — и остудятся твои думки. Бабье сердце, как горшок с кипятком. Что было, то и всплыло... Разве такая я раньше была.

Она достала матерчатый сверток. В нем были документы, немного денег, рубли и марки. Какие-то немецкие справки с орластыми печатями, письма в истертых конвертах. Из бумаг вынула фотокарточку.

— Вот, перед войной на паспорт снималась.

На крохотной фотокарточке я увидел тугощекую девушку с веселыми глазами. Чистый лоб венчала плетеная корона светлой косы. Полные, по-девичьи пухлые губы были тронуты смешинкой. Гладкую шею кокетливо облегал кружевной воротничок.

— Красивая я до войны была,— тоскливо выдохнула Настасья.— Самая красивая в деревне. Парни хвостами ходили... Учетчицей в эмтэесе работала.

— Сколько же тебе лет?

— Сказать, так засмеешься... С прошлого месяца двадцать пятый пошел.

— Двадцать пятый?

Я неверяще оглядел Настасью, изможденную, роняющую тоскливые слова.

— А муж где?

— Муж, объелся груш. Нет у меня мужа... Шурочка мне не дочь. Приемыш она, сиротинка. В сорок первом, как беженцев на шоссе бомбили, ее прибрала. Месяца четыре всего было.

Она уставилась в разбитое, заткнутое пучками прелой соломы, окно, и глаза ее стали угрюмыми.

— Бабой меня немцы сделали,— выдохнула она тяжелое признание.— Фельдфебель Отто Шванцигер... Когда наши отступили, остались мы тут в горе, как в пучине. Любую утеху фашисты творили... Болтают теперь, что Шурочка у меня от того фельдфебеля... Пусть уж лучше так, чем сказать ребенку, что не мать я ей.

Видно, у Настасьи наболело в душе, переливалось через край и требовало выхода. И она, облегчая внутренний гнет, выплескивала горе мне, случайно встреченному, незнакомому человеку.

— Силком меня взяли, снасильничали. С месяц баловали, а потом я своего добилась. Фельдфебеля и двух его дружков прямиком на тот свет отправила... Из-за меня фашисты деревню и спалили... Вот и прикинь, какая моя вина перед людьми.

Она схлестнула на плечах руки, будто загораживая саму себя.

— Разве забудут, как родные гнезда жгли, как детей, братьев и жен убивали... Попомнят они мне того фельдфебеля. Шванцигера. А сказать, как вправду дело было, не могу, да и не поверят теперь... С тех пор, Коля, сердце мое темное и жизнь пошла наперевертышки. Одна беда семь других потянула. Такой вот бороной по мне война проехалась...

Я не мог слышать больше ее слова, каждое из которых было доподлинной правдой. Поднялся и пошел из избы. Настасья глядела вслед. Спиной, затылком, всем существом я ощущал ее взгляд, понимая, как ей обиден мой неожиданный уход, оборвавший трудную исповедь.

В двери меня догнали слова:

— Дурачок ты глупенький...

От нелепой присказки накатила злость на войну, спалившую деревню, разогнавшую ее жителей, искорежившую танковыми траками поля и положившую на Настасью вину, обрекающую на одиночество среди своих же людей.

Я долго бродил без цели по пожарищам. Топтал бурьян, сыто вымахавший возле остовов печек, заглядывал в их холодные замусоренные жерла.

Воздух был сух и душен. Над лесом грудились облака, пахнущие гарью пожаров. Зудели, тучей вились кусачие осенние мухи.

На расшатанном, сбитом в сторону крыльце возилась Шура, завертывая в тряпицу драгоценную куклу. Возле нее я увидел знакомый мешок с лямками. Кукла была тоже включена в привычную игру.

«Дурачок ты глупенький...» — звенели, не отступая, в голове слова Настасьи.

На другой день за мной пришла машина из полка.

Белолобый теленок метнулся от сарая, с грохотом опрокинув ведро. Хозяйка достала его хворостиной по мослатому, в глянцевой шерсти, хребту. Теленок обиженно мыкнул, задрав губастую морду.

— Иди же ты, иди! — певуче сказала Александра.

«Шура!»

— Вот ведь разыгрался не ко времени... Пойло же остынет.

«Неужели это она, маленькая, похожая на старушку девочка, игравшая в беженцев?»

Я сказал Шуре, что воевал в этих местах и спросил, как звали ее мать.

— Катерина... Екатерина Васильевна Белевич... А что?

— Да так. Ничего особенного... Присказка у вас смешная.

«Екатерина Васильевна...» Давнюю мою хозяйку звали Настасьей. Я это помнил наверняка.

Не найти мне той лесной деревни, где могла жить с приемышем-дочкой горевая Настасья, спалившая в бане фельдфебеля Шванцигера с двумя пьяными собутыльниками. Не встретиться лицом к лицу с давней жизнью, что неизбывно продолжается в солдатских воспоминаниях.

Да и стоит ли так уж стремиться к встрече с горем и смертью, с печными остовами на пепелищах?

«Другое рождается время»,— говорили древние, и этим рождающимся вновь должны жить люди.

— Почему вы про маму спросили? — настойчиво повторила Александра.— Наговорили уже вам... Меня ведь кое-кто в деревне фрицевкой величает. Припечатали такую печать, что половина людей дом стороной обходит.

— Уехать вам надо отсюда.

Александра подошла ко мне и встала, прямая, негнущаяся, с вскинутой головой.

— Нет уж, этого не дождутся. Я маме худую славу не оставлю. Не позволю, чтобы про нее всякую глупость трепали. Одну половину я перевернула и другую тоже переверну. Всех заставлю к моему дому дорогу топтать... Пойдемте ужинать, Николай Петрович. Мне ведь скоро вечернюю дойку справлять.

На другой день я снова трясся в «рафике» по мощенному булыжником шоссе и опять пытался вспомнить название давней лесной деревни.

Прошлое так и не отпускало меня.

Первооткрыватель

(Рассказ)

В краеведческом музее на стенде лежит топор из темно-серого камня со сверленым отверстием для рукояти, долота из черного диорита и рябенького зеленоватого змеевика, кремневые наконечники стрел, костяной зазубренный гарпун и плошка обожженной глины с легким и прозрачным орнаментом, похожим на птичьи следы, оставленные на песке.

Табличка сообщает, что экспонаты обнаружены областной археологической экспедицией при раскопке неолитической стоянки близ деревни Мшаги.

В табличке ошибка. Экспонаты обнаружены не экспедицией, а тринадцатилетним мальчишкой, которого за рыжие конопушки дразнили Пашка-Промокашка.

Пашка — это я, Павел Александрович Кирюнин, инженер-конструктор прокатных станов, совсем взрослый человек.

Всякий раз, когда доводится бывать в музее моего родного города, мне обидно, что на табличке не указана подлинная фамилия первооткрывателя неолитической стоянки. Наверное, потому, что в жизни мне уже не довелось сделать больше ни одного открытия.

Это случилось весной сорок четвертого года, предпоследнего года войны.

Зима, помню, была затяжной. Еще в марте мы катались на дощечке с ледяной горки, и мороз здорово драл за нос. По улицам шуршали колючие метели, а по вечерам в печной трубе ветер выл, как голодная дворняга.

В марте заболела Наташка, моя восьмилетняя сестрица, особа пронырливая и ябедная. Она лежала возле печки под цветастым одеялом, негромко покашливала и глядела в потолок скучными, неподвижными глазами, похожими на подтаивающие льдинки.

С болезнью сестры моя жизнь стала вольготнее. Некому было совать нос, куда не следует, а потом докладывать маме, что я курил за сараем, явился из школы с разбитой губой, брал из дому спички или порвал на горке брюки.

За такое ехидство я раньше не пылал любовью к Наташке и, случалось, отпускал ей тумаки. Но когда она заболела и слегла, мне стало ее жаль. Я аккуратно поил ее микстурой, давал порошки и прикладывал грелки к ногам. Чтобы развеселить, читал ей книжку о первобытных людях.

Книжка была без начала и без конца. Я нашел ее осенью на школьном чердаке и даже не знал названия.

Наташка, конечно, по малолетству многое не понимала. Ей больше нравилось смотреть картинки, где были нарисованы мамонты с огромными клыками, пещеры, где горели костры и сидели люди в звериных шкурах с дубинками и каменными топорами.

А я жалел, что не родился первобытным человеком. Жил бы тогда припеваючи. Войны бы никакой не было, в школу ходить не надо, в очередь за хлебом тоже бы никто не посылал. Захотелось есть, отправился с копьем в лес, убил мамонта — и лопай мясо до отвалу, хоть три раза в день. Брюки разорвал — пожалуйста, бери шкуру и шей новые. О дровах и говорить бы не приходилось... Я бы научил первобытных добывать железо, делать ружья и топоры, сажать картошку и валять валенки, чтобы не возиться каждую неделю с починкой. Читать бы еще первобытных научил. Стал бы у них главным учителем. Главней, чем Демьян Валентинович, наш директор. Двоек я никому бы не ставил. Только пятерки и четверки отваливал, а лентяям и вралям — тройки, малюсенькие такие троечки...

Мама работала в мастерской, где шили ватники для фронта. Часто случались срочные заказы, и дома она бывала мало. Утром уйдет чуть свет, а вечером едва ее дождешься.

Папа воевал с фашистами. Он был артиллерист, старший сержант. Командовал гаубицей на Втором Белорусском фронте, и его уже два раза ранило. У нас на стене висела фотокарточка, где папа был снят рядом со своей гаубицей. Дуло у нее было такое, что я бы наверняка засунул туда голову. Папа писал, что снаряд гаубицы оставляет от фашистов мокрое место...

Он беспокоился о нас и в письмах всегда спрашивал, как мы живем.

Мы с мамой отвечали, что живем очень хорошо, что пусть он бьет фашистов и скорее возвращается домой...

Наташка со своей болезнью ко всему прочему стала еще привередой. Она, видите ли, не желала теперь есть картошку. Ни вареную, в мундире, ни толченую, ни испеченную в золе с хрусткими пахучими корочками. Дошло до того, что она отказалась даже от супа, сваренного из селедки, которую мы получили к Восьмому марта по карточке.

— Доченька,— растерянно сказала тогда мама, присев к Наташке на кровать.— Чего бы ты покушала, лапушка моя дорогая?

Я удивленно посмотрел на маму. Она же знала, что, кроме пайкового хлеба и картошки, у нас ничего нет.

— Яблочка,— вздохнула сестренка.— Яблочка хочу...

Надо же такое выдумать! От смеху я прыснул прямо в кружку с кипятком.

— Может, тебе еще компоту дать, а, Наташка? Или булку с маслом?

Мать ни за что ни про что влепила мне затрещину и отвернулась к печке.

— Помолчи ты, горюшко мое,— попросила она меня. Затем открыла сундук и вынула папин бостоновый костюм на шелковой подкладке. За войну мы много вещей отнесли на толкучку, но костюм сберегали. Он лежал на дне сундука, и в карманах у него были кулечки с нафталином.

У меня тревожно тукнуло в груди. Когда папа уходил на войну, он строго-настрого наказал мне быть хозяином в доме. Я изо всех сил старался выполнить наказ, но мешала мама. Она даже мне печку топить не разрешала, считала, что я сожгу много дров.

И вот теперь костюм... Я разозлился на Наташку. Яблока, видите ли, ей захотелось! Разве яблоко — это еда?

Попросила бы сала, например, колбасы... Ну, в крайнем случае, белого хлеба. Мыслимое ли дело променять на яблоки папин праздничный костюм. За такое он не похвалит. Скажет: «А ты, хозяин, куда смотрел?»

— Зачем ты достала костюм? — спросил я маму, уже понимая, что свершается невиданное.— Зачем?

— Беда у нас, Паша,— шепотом, словно доверяя мне тайну, ответила мама.— Наташенька-то наша...

Она не договорила, коротко всхлипнула и уцепила в горсть полу костюма. Тут я увидел, что у мамы на левой щеке, где раньше была смешная ямочка, теперь просеклась глубокая некрасивая морщина. И нос у нее стал такой же, как у Наташки, худой и острый.

Мама увязала костюм в платок и ушла на базар. Возвратилась с мешочком манной крупы, с двумя лепешками сливочного масла и бутылкой молока. Принесла она и яблоки. Три сморщенных, маленьких, как Наташкин кулачок, яблока, тусклых, давно потерявших летние краски.

Одно яблоко мама дала мне. Я хотел отказаться, но не мог устоять перед соблазном, не хватило сил. Да и стоило ли отказываться, если папин костюм был все равно продан. Я залез на печку к трубе, где кирпичи дольше всего хранили тепло, и откусил яблоко. Какая же это вкуснота!.. Нет, у сестрицы губа не дура, знала, что выпросить...

Я расчетливо обкусывал мякоть, скреб ее зубами, сосал как конфету. Яблоко становилось все меньше и меньше. Наконец в руке остался десяток темных остроконечных семечек. Я съел и их. Долго пережевывал, перетирая зубами жесткую шелуху, и проглотил напоследок горьковатую кашицу.

Не знаю, то ли от того, что с каждым днем становилось теплее, то ли от того, что мама кормила Наташку манной кашей с молоком и мазала маслом хлеб, сестрица стала поправляться. Потребовала на кровать игрушки, начала вылезать из-под одеяла и опять взялась за ябеды, аккуратно сообщая маме, что я строил доты из стульев и отломал ножку, что я палил дома по «тиграм-фердинандам» из самодельного револьвера, который заряжался спичками.

За такие художества влетало, и я здорово сердился на сестренку. Но все равно в доме стало веселее. Когда

есть на кого сердиться, всегда живется лучше. Раньше я этого не понимал, а как Наташка заболела, сразу сообразил.

У нас кончилась картошка. Это случилось в начале мая, когда на дворе тянуло уже запахом согревающейся земли, по улицам можно было шпарить босиком, когда на задворках проклюнулась молодая травка и черемуха у сарая подернулась зеленым пухом.

— К тетке Чабихе надо идти,— сказала мама, когда мы сварили шесть последних картофелин.— По ее вышло...

Тетка Чабиха, старшая сестра отца, была нашей единственной родственницей. Она жила в деревне Мшаге, километров за шестьдесят от города. Плосколицая, как икона, с большими красными руками, тетка Чабиха останавливалась у нас, когда привозила на базар картошку. Иногда от ее поклажи пахло и чем-то еще повкуснее, но к мешкам она не подпускала. Когда я однажды попытался проколупать в мешке дырку, Чабиха так меня резанула по спине тонкой веревкой, что я дня два чесался.

Возвращаясь с базара, тетка приносила мне и Наташке по паре конфет или стакан подсолнухов. Затем она долго пересчитывала деньги и выговаривала маме, что та не умеет жить.

Маму звали Мариной, но тетка называла ее смешно — Марея.

— За пять сотен ты, Марея, до хрипоты убиваешься, а что они стоят по нонешним временам. Тьфу... и нету. На базаре люди иной день тыщи огребают.

— Не по мне это дело,— твердо отвечала мама.— Не могу я людей обманывать.

Тетка шумно сморкалась и заводилась еще больше:

— Это выходит, по-твоему, я людей обдуряю?.. Кровную свою картоху сторговала, а ты эвон куда меня заворачиваешь! Ишь, чистоплюйка выискалась. Сама как тарань высохла и ребятишек довела... Насквозь светятся, горемычные. Саня с войны придет, он за такое дело не похвалит. Он тебе все скажет-выскажет.

Тетка Чабиха грозно трясла головой, укутанной во всякое время теплым клетчатым платком, и шевелила перед лицом мамы темным пальцем.

Мама мрачнела и уходила в другую комнату, а я и вовсе убирался из дому, чтобы не слушать тетку. Мне по горлышко хватало и маминых нотаций, да и в школе их наслушаешься столько, что голова распухает.

Прошлой весной к великому моему удовольствию мама выставила-таки Чабиху из нашего дома и заявила, что больше ноги ее у нас на пороге не будет. Это случилось после того, как тетка предложила отправить меня на лето в Мшагу пасти ее теленка и присматривать за огородом.

Мама потемнела лицом и пошла на Чабиху с остановившимися глазами. Я даже испугался, что она влепит тетке затрещину. На этот счет моя родительница не задерживалась.

— Вон! — крикнула мама.— Не за то его отец фашистов бьет, чтобы Паша у тебя батрачил! Вон из нашего дома!

Чабиха деловито собрала пустые мешки и у двери, по-хозяйски ухватившись за ручку, сказала:

— Не плюй в колодец, Марея... Придет край, поклонишься ты мне в ножки! Помяни мое слово.

— К тетке Чабихе? — переспросил я.

Мама сжала губы, помолчала минуту и подтвердила:

— К ней, Паша... Уберегу я вас. Кому хочешь в ножки поклонюсь, а вас уберегу.

Мне не хотелось, чтобы мама кланялась тетке Чабихе. Я знал, что она гордая.

Но картошку надо было доставать. На еду, а еще нужней — на семена. Недели через полторы подойдет время копать огород. Если мы не посадим картошку, зимой нечего будет есть. Уж я-то понимал, что значит остаться на зиму без картошки.

Я заявил, что могу съездить в Мшагу и попросить у тетки картошки взаймы до осени.

— Много ли ты принесешь? На одни семена два пуда надо.

Я сказал, что могу принести и два пуда.

— Сам-то ты на два пуда не вытянешь, подносчик,— усмехнулась мама.— Разве вот посчастливится, подвезет кто. Из Мшаги на базар часто ездят.

Она помолчала, побарабанила пальцами и добавила:

— А не посчастливится, так нам и полпуда в прибыток. Верхушек нарежем и посадим глазками... Мне все равно из дому нельзя отлучиться. Наташку одну не оставишь, да и с работы не пустят, опять у нас срочный заказ... Только зачем же взаймы просить. Не нищие, денег тебе дам.

Через день я отправился в Мшагу. За плечами у меня висел старый рюкзак, с которым папа ходил на рыбалку. В рюкзаке лежал пустой мешок на тот случай, если подвернется попутная оказия и тетка расщедрится на картошку. Еще у меня было три толстых ломтя хлеба, посыпанных солью, и сто рублей — три красных бумажки, пятерка, трешница и рублевки.

В первый день меня на проселке подсадила тетенька, которая везла в бочках горючее для тракторов. Она же оставила ночевать, а утром накормила и рассказала дорогу.

— Километров шесть по проселку пройдешь, потом у ручья за мостиком вправо заворачивай. Та дорога прямехонько в Мшагу и выведет... За мостиком поворот, гляди не ошибись.

Отшагав часа полтора по проселку, увидел и мостик и дорогу вправо. Усевшись под приметной рогатой сосной, я умял, вдобавок к даровому завтраку, ломоть хлеба и запил водой из ручья. Потом зашагал по указанной тетенькой дороге и часа через три оказался в Мшаге.

Тетка копала огород. Грузно наваливаясь на черенок лопаты, она выворачивала прелые глыбы земли и сноровисто разбивала их. Увидев меня, она воткнула лопату, вытерла рукавом потное лицо, прибрала под платок седые космы и впустила во двор.

— Клюнул, значит, родительницу жареный петух,— сказала тетка, оглядывая меня с головы до ног.— Наташка-то поправилась?

— Уже по избе ходит,— ответил я.— Мы молоко ей покупали на базаре и манку... Папин бостоновый костюм продали.

— Костюм, выходит, извели,— сразу прицепилась тетка к моим словам.— Раньше-то лень было головой думать. Говорила я Марее, так нет, все ее гордость соломенная. Без порток скоро останетесь... Чего зенки вывалил? Ступай в дом, я ряд дойду — и кончу.

Тетка накормила меня крошенками: вывалила в миску полкувшина простокваши и накрошила туда тяжелого от примешанной картошки хлеба. С крошенками я управился в два счета и донышко выскреб. Затем меня одолела неистребимая дремота.

— Ишь как уходился,— незнакомым добрым голосом сказала тетка и кинула на лавку полушубок.— В такую даль мальца посылать! Эх, Марея, неразумная твоя голова.

Я не стал объяснять, почему мама сама не могла прийти в Мшагу. Едва добрался до полушубка.

Проснулся я вечером. На столе фырчал самовар. Тетка шумно пила кипяток с цветистого блюдечка, прикусывая густо посоленную горбушку.

— Зачем припожаловал!

Я ответил, что пришел достать картошки на семена.

— А своя семенная где? Неужель съели? — тетка осуждающе качнула головой.— Нос Марея дерет, а семенную картошку не могла сберечь. Да мне легче в гроб лечь, чем семена тронуть... За отцовой спиной жила, будто кот в запечье, а довелось одной, все как по чертовым головам покатилось...

Чабиха принялась занудливо выговаривать про маму. С хлюпаньем, оттопыривая губы, обмахивала концом платка лицо и выговаривала. Я слушал, и больше всего мне хотелось крикнуть тетке все, что я про нее думаю, и хлопнуть дверью.

Но картошку на семена надо было добыть, поэтому я терпел. Чтобы легче было слушать Чабихины надоедливые нотации, я представлял, что командую гаубицей. Гитлеровские танки идут в атаку... Десять штук с фашистскими крестами, ползут прямо на батарею. Я заряжаю тяжелый снаряд и с первого же выстрела в лепешку разбиваю передний танк с главным ихним командиром, потом второй, третий... Танки удирают, а я их колошмачу вдогонку один за другим...

— Уж не знаю как,— выговорившись всласть, заявила тетка.— Спущусь завтра в подпол... Взаймы, что ли, приспосабливаетесь?

— У меня деньги есть,— заявил я, расшпилил булавку на кармане и вытащил теплые разноцветные бумажки.— Вот, сто рублей.

— Ишь какие капиталы приволок,— усмехнулась Чабиха и подставила чашку под краник самовара.— По нонешним временам за сто рублей и ведра не сторгуешь, а уж на семена и подавно... Давай деньги!

Я отдал Чабихе деньги и спросил, когда она насыплет картошки.

— Сказано — завтра,— ответила тетка и придвинула мне налитую чашку.— Хлебни вот горяченького, скорее от дороги отойдешь... Завтра насыплю.

— Мне домой надо.

— Ничего, не усохнет твоя родительница,— ворчливо сказала тетка, пошла к полке, побренчала там какими-то банками и положила передо мной крохотный обмусоленный кусочек сахара.— Поживешь у меня день.

И негромко пожаловалась:

— Тошнехонько мне, Паша, одной. В избе, как в овине. Слова ведь не с кем сказать. Погости, паренек, я хоть сердцем немного развеселюсь... Ты кусай сахар-то.

Она подошла ко мне и погладила по голове жесткой тяжелой рукой.

Утром меня разбудило солнце, круто упав из окна на широкую лавку. Тетка погрохатывала чугунками, с хрустом ломала через колено пригоршни хвороста и совала их в сводчатый зев печки, где полыхал красными лоскутами жаркий огонь.

— Скотину уж проводила и огород докопала, а ты все спишь,— неодобрительно сказала Чабиха.— Ведра вон возьми, воды в кадушку наносишь.

Я наносил воды, умылся на крыльце под гремучим умывальником, позавтракал печеной картошкой с простоквашей и спросил тетку о своем деле.

— Чего ты мне сто раз долдонишь,— рассердилась Чабиха.— Сказано ведь все... Будто у меня других забот нет.

Я понял, что придется остаться в Мшаге. У тетки характер такой, что разозлится — и выпроводит с пустыми руками, долго разговаривать не будет. Но если завтра она мне не даст картошку, я заберу деньги и уйду домой. За нос себя не дам водить, не таковский.

— Погуляй пока, на реку сбегай,— сказала тетка.— Может, окуньков наловишь. Удочка у меня в сохранности, в сенцах стоит, а червей возле хлева копай хоть мешок. Не забыл еще дорогу на дрема?

Нет, я не забыл извилистую в один след тропинку, которая вилась вдоль мшагинских огородов, пересекала березняк и шла краем ельника по берегу реки до глубоких лесных омутов. Их здесь называли «дремы». В половодье тихая Мшага хмелела водой, люто крутила воронки, подмывала берега, валила в реку сосны, кусты шиповника и, проглотив добычу, стихала до следующей весны. В темных омутах на дремах среди коряг жировали язи, темноперые окуни, плотва и остромордые щуки.

Перед войной папа меня летом часто брал в Мшагу на рыбалку. Он работал мотористом на лесозаводе, и его руки пахли машинным маслом. Удочку он всегда закидывал со смешной присказкой: «Окунь сорвись, карась навернись», и плевал на насадку.

Здесь, на дремах, я семилетним карапузом выловил первого окунька. Смешно вспомнить: удочку сдуру так рванул, что окунь аж о сосну трахнулся, соскочил с крючка и улетел в ивняки. Папа их облазил вдоль и поперек, но все-таки нашел окунька. Потом мне говорил, что это, мол, особенный окунь. Такого, мол, окуня человек один раз в жизни ловит. Заливал мне, желторотому... Ничего особенного в том окуньке не было. Окунь как окунь: рот, плавники и хвост. Только что первый...

На дремах я пристроился под кручей возле валуна, вымытого половодьем. Камень осел, и сбоку в жесткой глине темнела широкая щель. Туда я поставил банку с червяками, чтобы ее не припекало солнышко.

Клева не было. Я менял наживку, густо плевал на нее, кидал поплавок то на середину омута, то под самую кручу, передвигал грузило.

Не было даже слабенькой поклевки. Поплавок, как приклеенный, стыл на воде.

Когда солнышко начало приклоняться к островерхому ельнику на другом берегу Мшаги, я встал, чтобы смотать удочку.

Тут поплавок косо и стремительно ушел в воду. Я подсек, и тугая тяжесть потянула из рук удилище. Я уперся ногой в камень. Леса гудела и неровно ходила по омуту.

«Сорвется!.. Сейчас сорвется!» — ошалело металось в голове, а руки тем временем расчетливо, без рывков выбирали лесу, подводя к берегу неожиданную добычу. Потом вода взбулгачилась, разошлась кругами, и в глубине тускло сверкнуло, словно там перевернули начищенное

медное блюдо. Блюдо рванулось наверх и оказалось рядом с камнем.

Я плюхнулся животом в воду и прижал к берегу большущего, килограмма на полтора, леща. Темноспинного, с колкими встопорщенными плавниками и разинутым от страха маленьким круглым ртом. Суетливо тыкая растопыренными пальцами, я уцепил леща под жабры.

Вот это да! Подходящая рыбка попалась... Я сплясал на берегу дикарский танец, закуканил добычу и снова схватил удочку.

Банки с наживкой на месте не оказалось. Я растерянно принялся шарить в щели. Внутри было просторно. Пальцы натыкались на шершавую глину, на колкие камешки. Постепенно расширяясь, щель уходила в кручу... Может быть, банка скатилась внутрь? Я засунул руку по плечо и нащупал что-то угловатое. Но это не была банка с наживкой. Из щели я вытащил черно-серый клинообразный камень с круглой дыркой на утолщенном конце.

Видно, в суматохе, стараясь ухватить леща, столкнул в реку банку с наживкой. Надо же, не повезло! В самый раз, когда начался клев, я утопил червей. Всегда вот у меня так получается: в самый интересный момент и все летит вверх тормашками... Ладно, хоть не с пустыми руками приду.

Сматывая удочку, я пригляделся к камню, вытащенному из щели. Форма его была необычной. Если в круглую дырку вставить палку, получится что-то вроде топора... Каменного топора!

Удивленный догадкой, я сунул в отверстие камня толстый конец удилища. Так и есть, настоящий каменный топор, взаправдашний. Где у топора лезвие, здесь тоже сточено, а где обух — толсто.

Тут мне вспомнилась книга о первобытных людях. Там же были нарисованы точь-в-точь такие вот топоры. Тяжелые, похожие на колуны, с короткими прямыми ручками, привязанными ремнями.

Еще не веря себе, я встал на колени, разгреб щель и вытащил новый камень. Рябой, сколотый на конус, вроде пробойника. На конце угадывалась канавка, забитая глиной. Я отмыл камень в воде, выковырял сучком глину. Канавка на камне была сделана руками человека. Просто так, сама по себе, такая канавка, ровная, с четкими

гранями, на камне никогда не сделается. Уж это я знал наверняка. Камней через мои руки прошла не одна тысяча.

Я сунул голову в щель и присмотрелся. Косо разодрав глину, она уходила и терялась в темноте. Наверное, в половодье вода здесь подмыла берег, и он осел. Щель была такая, что я влез в нее по пояс. Можно было бы заползти и дальше, но мне стало страшно, что земля осыплется и придавит.

Добыча оказалась богатой. За полчаса я выковырял из щели объемистую груду камней. Среди них был еще один каменный топор, скребки из светлого кремня с молочными прожилками, наконечники стрел, изогнутый, с заостренным лезвием нож без рукоятки, тяжелая каменная чашка, грузила с аккуратно просверленными дырками, черный отбойник, молотки. Были камни и вообще ни на что первобытное не похожие. Один, например, мне сначала показался прикладом автомата, но я знал, что автоматов у первобытных людей никак не могло быть. Я отмыл в реке находку и рассмотрел, что это кусок кости. Тяжелой, темно-коричневой, как старое дерево, кости. На ней было что-то нацарапано. Я присмотрелся к царапинам и увидел рисунок рогатой головы. Вытянутую зубастую морду, глаз, обведенный двумя кружочками, завиток рога и вздернутый пятачок носа.

Конечно, я нашел стоянку первобытных людей. Представил себе, как много тысяч лет назад вот здесь, на берегу Мшаги, стояли шалаши или были вырыты в круче пещеры. Горели костры, и люди, одетые в шкуры, вытачивали каменные топоры, долбили этим пробойником, который я держал в руках, куски кремня, оббивали их, оттачивали острие. Бегали ребятишки, играли у костров, а может быть, так же, как я, ловили в Мшаге лещей. А в лесу ходил зверь с единственным рогом, зубастой пастью и вздернутым пятачком тупого носа. По ночам он подкрадывался к шалашам...

Где-то хрустнул сучок. Я вздрогнул и огляделся. Вечерняя расплывчатая сутемь уже наливалась в подлеске. Надсадно, словно под невидимой тяжестью, поскрипывала дуплистая осина. Вода в дремах насупилась, загустела, как неживая.

На меня повеяло непонятной тревогой. Я торопливо прикрыл мхом находки, схватил кукан и скорым шагом,

то и дело оглядываясь на сумеречный лес, добрался к деревне.

Тетка обрадовалась рыбе.

— Испечем на ужин,— сказала она, отбирая леща.— Для такого дела я угольки на загнетке распалю... Сбегай, лопухов нарви, в них потолще завернем и в угольки сунем. Дойдет в собственном соку.

— А картошка?

— Да уж нашлось маленько,— вздохнула Чабиха.— Хоть и нрав у твоей родительницы больно гордый, да выто, Пашенька с Наташей, кирюнинской прямой крови... Немного уж проклятой войне доживать. Такое стерпели, остаточек и подавно выдюжим.

Тетка сидела за столом, положив перед собой плоские, в глубоких морщинах руки. Пальцы, припухшие в суставах, были скрючены, у ногтей неистребимо въелась земля.

— В котомку я много не клала, не унести тебе полную,— продолжала тетка.— С нашим председателем сегодня столковалась. Анфиса-кладовщица через два дня повезет в город овес, мешок картошки вам подкинет. Полмешка на семена пустите, а остаток на еду. Так матери и скажи. Строго, мол, тетка наказывала. Если она и этот семенной изведет, катышка боле от меня не получите... Хозяйство вести, не подолом трясти...

Я слушал плохо, обалдев от количества добытой картошки.

Печеный лещ оказался вкусным. Жирным, с сочной аппетитной мякотью. Костей только было много. Остренькие, все время в горле застревали.

— Не спеши ты, Паша, не погоняют ведь. С утра завтра и тронешься. Дорогу-то хорошо помнишь?

— Ага,— промычал я набитым ртом.

— Не хочешь еще денек у тетки погостить. Снова бы за рыбкой сбегал... Вишь, как мы ловко ужин спроворили... Ладно, силком держать не буду, а то еще сама Марея в Мшагу прилетит, с нее станется... Анфису-кладовщицу в пятницу на базаре встречайте...

Утром я вышел из Мшаги с рюкзаком за плечами. Тетка пожалела меня. В рюкзак она положила килограммов пять, не больше.

Но у меня еще была поклажа. За околицей, когда тетка скрылась из глаз, я свернул в кусты, прошел знакомый березняк и тропинкой вышел к дремам. Там я сло-

жил в рюкзак вчерашнюю находку, до единого камешка, с натугой впрягся в лямки и отправился домой.

Рюкзак тяжелел с каждым километром, словно туда подкладывали кирпичи. Лямки оттягивали плечи, деревенела шея, ломило спину. Когда я оступался на колдобинах, рюкзак, как живой, тащил меня в сторону.

Дорога оказалась много длиннее. Я шел и шел, а знакомого мостика у выхода на проселок так и не было.

Отдыхать приходилось часто, потому что лицо заливал пот, не хватало дыхания и подкашивались колени. Лямки, словно проволочные, немилосердно резали плечи.

Одна каменная чашка весила, наверное, килограмма три. Теперь красота — алюминиевые мисочки, их хоть сто штук унести можно... Не могли первобытные чашку сделать полегче. Ее по краям и по дну можно стесать еще пальца на полтора. Лентяй какой-нибудь занимался, а теперь из-за него люди должны мучиться. Выдал бы ему вождь хорошую плюху, небось бы потоньше обтесал. Наверняка у первобытных тоже лентяи были, оттуда к нам эта порода перешла.

На очередном привале я вытащил из рюкзака чашку, темно-коричневую, с овальными краями и со щербинкой на боку. По обводу чашки был вытесан орнамент: угловатые черточки, напоминающие молодой ельник, волнистые линии, а под ними закорючки, вроде запятых. Приглядеться, так получалось, что река, за рекой лесок, а на ближнем берегу на песке человечьи следы...

Я вытер рукавом орнамент, вздохнул и поставил чашку на пенек, на видное место. Хватит мне такого удовольствия, пусть с ней кто-нибудь другой попотеет.

К моему удивлению, чашка почти не облегчила рюкзак. Лямки как и раньше свирепо впивались в плечи, ныла поясница и кололо в боку.

Ничего, добраться бы к проселку. Там наверняка найдется попутка. Сам садиться не буду, попрошу рюкзак подвезти. Рюкзак возьмут...

Теперь я постепенно оставлял находки на привалах. Уже не выкладывал их на виду, как каменную чашку. Я зарывал их в мох, засовывал под корни, а тесло утопил в болоте, чтобы никто не увидел свидетелей моей мальчишеской слабости.

Каменный топор и тяжелую кость с рисунком зверя я все-таки дотащил к проселку. Свалился в траву у мо-

ста, скинул лямки и отдышался. На карачках добрался к ручью и пил воду, пока не заломило зубы. Съел для подкрепления сил лепешку, выданную теткой на дорогу, и кусок печеного леща, оставшийся от вчерашнего ужина.

Солнце уже перевалило небесный пригорок, а попутки на проселке так и не показывалось. Я лежал на траве у моста. Рядом стоял рюкзак. Сквозь выношенный брезент глаз угадывал округлые картофелины, острый угол каменного топора, овал кости... Какого же зверя нарисовал на ней первобытный человек? На мамонта не похоже, носороги тоже не такие... Может, в те времена водился еще кто-нибудь пострашнее?

Проселок был непонятно пустым. Глухо шумели сосны, дрожала, будто в ознобе, придорожная осинка. Замшелые ели выставили в небо сумрачные пики мохнатых верхушек. Близко долбил дятел, и деревянный стук отчетливо растекался по лесу. В придорожном болотце кто-то натужно ворочался, постанывал, шуршал осокой.

Когда за поворотом завыла машина, я проворно выскочил на дорогу. Но груженная дровами полуторка не остановилась.

Солнце опускалось все ниже и ниже. До деревни, где я мог переночевать, было шесть километров.

Я решился. Развязал рюкзак, высыпал под валежину половину картошки, вскинул полегчавшую поклажу и заторопился по проселку.

А что? В пятницу нам привезут большущий мешок картошки. Пуда три, не меньше. Стоит ли жалеть пригоршню картофелин, оставленную под трухлявой валежиной. Зато какой каменный топор и кость с первобытным рисунком я притащу домой. Мальчишки от зависти полопаются. Ни у кого еще таких штуковин не бывало...

Я их сам нашел, на настоящей первобытной стоянке. Я открыл ее. Как путешественники открывают острова, как геологи открывают руду. Этих людей зовут первооткрывателями.

Так говорил я себе и видел тоскливые глаза матери, разглядывающие жалкую кучу принесенной мной картошки. Она-то надеялась, а сын записался в первооткрыватели. Если бы он не тащил этот тяжеленный камень с дыркой и кость с нацарапанными линиями, картошки было бы в два раза больше.

Тех картошек, что остались под валежиной, хватило бы на два дня. Двадцать четыре штуки,— я сосчитал,— осталось в лесу. А если в пятницу кладовщица не привезет картошку? Заболеет, или председатель вдруг раздумает? Всякое же может случиться... Телега, например, сломается. Тогда что?

Я невольно замедлил шаги. Первобытный топор штука интересная, но картошка надежнее. Три военных зимы она верно выручала нас. Когда по углам куржавился иней, все равно было не очень плохо, если перед тобой клали пяток горячих картошек. Приятно было, обжигая пальцы, стягивать с них податливую кожуру, макать в соль и пережевывать сытную кашицу. Мять ее, прижимать языком к небу и ощущать неожиданное покалывание солинок на зубах. Или осенью, когда выкапывали первый куст молодой картошки, отряхивали с корней землю и аккуратно обирали розовые клубеньки. Их можно было есть вволю, до сытой тяжести в животе. И вкуснее всего картошка была печеной, с подпаленной корочкой, похрустывающей на зубах, с угольками...

Я остановился. Развязал рюкзак и выкинул никому не нужный камень с дыркой, кость, на которой были нацарапаны угловатые линии, похожие на зверя и на дом, и на грузовик, и на что угодно.

Я побежал назад по проселку. Мчался во весь дух и боялся, что не найду оставленной под валежиной картошки. Но она оказалась целой. Все двадцать четыре картофелины. Только у одного клубня был отщипнут крохотный, с ноготь кусочек. Наверное, к нему уже примерилась какая-нибудь лесная зверюга, как и люди, голодавшая в ту военную весну. Я не обиделся на нее. На радостях, что картошка оказалась целой, я вынул перочинный нож и отвалил зверюге полкартофелины. Пусть питается, нам в пятницу еще мешок привезут. Положил свой подарок на валежину и пошел по проселку в деревню...

Вот почему в музее нет таблички с моим именем. С первооткрывателями иногда случается такое, что мешку муки, ручью или пойманной черепахе они радуются не меньше, чем открытому острову. Но мне до сих пор жаль, что я променял мое единственное в жизни открытие на горсть картошки, которую теперь продают на каждой улице.

Ватник
с дыркой на плече

(Рассказ)

Школа помещалась в бывшей гимназии. Метровые стены из красного кирпича и сводчатые окна делали ее похожей на средневековый замок. Сходство усугублялось крутыми лестницами, ступени которых были выложены рифленой сталью, полумраком длинных коридоров и неистребимым холодом, тянувшим из углов. За войну школу ни разу не вытопили как следует.

Жиденькие порции сырых осиновых поленьев, самолично выдаваемые директрисой, лениво таяли в зевах печек, оставляя после себя едучий дым, от которого першило в горле и надоедливо постукивало в висках.

На уроках ребята сидели в пальто. В чернильницах замерзали чернила, и не раз случалось, что во время ответа у доски мел вываливался из закоченевших детских пальцев.

На переменах тоже нельзя было согреться. Четыреста граммов хлеба по иждивенческим карточкам, сухая картошка и пустые щи не располагали носиться по коридорам, устраивать «кучу малу» или «жать масло». В свободные минуты все, от первоклашек до учителей, норовили оказаться поближе к печкам, утешаясь иллюзией тепла.

Запас немецких слов, оставшихся в памяти от службы в полковой разведке, кормил Николая Орехова после демобилизации.

Причудливая судьба суматошного послевоенного времени забросила его в степной городок, где школа маялась без учителя немецкого языка. Справка о трехмесячных курсах фронтовых переводчиков оказалась достаточной, чтобы коротко стриженая, мужского облика директриса

привела в класс нового учителя и через две минуты закрыла за собой дверь, предоставив Николаю, как щенку в известной присказке, барахтаться в педагогическом омуте, чтобы не пустить пузыри.

До войны Николай мечтал стать геологом. Но через неделю после выпускного вечера в школе пришлось надеть шинель, навернуть обмотки на тощие икры и топать в маршевой роте, чтобы заткнуть очередную прореху на фронте, каких случалось немало в горькое время отступлений и потерь.

За войну Орехов научился стрелять, резать проволоку, копать окопы, спать в снегу, кидать гранаты, варить похлебку из концентратов и без лишнего шума брать «языков».

После демобилизации это оказалось ненужным, а другого он ничего не умел. Из довоенной жизни отчетливее всего в памяти сохранялась школа и учителя. И Николай не видел хитрого в том, чтобы учить ребят счету, склонению, спряжению или закону Архимеда. Тем более немецкому языку, где на первой странице учебника были нарисованы две веселые девочки.

«Анна унд Марта баден».

Это милое «баден» много раз вспоминалось на фронте, когда Николай форсировал реки и речушки на «вспомогательных средствах», уцепив зубами ремень автомата, пристроенного на затылке, когда, спасаясь от фрицевской погони, залезал по горло в камыши или болотные бочаги, когда барахтался в Одере, в его холодной апрельской воде, держась за обломок понтона, расколошмаченного снарядом.

То ли потому, что Николай оказался единственным учителем-мужчиной, то ли потому, что ходил в гимнастерке с орденской планкой и нашивками за ранения и рассказывал про полковую разведку, дело с первых же дней пошло неплохо.

Ребята старательно учили склонения и спряжения, сносно выполняли домашние задания и уже через пару месяцев могли сказать по-немецки, что сегодня хорошая погода, что они любят делать прогулки, что мы строим много «тракторен унд моторен».

Не мог Николай сладить только с Кашиным, большеголовым, хмурым пятиклассником, темные глаза которого

умели надолго застывать в одной точке. Кашин удирал с уроков немецкого языка, в первую же неделю «посеял» учебник и не заводил тетрадь для выполнения домашних заданий.

В тех случаях, когда с немецкого удрать не удавалось, Кашин норовил сорвать урок.

К колам и двойкам, появлявшимся в классном журнале, он относился с полнейшим безразличием.

Выведенный из себя мальчишеским упрямством, Орехов пригласил Кашина после уроков в учительскую и устроил разговор с глазу на глаз. Поначалу он решил одолеть Кашина штурмовым натиском, потому разговор повел круто. Надо признать, что не все его слова соответствовали педагогическим строгим канонам.

Привалившись плечом к косяку двери, Кашин слушал раскаты учительского грома и смотрел на шкаф. Проследив стынувший в одной точке мальчишеский взгляд, Николай заметил на дверце шкафа чернильное пятно и догадался, что Кашина в процессе воспитательного разговора больше всего интересует вопрос, на что походит пятно — на сидящую дворнягу или на лодку с парусом.

Тогда Николай изменил тактику беседы. Собрав красноречие, начал рассказывать о чудовищных последствиях, которые испытывали на фронте люди, получавшие в пятом классе двойки по-немецкому.

— ...Ты представляешь, Володя, что было бы с нашей группой, если бы на оклик часового я не ответил по-немецки?

И Кашин стронулся. Он переступил с ноги на ногу, и на лице скользнула неловкая улыбка.

— Или при ответе перепутал артикль? Наврал в спряжении?

Кашин прикрылся рукавом ватника. Николай услышал булькающие звуки и увидел, как дрогнули плечи ученика.

— Ты что, Володя?.. Почему ты плачешь?

Кашин отрицательно мотнул головой, и плечи его задрожали сильнее.

Николай отвел руку от мальчишеского лица и похолодел от злости.

Кашин не плакал. Он смеялся тем, почти беззвучным смехом, каким мальчишки умеют заливаться на уроках.

Николай невероятно вымотался за шесть часов уро-

ков, дома его ожидала груда тетрадей, которые нужно было проверить к завтрашнему дню, и контрольная работа из заочного института. Битый час он вдалбливал в башку Кашина древнюю истину насчет света учения и тьмы невежества.

А тот смеялся.

Захотелось стукнуть кулаком по столу, ко всем не очень педагогическим словам прибавить еще покрепче, из солдатского фронтового лексикона, и прогнать этого чертенка с глаз долой.

Он сдержался. Не стукнул, не закричал, не выпроводил Кашина из учительской с наказом не появляться в школе без родителей. Он уселся на диван и принялся скручивать цигарку из крепчайшего самосада, который покупал на рынке.

От нахлынувшей злости пальцы плохо слушались, бумага рвалась и самосад просыпался на брюки.

— Вы «козью ножку» сверните, Николай Иванович.

Орехов вскинул голову, ожидая очередного подвоха. Кашин смотрел на учителя сочувствующими и немного виноватыми глазами. Так, будто ему было неловко, что попусту потрачено время в бестолковой нотации, что фронтовому разведчику, пеленавшему «языков», пришлось не солоно хлебавши отвалить от непрошибаемого дота, который был сооружен в мальчишеской душе.

— Мой папа всегда «козьи ножки» сворачивал,— объяснил Кашин в ответ на растерянный и спрашивающий взгляд учителя.— Большущие... И табак он сам крошил. Топором в деревянном корыте. Сверните «козью ножку», Николай Иванович...

«Вот нахалюга!» — гневно подумал Орехов, но неожиданно для себя послушался совета и свернул «козью ножку».

Кашин улыбнулся и подошел к дивану. Склонив набок голову, он смотрел, как учитель ударами кресала пытается запалить трут «катюши».

— Надо в марганцовке его вымачивать, Николай Иванович... Тогда с первого раза загорается...

— Почему ты не учишь немецкий? — спросил Орехов без надежды на ответ.

Володя вздохнул, пригладил ладонью полуоторванную заплату на рукаве ватника и поднял глаза. Николай впервые рассмотрел их. У Кашина они, оказывается, не

были ни хмурыми, ни темными. Такими их делала синюшность тонких век и тени костлявых впадин на сухом лице, из которых глаза смотрели, как из глубоких колодцев.

— Почему?

В выражении мальчишеских глаз появилась снисходительная участливость, какая бывает у людей, вынужденных отвечать на вопросы, где ответ и так ясен и спрашивать совершенно ни к чему.

— Фашисты папу убили... Не буду я ихний язык учить.

Безысходно горькие слова отдались в душе Николая, и он подумал, что Кашин в сущности прав. Представил себе отчаяние мальчика, когда в дом принесли похоронку, страшный листок с казенной фиолетовой печатью, и оказалось, что больше нет отца. Обезумев от свалившегося горя, Кашин решил не прощать тем, кто убил. Понимая разумом, что он слаб и ему не достичь убийц, Володя стал вынашивать отмщение. Мальчишеская голова придумывала страшные казни и тут же отвергала их. По складу характера Кашин был реалистом. В слепой беспомощности неотступных дум он нашел наконец доступную и зримую форму мести.

«...Не буду я ихний язык учить...»

Это дало крохотную, но такую нужную отдушину, позволившую чуть-чуть ослабить тяжесть навалившегося горя.

Николай подумал, что в ненастье у него самого люто ноет правая нога, где в голени сидит осколок мины, что всего полтора года назад под Бреслау эсэсовцы добили раненого Лешку Клемина, верного дружка, весельчака и заводилу, не боявшегося ни черта, ни дьявола, ни очередей в упор. Вспомнилась сестра, погибшая в сорок втором под бомбами «юнкерсов» в эшелоне эвакуированных. Четырнадцатый год шел Альке, пацанка еще. Так жизни и не увидела.

До войны Орехову рассказывали в школе, что немецкий — это язык Гете и Канта, Маркса и Бетховена. А он на нем слышал чаще всего команды «фойер», всполошные «алармы» часовых и шипящее слово «шиссен» во всех формах, лицах и временах...

— Что же теперь делать, Володя?

— Война, жалко, кончилась, Николай Иванович, а то бы я на фронт удрал.

— Нет уж, не будем жалеть, что кончилась война.

— Вообще-то, конечно,— рассудительно согласился Кашин и покосился на стенные часы.— Можно мне идти? Мама сегодня в вечернюю смену работает, Лидку надо из садика взять... Сидит уж там, наверное, в три ручья заливается.

— Иди,— торопливо ответил Орехов, ощутив вину перед Кашиным за нелепый разговор в учительской.

Кашин перестал удирать с уроков немецкого. Терпеливо, как пассажир, ожидающий пересадки, высиживал их от звонка до звонка, по-прежнему равнодушный ко всему, что на них происходило.

Орехов не донимал теперь его наставлениями и укорами, не вызывал к доске, не ставил ни единиц, ни двоек. Педагогическая наука не могла осилить Кашина. Володе нужно было дать время успокоиться, отойти немного от собственной беды. Изменить свое решение мог он только сам. Выговоры и нравоучения будут лишь плескать керосин в упрямый костер, который разожгла в мальчишеской душе наивная фантазия. В костре должны выгореть дрова. Тогда он угаснет сам собой.

Школьная программа, к сожалению, не учитывала столь тонких и индивидуальных психологических нюансов. Это сказала директриса после очередной проверки классного журнала, ткнув карандашом в девственно чистую с начала четверти строку против фамилии Кашина.

— Как так не желает учить? — удивилась она объяснению.— Мало ли что он там выдумал... Вы обязаны добиться, чтобы Кашин учил немецкий язык. Вам, между прочим, именно за это зарплату платят. Значит, не сумели найти подход, не сумели потребовать, не проявили настойчивости...

Директриса употребила чуть не десяток глаголов с отрицанием «не», а к ним прибавила известную и загадочную аксиому насчет того, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя.

— Придется помочь вам, Николай Иванович, воспитать в себе требовательность...

Орехов неуютно шевельнулся на стуле. Метод воспитания, применяемый директрисой, в основе напоминал средневековую казнь, при которой на выбритую макушку осужденного капля за каплей льют холодную воду. Вместо капель директриса употребляла невинное выражение, начинавшееся вводной фразой: «А вот член нашего педа-

гогического коллектива...» Далее следовала фамилия члена, снижающего недостаточно активной работой показатели успеваемости и дисциплины. Когда такая фраза произносилась на каждом педсовете, совещании и собрании, при каждой встрече и разговоре, у подчиненного резко возрастала активность и больше всего на свете ему не хотелось снижать показатели и предавать забвению поставленные задачи.

— Надеюсь, что в течение месяца, Николай Иванович, вы решите проблему Кашина,— добавила директриса.

Орехов понял, что ему предоставляют последнюю отсрочку уготовленной казни.

— Попытайтесь найти индивидуальный подход.

Николай кивнул и сердито подумал, что индивидуальный подход к Кашину может быть единственным — возвратить ему отца. Но чудес, как известно, на свете не бывает.

— Признаться, я удивлена вашей беспомощностью, Николай Иванович... Фашистов не боялись, три ордена имеете, а перед пятиклассником спасовали.

Подковырка не на шутку рассердила Орехова, шлепнув его по самолюбию, которое по молодости лет было горячее, как крутой кипяток.

— Будет Кашин учить немецкий.

Орехов решил махнуть рукой на психологические антимонии, душевные переживания и прочие тонкости.

Обязан он учить Кашина немецкому языку — и точка! Правильно директриса сказала, за это зарплату получает.

Вспомнился начальник разведки полка. Собственную гимнастерку капитан для разведчиков готов был снять, самолично отсидеть на «губе» за любую их провинность. Навзрыд плакал над каждым погибшим хлопцем. А в отношении выполнения приказов был тверже стали. Под Осовцом, когда требовалось «распечатать» немецкую оборону и добыть «языка», он гонял весь взвод разведки через линию фронта, пока изловчились и притащили губастого ефрейтора из недавних «гитлерюгендов». Ефрейтор дал нужные показания, но они никого не обрадовали. Не стоили показания слюнявого фрица тех ребят, которые ради этого сложили головы.

После разговора с директрисой Орехов дал себе сло-

во, что не мытьем, так катаньем допечет упрямого Кашина.

Не может быть, чтобы не нашлось слабины. В любой обороне есть щель, если пошарить как следует.

Он снова принялся теребить Володю. Не давал покоя на уроках, ловил на переменах, поджидал у входа в школу и оставлял на индивидуальные занятия.

Недели две Кашин сносил мытарства, потом принялся удирать с уроков немецкого, ускользать на переменах, а приметив учителя на улице, давал обходной крюк.

Изловить Кашина удалось в неожиданном месте — в очереди возле хлебного магазина. Володя сидел на корточках возле заслеженных горбатых приступков в длинной очереди.

— Опоздаешь в школу, Кашин,— строго сказал Николай.— Или опять нацелился с урока убежать. До каких же пор это будет продолжаться?

Кашин неохотно встал, зябко потопал расшлепанными кирзачами и сказал, что в школу он сегодня вообще не придет.

— Мама заболела,— помолчав, прибавил он.— А я с двух часов ночи в очереди... Вот!

Он повернулся спиной, и Николай увидел номер, написанный мелом.

— Семьдесят четвертый,— скучно сказал Кашин.— Не пошлешь ведь Лидку хлеб получать по карточкам. А здесь как — ушел, тебя сразу исключают... Через два часа только магазин откроется.

Лицо Кашина было землистым, как пыльная булыжная мостовая возле приступков магазина, как латаный ватник с подвернутыми рукавами.

Орехов понимал, что значит не отоварить хлебные карточки, когда дома больная мать и малолетняя сестренка. Он разрешил Кашину не приходить в школу, оглядел очередь и подумал, что хлебный магазин можно было открывать и пораньше.

— Вы барана масляного видели, Николай Иванович? — спросил вдруг Кашин.

Орехов приметил, что глаза Кашина смотрят мимо него, и невольно оглянулся. Через улицу, напротив унылой очереди, блестели витрины чайной, где была устроена городская кулинарная выставка.

— Ты не гляди туда, Володя, а то, чего доброго, ап-

петит еще разыграется,— сказал он, тронув Кашина за плечо, и заторопился в школу, в нетопленные классы к ребятишкам, ослабевшим от долгого житья впроголодь.

Через три дня Кашин появился на уроке немецкого языка и первый раз поднял руку.

— Пожалуйста, Володя,— торопливее, чем следовало, сказал Николай.— Что ты хочешь спросить?

Класс притих, удивленный, как и учитель, поднятой рукой Кашина.

Хлопнув откидной крышкой парты так, словно выпалили из «сорокапятки», Кашин встал и спросил:

— Николай Иванович, правда, что кулинарную выставку съели? Иволгин говорит, что на банкете съели...

Орехов смешался. Он ощущал на себе три десятка в упор нацеленных глаз, прямых и бескомпромиссных, решающих все «по правде», по этому трудно объяснимому и мало понятному для взрослых критерию ребячьей справедливости.

Они ждали ответа, а учитель ничего не мог сказать. Соврать он не имел права. То, что следовало ответить, отнюдь не предназначалось для классной аудитории.

Как при встрече у хлебного магазина, Орехов ушел от ответа, ощущая противное состояние собственного бессилия. Похожее на то, когда лежишь под бомбами с автоматом и понимаешь, что ничего не можешь сделать с воющей смертью, которая изгаляется над головой, заходя то кругами, то устремляясь в пике.

— Не знаю, Володя... Во время урока не следует отвлекаться посторонними вопросами.

— Ладно,— согласился Кашин.— Другой раз я на переменке буду спрашивать.

Вот чертенок! Теперь на переменках Николаю придется убегать от Кашина.

— У Иволгина батька в райторге работает... Ему после банкета коржики выдали. Круглые... Знаете, которые в крайнем окне лежали. Горочкой. Рядом с ватрушками.

— Не знаю,— перебил Николай не в меру разговорившегося Кашина.— Садись на место.

Володя снова сказал «ладно», но за парту не сел. Пригладил ладонью торчащие, как колючки у ежа, жесткие волосы и задал главный вопрос:

— Николай Иванович, а если бы вас на банкет позвали, вы бы пошли?

Орехов разозлился. Не хватало еще, чтобы мне на уроках устраивали допрос. Ясно ведь, как божий день, что это очередная «штучка» Кашина, затеявшего сорвать урок немецкого.

Николай хотел было просто-напросто выпроводить бузотера из класса, но его остановили мальчишеские глаза. Настороженно прищуренные, посверкивающие в глазницах, они впились в учителя, примечая каждое его вольное и невольное выражение лица.

Орехов ответил, что он не пошел бы есть кулинарную выставку. Это была правда, хотя неделю назад возле водопроводной колонки, когда он снял наполненное ведро, у него зарябило в глазах, дома закрутились, и голодный обморок распластал его на скользкой наледи.

— Там, Николай Иванович, баран из сливочного масла был,— попытался Кашин соблазнить учителя.—Больщущий...

— Все равно не пошел бы, Володя,— ответил Орехов и по тому, как смылась в мальчишеских глазах настороженность, понял, что ответу поверили.

— Садись на место.

— Ладно,— согласился Кашин, уселся за парту и непроизвольно сглотнул слюну.

По этому инстинктивному движению, по глазам, убежавшим взглядом в сводчатое, мутное от грязи окно, Орехов понял, что Володя пошел бы на выставку, если его позвали. Не отказался бы там от колбас, от сала, от коржиков и торта. А уж про барана и говорить нечего.

Кашин не собирался срывать урок. Ссутулившись, втянув голову в ватник, он сидел притихнув, думая о чем-то своем. Торчали в стороны волосы, и глаза с синими полукружьями стыли в одной точке.

Неприметно вглядываясь в нахохлившегося Кашина, Орехов вдруг сообразил, как много разномастных латок нашито на его ветхом ватнике, который к тому же не подходил по размеру к его узкоплечей поджарой фигуре.

«Наверное отцовский»,— подумал Орехов и понял, что не только из-за мстительного упрямства Кашин не хочет учить немецкий. Володю надо было еще накормить досыта, одеть в новую одежду, освободить от очередей у хлебного магазина, от домашних забот, свалившихся на него вместе с военным сиротством, прихварывающей матерью и малолетней, неразумной еще Лидкой.

Кашину надо было возвратить не только погибшего отца, но и детство, украденное войной.

Душеспасительные разговоры, строгие нотации и индивидуальные занятия здесь не помогут. Прежде всего Володе надо купить новый ватник. Орехов обрадовался простой и ясной мысли. Именно с ватника надо начинать обучение Кашина немецкому языку.

Для зарплаты Николая такая нагрузка была непосильной. Поэтому в день получки он устроил в учительской летучий митинг.

— Видели в каком ватнике ходит Кашин? — спросил он учительниц.— Отца убили на фронте, мать болеет.

Дальше он не стал продолжать. Отсчитал двадцать рублей и положил их на стол.

— В моем классе у Воронина тоже последние ботинки порвались,— сказала учительница химии.— Вторую неделю в школу не показывается. Мать заявила, что до тепла ему на уроках не бывать... Почему только Кашину?

Орехов отсчитал от жиденькой пачки еще двадцать рублей и с тревогой оглядел учительниц, у которых в классах было немало худых ватников, разлетевшихся ботинок и продранных штанов.

Непросто было откликнуться на благородный призыв. Николай видел, как медленно двигались испачканные мелом пальцы Татьяны Федоровны, пожилой математички, ходившей с костыликом. После гибели мужа на ее шее сидело четыре сорванца. Видел, с какой нерешительностью отсчитывала захватанные рубли из скудной зарплаты учительница начальных классов Марья Петровна, которой война повесила на плечи дочь, прикованную к постели после ранения позвоночника.

Три дня Орехов и учительница химии ходили по толкучке, размещавшейся на окраинной улице. Здесь меняли брюки на пшено и селедку на таблетки сульфидина. Сбывали с рук древние подсвечники, соблазняли самодельными леденцовыми петушками, играли в «три листика» и рассказывали по картам твою жизнь на десять лет вперед. Божились, попрошайничали, пили магарыч, ловили простаков и сами попадались на удочку.

Здесь продавали все на свете. От ворованной неотбеленной бязи, ветхозаветных патефонов, новеньких, ян-

тарно-желтых, американских ботинок до роскошных гардин, которые, если верить продавцу, украшали то ли виллу Геббельса, то ли охотничий домик Риббентропа.

Ни одну вещь Николай не покупал с таким выбором и придирчивостью, как ватник для Кашина. Он безжалостно ковырял подкладки, мял и тискал материю, чуть не зубами пробовал каждый шов и придирался к пуговицам.

В конце концов он нашел то, что хотел. Разыскал в людской толчее демобилизованного солдата. Тщедушного, почти мальчишку с пронзительно синими глазами, радостными и стеснительными. Солдат продавал армейский ватник. Почти новый, с незалоснившейся еще подкладкой и щеголевато простроченным воротником. В ватнике был единственный дефект — на правом плече белела дырка, затянутая суровыми нитками.

— Под Берлином навылет прошла,— объяснил солдат.— Даже кости не задела... Бывает же такое!

Солдат широко улыбнулся, и Николай улыбнулся ответно. Это же в самом деле здорово, когда под Берлином пуля не задела у человека кость, и теперь он почти дома.

— До Дубровинки на пригородном, а там пятнадцать километров пехом... От Смоленска до Берлина топал, а тут пятнадцать километров — смехота! Деньги на гостинцы надобны. Давай, браток, восемьсот — и по рукам. Это же вещь!

Ватник, в самом деле, был хорош. Добротная ткань защитного цвета, налокотники на рукавах. Форменные со звездочками, пуговицы. Армейский ватник — без обмана. И размер почти впору Кашину.

У Орехова было шестьсот рублей, но он рассказал, кому покупает ватник. Солдат помолчал, погладил пальцем дырку на плече и сдался:

— Давай деньги... Где наше не пропадало!

Учительница химии тоже нашла подходящие ботинки, и они пришли к директрисе. Та со всех сторон разглядела покупки, похвалила их, а заодно и посоветовала:

— Вручите так, чтобы ребята поняли... От себя ведь учителя оторвали. Это надо использовать в воспитательных целях. В педагогике нет мелочей.

Когда вышли из директорского кабинета, Николай спросил напарницу, как она будет вручать ботинки.

— Отдам, да и все. Воронин же босой сидит. Какое еще тут воспитание,— ответила та и, тряхнув кудряшками, убежала в конец коридора, где был ее класс.

Орехов тоже было направился в класс, но раздумал. Характер у Кашина такой, что вряд ли он будет выслушивать при ребятах все, что Орехов скажет в «воспитательных целях» при вручении обновы.

Он попросил нянечку позвать Кашина в учительскую.

Через несколько минут Володя стоял возле двери, привычно прильнув плечом к косяку и уставясь на спасительное фиолетовое пятно на дверце шкафа.

Николай сказал, что школа купила ему ватник.

Володя обалдело моргнул редкими белесыми ресницами.

— Какой ватник?

— Вот! — Орехов вынул покупку и развернул ватник во всю ширь. Показал и блестящие пуговицы, и ромбы налокотников, и туго простроченный воротник, и ладные карманы.

Лицо Кашина стало розоветь, губы разомкнулись, смыв всегдашнюю насмешливую ухмылку, которая старила его. Глаза зажглись любопытными искрами. Кашин оторвался от косяка и сделал несколько непроизвольных шагов к столу, где была разложена обнова.

— Бери, Володя. Старый мать пусть на тряпки использует. В школу будешь в этом ватнике ходить.

Кашин странно поглядел на учителя, и в лице его разлился испуг. Он не ожидал подарка, понимал, что не заслужил такое благодеяние учителей, а потому его охватила опаска, как это бывает при всякой неожиданности.

— Чего же ты смотришь? Бери.

Орехов глядел на Кашина и думал, что в новом ватнике у него будет совершенно иной вид. Надо только заставить подстричь космы и сменить рубашку.

— Бери!

Кашин спрятал руки за спиной и попятился к косяку.

— Не надо мне ватник, Николай Иванович,— просящим незнакомым голосом сказал он.— Мне мама к Новому году купит... Сказала, что купит. Лидке ботинки, а мне ватник... Не надо мне ничего.

Орехов растерялся. Из головы вылетели все «воспитательные слова», которые он хотел сказать Кашину. Он принялся уговаривать Володю, чтобы тот взял ватник.

— Я же три дня по толкучке таскался, пока его купил... И размер тебе в самый раз... Что же ты отказываешься? С учительницей химии мы его покупали...

Николай говорил искренне и бестолково. Зачем-то рассказал о происхождении дырки на плече и заставил Кашина ее потрогать.

— Из винтовки стреляли... Если бы из шмайсера, много больше разорвало... Снайпер, наверное, бил.

— И промахнулся,— добавил Кашин, довольный тем, что пуля неведомого снайпера не достигла цели. Застенчиво улыбнулся и взял подарок.

— Спасибо, Николай Иванович,— тихо сказал он и погладил ватник.— Пуговицы у него настоящие, военные.

— Армейский ватник... У меня на фронте такой был. Теплая штука.

— Мой папа тоже в таком на войну уезжал. Мы с мамой ходили на вокзал провожать. Лидка тогда еще родиться не успела.

Володя заботливо свернул ватник и нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Ну, теперь, Кашин, гляди! — улыбнулся Орехов и погрозил ученику пальцем.— Гляди теперь у меня!

Николай грозно сдвинул брови и навел на лицо такое выражение, что Володя прыснул в кулак и выскочил из учительской.

Топот расхлестанных кирзачей гулко откликнулся в пустом коридоре, затем хлопнула, будто пальнули из «сорокапятки», входная дверь.

«Удрал из школы»,— догадался Орехов и подошел к окну.

Зажав под мышкой ватник, Кашин со всех ног мчался по школьному двору. Он ни разу не оглянулся, хотя наверняка знал, что Николай смотрит вслед.

Это расстроило Орехова. Он подумал, что директриса, опытный и знающий педагог, безусловно, была права, советуя продумать порядок вручения подарка.

Воспитательного значения из бестолкового разговора в учительской не вышло. Николай ожидал, что после получения ватника, Кашин отправится в класс, мучаясь угрызениями совести, сядет за парту, чтобы без всяких промедлений наверстывать упущенное в занятиях.

А он удрал из школы, словно ничего не произошло, словно ватник получил просто так. Только потому, что

классному руководителю надоело видеть его латаную хламиду.

Нет, Кашин. Вместе с ватником ты взвалил на плечи кучу обязанностей. И двойки теперь тебе придется срочно исправлять, и с уроков ты больше убегать не станешь, и учительницам дерзить кончишь. И немецкий язык будешь учить, как миленький, потому что этого требует школьная программа. И точка!

На другой день Володя явился в школу в новом ватнике, ладно сидевшем на его поджарой фигуре. И лицо его было чисто вымыто, и под ватником белела свежая рубаха, и колючие вихры то ли были подстрижены, то ли старательно приглажены.

Из окна учительской Орехов видел, как во дворе Володю обступили ребята. Видел, как Кашин отталкивал любопытные руки, норовившие пощупать обнову. Проверить, крепко ли пришиты пуговицы со звездочками, надежно ли пристрочены карманы и хлястик с пряжкой.

Когда Николай вошел в класс, Володя улыбнулся ему так, словно учитель был одним из приятелей, с которыми Кашин ходил на речку, в лес за опятами, играл в лапту и казаков-разбойников.

— Проверим домашние задания,— объявил Николай, раскрыл журнал и многозначительно посмотрел на Кашина.

Тот не смутился, не отвел глаза. Продолжал улыбаться доверчиво и открыто.

Тетради для домашних заданий по немецкому языку у него не оказалось, хотя Николай втайне надеялся, что именно с тетради Кашин начнет наверстывать упущенное.

Это рассердило Орехова. Но он подумал, что Володя, видимо, пока не в состоянии справиться с домашними заданиями. Ведь с самого начала года он не выучил ни одного урока.

Николай вызвал Кашина к доске. Попросил написать и перевести первую фразу из учебника. Про Анну и Марту, которые «баден». Уже это-то он должен был уметь наверняка.

Володя писать и переводить не стал. Он переминался у доски, крошил мел, неряшливо просыпая его на пол и продолжал дружелюбно улыбаться учителю.

Беспричинные, нелепые улыбки вывели Орехова из

себя. Он понимал, что Кашин может написать и перевести фразу, но не хочет это делать.

— Как тебе в конце концов не стыдно? — всплылил Николай.— Вчера ты удрал из школы, сегодня ты не приготовил урок. Более того — ты нарочно не хочешь написать на доске то, что можешь написать. До каких пор это будет продолжаться? Неужели и помощь учителей для тебя ничего не значит? В ответ на доброе отношение ты снова принялся за старые штучки...

— Какая помощь? — спросил Кашин, и в голосе его колыхнулось беспокойство.— Я ничего не просил...

— Ты забыл вчерашнее?.. Кто тебе купил ватник?

— Мать ему купила, Николай Иванович! — крикнули с задней парты.— На толкучке у солдата... Он, Николай Иванович, на плече пулей простреленный, фрицевский снайпер стрелял и промазал...

Оказывается, вдобавок ко всему, Кашин наврал товарищам. Обманул их беспардонным образом. Мало того что он лентяй и нарушитель дисциплины, он еще и лжец. Это нельзя было оставлять без последствий. Орехов мог терпеть мальчишеские озорные проделки, но обман он не принимал. В принципе. Ни от кого и ни в какой форме.

— Этот ватник...— растягивая слова, заговорил Николай.

Кашин съежился, будто ожидая удара. Глаза его отчаянно метнулись по сторонам. Потом застыли на лице учителя, просящие и умоляющие.

Кашин боялся правды. Он требовал, чтобы ради него обманули три десятка притихших пятиклассников. Учеников, для которых Орехов был мерилом справедливости и правды. Какой бы трудной она ни была.

Николай оглядел класс и закончил фразу.

— ...купили ему учителя на собранные деньги.

Глаза Кашина полыхнули такой откровенной ненавистью, что Николаю стало не по себе. Володя осторожно положил мел, отряхнул испачканные руки и пошел к двери.

— Ты куда, Кашин? У нас урок... Немедленно сядь на место!

Володя остановился, оглядел учителя холодными глазами, взялся за ручку двери и осторожно, без пушечного прихлопа, закрыл ее. Так, как закрывают дверь в комнате, где лежит тяжко больной человек.

Ребята молчали, как по команде уткнувшись в раскрытые учебники и тетради для выполнения домашних заданий. Сидели так тихо, что было слышно чириканье замерзшего воробья за грязным оконным стеклом.

Неделю Кашин не появлялся в школе. Потом Николай снова увидел его в ветхом ватнике, на спине которого прибавилась свежая латка.

В тот день Володя выполнил домашнее задание, но это не обрадовало Николая.

После уроков Орехова окликнула на дворе женщина с болезненно худым лицом. В руках ее был сверток.

— Вы будете Николай Иванович?

Орехов остановился, догадываясь, что перед ним мать Володи Кашина.

— Возьмите обратно.

Она развернула старенький платок, и Николай увидел знакомый ватник с дыркой на плече.

— Не нужна ваша милостыня... Не нищие.

Глаза у нее были такие же, как у Володи, когда он уходил из класса.

— Зачем парня-то срамотить?

Орехов не знал, что ответить.

— Отца у него убили. Неуж сообразить не можете, что такое одежиной не заткнешь. Ученые ведь люди, должны понимать.

Тихие слова были как камни. Николай не уклонялся от них, не пытался оправдаться. Стоял, принимая почти физически ощутимые удары тихих, булыжной тяжести слов.

— Рукав я тут немного подшила. Неуемный Володька, в отца характером... Ножиком надумал ватник изрезать. Хорошо, я углядела и отняла. Зачем добрую лопотину портить. Берите ваш подарочек. Дороговат он для нас. Мы уж как-нибудь сами горе осилим. Не лезьте вы в него...

Орехов взял ватник и зачем-то сказал «спасибо».

— Чего теперь спасибом загораживаться,— вздохнула женщина.— Будет Володя вам по-немецкому учиться. Упросила я. Так что своего добились.

Повернулась и ушла, не простившись.

Родимушка

(Рассказ)

— Надумал, значит, Петрей Романович?

— Надумал, Анфимья,— ответил дед Пека.

Он возился в печном углу, перебирая на полках в полутемном закуте вещи, которые сами собой скапливаются в доме за долгое житье. Бренчал ключами от несуществующих замков, удивленно рассматривал покосившиеся подсвечники и цепки от лампадок, сломанные ложки и медные шарики, назначение которых он теперь не мог сообразить.

— Уедешь, на нашем порядке всего три живых дома останутся... Пролетко мне вчера жалился. Солнышко, говорит, Анфимья, еще вижу, а другое все у меня затемнилось.

— Плохой он стал зрением... Годок мне. В гражданскую вместях партизанили, в отряде Павлина Виноградова. Бойкой тогда был Илья Степанович, варовой. Одно слово — Пролетко...

Петр Романович, а по-уличному дед Пека, с грохотом задвинул ящик и смял в ладони жидкую бороду, вспомнив, как весной сменил на крыльце изношенные перила и старинный дружок не узнал его дом. Сухой и щуплоплечий Пролетко потерянно топтался у крыльца, тыкал клюкой в отремонтированные ступени, шарил по незнакомым гладкоструганым доскам перил и задирал голову, силясь высмотреть что-то незрячими белыми глазами.

Петр Романович за руку провел его в избу.

— Умахнешь в город и на деревню не оглянешься. Да и что оглядываться? Сиротеет родимушка наша, пустеет с каждым годом. Ране триста с лишним домов было, и в каждом куча народу, а теперь и пятой доли не насчи-

таешь. Молодые нонь целятся, где житье полегче. А у нас ведь как — одних дров на зиму сколько надо запасать...

Ширококостная, с плоским, щадровитым от давней оспы лицом, Анфимья просторно расселась на лавке возле окна. Безбровые глаза ее, спрятанные в складках толстой кожи, зорко вглядывались в старье, которое перебирал дед Пека.

— В городе-то, сказывают, батареями топятся и в кухне вода из крана текет. К проруби, как у нас, с ведрами не бегают. Благодать! Не бывала я еще в городе, Петрей Романович. От добрых людей только про то житье слыхивала... Манька, племянница, не заикнется и в гости пригласить. Верно говорят, что родня, как зубна болесть... Остареешь, так никому ты не нужна.

— Крепка ты еще, Анфимья... А мне на масленой семьдесят три годка сверсталось... Ты на Маньку сердца не держи. У молодых интересы другие. Наше с тобой времечко под гору укатилось. В ногах мы теперь путаемся, небо коптим. Вот и весь сказ.

— Так то оно так, а ведь сам в могилу не запихаешься... Тебе, Петрей Романович, полдела на старости жить. Этакого сына вырастил, пенсию получаешь. А я на свете одинешенька, как божий перст.

Анфимья сокрушенно вздохнула, без нужды поправила платок и вытянула шею, чтобы получше рассмотреть пригоршню пыльных пробок от разбитых графинов, которые дед Пека, покатав на ладони, собирался кинуть в мусорное ведро.

— Андрей-то где?

— Пишет в горнице. Строчит бумагу каждый день от всхожего до закатного часа. И все из головы!

— Гли-кось, какой разумный. Не на доктора он, случаем, выучился?

— По словесной науке идет. Диссертацию теперь сочиняет. Во куда Вайгины заворачивают!

— Я в молодых годах тоже памятливая была, а учиться тогда моды не держали, дак что сделаешь... Акафисты всё еще без запиночки читаю.

— Акафисты! — передразнил дед Пека, искоса поглядывая на соседку и пытаясь сообразить, какая нужда привела ее спозаранку. Свой интерес у Анфимьи был. Жизнь прожил дед Пека с ней бок о бок. Жох-баба, его соседушка. В дождь бороной укроется, с алтыном к руб-

лю подъедет. С ней уши не развешивай. Неделю назад две жердины в момент из огороды вывернула. Пока дед Пека сообразил, что к чему, те жердины сгорели в Анфимьиной печи.

— Квартира у Андрея большая?

— Три комнаты... Да еще кухня отдельно, ванная и коридор.

— Хорошее тебе житье будет, Петрей Романович. Кому, говорят, поведется, у того и петух несется. Скоро ли укатишь-то?

— Недели, видно, через две,— ответил дед Пека и со стуком прихлопнул дверцы кухонного шкафа из темных сосновых досок, сработанного в молодости собственными руками. Вздохнул и оглядел просторную кухню с могучей печкой, с крепкими тесаными лавками вдоль стен, с ухватами, аккуратно составленными в запечье, с кованым крюком на потолке, на который давно не было нужды вешать люльку-зыбку. Валялась зыбка, резная, с точеными столбиками по бокам, на чердаке, в пустом хламе. Скоро кинет все это Петр Вайгин, заколотит окна досками. Еще две доски крест-накрест прибьет на входную дверь и укатит в город.

Летом в деревню приехал сын, сказал, что проживет месяца полтора, чтобы в спокойной обстановке закончить диссертацию, а потом увезет отца с собой в город.

— Как так в город? — удивился дед Пека словам Андрея.— Мне и здесь, на родимушке, житье ладное.

— Вместе будем, отец. Чего тебе одному маяться. Когда мама жива была, еще туда-сюда. А теперь... Тоскливо ведь тебе в пустом доме жить.

— Вроде бы уж обвыкать стал,— слабо воспротивился дед Пека, понимая, что Андрей говорит правду.

Худо жилось в доме без хозяйки. Второй год пошел, как проводил Петр Романович Катеринушку на погост, под «зеленое одеяло». Топталась по своим делам, вроде и на здоровье не жаловалась, а прошлой зимой после чая откинулась на спинку стула и отошла. Половину души вынула у Петра Романовича.

— Нина тебя просит приехать. Внучата деда дожидаются. Персональное приглашение прислали.

Андрей улыбнулся и подал отцу лист бумаги в косую линейку, на котором печатными буквами, разноцветны-

ми карандашами были написаны приветы от внуков и приглашение скорее приезжать. И самолет был нарисован с винтом и крыльями.

От того листа защемило в груди. Двое внуков растут. Колька да Дмитрий. Кольке с весны шестой год уже пошел, а Димитрий пока еще на четырех шастает. На фотокарточке только видел внучат Петр Романович. Разве это порядок, если разобраться. Два вайгинских мужика на свет народились, два молодых отросточка от поморского корня, а родной дед еще их на руках не держивал, ни свистульки им еще не смастерил, ни самострела...

Втайне Петр Романович ждал от сына приглашения и был благодарен Андрею. Но слова сына испугали его. Одно дело слова послушать, а другое — по тем словам жизнь перевернуть. Шутка ли в одночасье старому дереву коренья из земли вывернуть.

Много было с Андреем говорено за лето. Но переупрямил сын. Теперь все было решено, и начал Петр Романович потихоньку готовиться к переезду в незнакомый ему город Ярославль, что стоит на берегу Волги и, по уверению Андрея, красивее того города на свете нет.

— Бочку бы ты мне, Петрей Романович, отдал,— ерзнув на лавке широким задом, попросила Анфимья.— Уедешь, и пропадет бочка попусту, а я бы приспособила волнухи солить. Третьеводни у Щукозеру за вениками бегала, дак приметила, что хорошо сей год волнухи уродят... Отдал бы бочку.

Вот, оказывается, куда соседушка нацелилась!

Бочку, сельдянку, дед Пека держал под водостоком. Крепкая бочка, износу такой посудине нет. Разве можно нынешние пластмассовые финтифлюшки, что в рыбкопе продают, с таким изделием сравнять. С Мурмана бочка привезена, когда ходил туда дед Пека последний раз на вешний промысел. Сейчас такую ни за какие деньги не укупишь...

— Бери,— неожиданно для себя согласился он.— Бери, Анфимья. Впрямь ведь рассохнется и пропадет без дела.

— Вот спасибо тебе, Петрей Романович,— обрадовалась соседка и нетерпеливо вскочила с лавки.— Я тебе за то камбал принесу. Вчера на бродки ходила, на вечер-

нюю воду, дак полкорзины добыла. Андрея свеженькими попотчуешь.

— Икряные по такому случаю отбери, да покрупнее... Я рыбников настряпаю.

— Отходит время икряным-то...

— Поглядишь хорошо, так сыщутся.

Анфимья снова без нужды поправила платок и подумала, что камбал теперь придется принести хороших, раз дернул ее леший за язык.

— Бочку, Петрей Романович, я сейчас возьму, чтобы вдругорядь не ходить.

Опершись руками о подоконник, дед Пека смотрел, как соседка катит добычу к своему дому. Крутобокая сельдянка виляла из стороны в сторону и застревала на выбоинах. Упиралась, как скотина, проданная в чужой двор. У крыльца Анфимья вертко нырнула в дом и возвратилась с чугунком горячей воды.

«Воду уж припасла»,— невесело подумал дед Пека, наблюдая за расторопной соседкой.

Анфимья размашисто плеснула воду в темное нутро бочки, и та враз окуталась белым паром. Будто глубоко и покорно вздохнула, принимая новую хозяйку.

В кухню вошел Андрей. Походкой, крепким телом и широколобой головой сын был похож на отца. Материны у него были только глаза, серые, с приметной жалинкой. И волос у Андрея был нетверд. Сорока еще нет мужику, а пролысина приметно легла от лба к затылку.

— Закончил последнюю главу, отец. Теперь осталось заключение, и полный порядок. Осенью выйду на защиту, и будет твой сын кандидатом искусствоведения. «Проблема коллизии, как момент воплощения эстетического идеала»... Ощущаешь, какая тема отхвачена?

— Не порато я, Андреюшка, в твоих ученых делах разбираюсь,— извиняющимся голосом откликнулся дед Пека.

Смешно сказать, но Петр Романович стеснялся взрослого, ученого сына. Собственного, младшенького. Здесь, на кухне, в печном углу, в зыбке его качал. Мальчишкой, бывало, при каждом подходящем случае приучал к веслу, к топору, к ружью.

Вспомнилось, как сделал сыну первые коньки. Обтесал два березовых полешка, понизу вколотил обломки

косы-горбуши, дырки провертел, веревочки приспособил. Радости у Андрейки было! Помнит ли он те коньки?

— Проголодался небось за трудами?

— Нет.

Андрей подошел к буфету и налил стакан вина из большой оплетенной бутылки.

Пил сын заморскую кислятину, неведомо как оказавшуюся в рыбкооповском магазине.

— Хлопнул бы с устатку беленькой. Цельный графин вон стоит. Волнушек я на закуску достану, хошь, яичницу сгоношу на электроплитке.

— Потреблять надо, отец, сухое вино. Оно продлевает жизнь.

— Рано тебе вроде по годам о долгожитье заботиться,— усмехнулся дед Пека, оглядывая пеструю рубашку сына с распахнутым воротом.

Рубах Андрей привез, наверное, десятка два и менял их на дню не один раз, что тоже удивляло Петра Романовича. Не понимал он и научных заковыристых слов, которыми сын играл легко и просто, как дитенок разноцветными окатышами.

Такой век прожил Петр Вайгин, две войны отвоевал и ума вроде у людей занимать не приходилось, а собственный сын постиг такое, о чем отцу слыхивать не доводилось. Оказывается, на свете есть диссертации, кандидаты и научные доктора, которые не лечат людей, а книги пишут да всякие хитрости придумывают. Андрей сказывал, что эти доктора и атомную бомбу сделали, в космос людей научили летать и машины сотворили, которые сами все считают...

Другая дорога выпала сыну. Труднее она или легче, Петр Романович не мог сообразить, хотя опытом знал — всякую жизнь, ученую или неученую, прожить не просто.

— Разбираться понемногу начал? — спросил Андрей, кивнув на мусорное ведро, наполненное пыльными ненужными вещами.— Правильно. Денька через три я на станцию схожу. Заранее закажу билеты, чтобы было у нас с тобой все в полном ажуре... В городе бы покрутил телефончик, и пожалуйста: «Ваш заказ принят... Когда прикажете доставить?» А здесь пехом восемь километров.

— Наше житье — не белые булки. Хорошо еще, что сухая погода стоит, а как дожди примутся, те восемь ки-

лометров до станции сразу на двадцать переворачиваются. На Паноэерском мху кони по брюхо вязнут. Красно, говорят, море со стороны, да хорошо с берегу. Зимой, как сиверко засвистит, носу не высунешь. Летом комарье да оводы тебя жгут, осенью дожди полощут. Одно только званье, что родимушка. А живем, как медведи в берлоге.

— Это ты уж слишком, отец. Хулу на родную деревню возводишь. Не ожидал от тебя. Мне здесь нравится. Тишина. Работается отлично. Что касается остального, ты, конечно, прав...

— Как не прав,— подтвердил Петр Романович и неожиданно рассердился на себя. Вроде своих сельчан ни с того ни с сего обидел, медведями их обозвал.

И не берлога вовсе поморская деревня. Телевизоры почти в каждом доме, кино в клубе катят, в магазине серванты на продажу выставлены, молодые девчата да бабы одна перед одной новыми туфлями да костюмами выставляются. Зачем ему поклеп на деревенское житье возводить? Себя ведь этим все равно не утешить.

Прямо сказать — была в голове у деда Пеки раскоряка в мыслях. Хоть и дал он сыну твердое обещание, а сомнения оставались, и извести их Петр Романович не мог. Вот и сегодня поэтому невесть что городил про родные места. Себя вроде настраивал, чтобы полегче кинуть их, иметь силы уехать прочь. Но полной ясности в мыслях пока и не получалось. Вроде как обрывал дед Пека листья у лопушка, а корень выдернуть не удавалось. А листья — что? Известное дело, корень живой, так вместо оборванных новые вырастут.

Чтобы унять смятенные думы, Петр Романович взял топор и отправился к сараю. Вытащил припасенную еще с весны заготовку для весла и принялся ее обделывать. Привычно успокаиваясь в работе, дед Пека неожиданно сообразил, что новое весло тоже не понадобится, и расстроился еще больше. Злым замахом вогнал топор в суковатый чурбан, служивший для колки дров, и ушел от сарая.

И сарай через две недели станет ненужен.

Да что там сарай,— дом будет ни к чему. Собственный, потомственного поморского корня, дом Вайгиных, сработанный еще дедом Петра Романовича — Акимом Вайгиным. Высокий, из толстенных, чуть не в обхват

бревен, пятистенник с четырьмя окнами по фасаду, глядящими на порожистую реку.

Каждый из Вайгиных, кто в свой черед становился хозяином в этом прочном, сработанным на века доме, вкладывал в него свой труд. Менял столбы фундамента, выбирая для них рудневые тонкослойные, долгого износу бревна. Перекрывал крышу, починял наличники на окнах и мостины на «взвозе», по которому на второй этаж сарая прямиком въезжали с возом сена.

После гражданской войны, когда Петр Вайгин вернулся домой, справил свадьбу и понесла Катерина первенца, пристроил молодой хозяин к дому боковую горницу. Пролетко да покойный Степан Куропоть вызвались плотничать на подмогу, а пильщиков пришлось подрядить чужих. Они за работу выговорили кроме денег еще и харчи. Срядились, чтобы каша каждый день была. Год тогда выпал зяблый, жито на полях вполовину мороз побил. А пильщики кашу с хлебом ели. Давно это было, а все помнится.

Когда сыновья стали подрастать, задумал Петр Романович еще одну пристройку сделать. Бревна навозил самолучшие из Салозерского бора. Две военных зимы их сохранял. А как пришли похоронные на старшего Федюшку и среднего Михаила, пустил бревна на дрова.

Жарко горели в печи те полешки, больно было на огонь смотреть.

Андрей годами на войну не вышел. Думалось, что он хозяином в доме вырастет, а последышек вильнул хвостом и укатил из родного гнезда.

«Колизия естетического идеяла»... Леший его разберет. Только что не матерно.

Вернее верного пса служил Вайгиным старый дом. Спасал от холода и непогоды, веселым гудом половиц отзывался на праздничный пляс, прятал за стенами от чужих глаз горькое хозяйское горе. Не перевелся поморский корень. Четыре мужика землю топчут, а дом пустой. В двух комнатах, в горнице и просторной кухне катается Петр Романович, как сухая горошина в большой банке. Теперь и ее, последнюю, вытряхнут из гнезда.

Расстроенный нахлынувшими мыслями, дед Пека не знал, куда деть себя. Долго сидел на ступеньках крыльца, бродил по подворью, обошел дом. Оглаживал заскорузлыми руками старые, дымного цвета бревна, поправ-

лял в пазах высохшую паклю, которую синицы приспособились воровать на гнезда, осматривал связи углов, отаптывал крапиву, исподволь разорявшую опорные столбы, трогал рассохшиеся, шершавые до седины, доски обшивки.

Дом старел, как и его хозяин. Фасад приметно подался вперед, нижние бревна точила гниль, кособочились стены, нарушая выверенную отвесом строгость линий. Дома ведь тоже рождаются, живут и умирают. Но как и людям, им хочется видеть рядом пахучие срубы сыновей.

— Долгий век, не неделя, всяко наживешься,— сказал дед Пека родному дому, поправляя отстегнутую ветром доску обшивки.— Притулюсь напоследок возле сына, спасусь годик-другой его теплом. Внучат попестую. Кольку да Димитрия, а потом... Дух выйдет, так телом хоть огороду подпирай.

Через несколько дней Андрей ушел на станцию и, возвратившись к вечеру, положил на стол два продолговатых листочка с лиловым отливом и множеством цифр.

— Вот, мягкий вагон на восемнадцатое... А ты, отец, оказывается, знаменитый человек. Начальник станции лично звонил на узловую и добывал билеты из брони. Он тебя хорошо знает.

— Знает,— подтвердил дед Пека.— Хорошо знает меня Сергей Михайлович. Пять лет назад он на охоте заблудился. По тайболе, по мхам аж за Лемсозеро убрел, в самый урман. Я его по следам отыскал и чуть не на себе домой принес — ослабел он, память стал терять... Семьдесят три, Андреюшко, проживешь на одном месте, так у тебя по всей округе корешки протянутся. Тут, как у лесины: главный корень стоймя держит, а малые — соки дают... Не езживал я еще в мягком вагоне.

— Ладно, отец,— неожиданно смутившись ответил Андрей и впервые за отпуск разлил по стаканам не кислый заморский квасок, а настоянную на березовых почках водку.

— Выпьем за Вайгиных!

Дед Пека удивился, принял стакан и чокнулся с сыном.

— За нас с тобой, батя, за Нину, за Димку и Колю, за наш поморский род, за односельчан. За то, чтобы здравствовать тебе в светлом городе Ярославле.

Ночью дед Пека лежал без сна. В голове шумело от выпитой водки и, не отпуская мысли, стояли перед глазами продолговатые, лилового отлива, бумажки с надписью «мягкая плацкарта» и бисером компостерных проколов, отмерявших срок житья в родной деревне.

— Вот ведь как вышло,— говорил сам себе дед Пека.— Всю жизнь на жестком проспал, а на старости подвалило на мягкое перебираться... Был бы Федюшка жив...

Старший сын, погибший на войне, последнее время все чаще и чаще вспоминался Петру Романовичу в ночных думах. Может, и не дошел бы Федор до хитрых наук, но деревенская закваска у него была крепкой. Вернулся бы с войны, наверняка сейчас в колхозе, а то и в сельсовете, председательствовал.

В ночи, как часто случается в здешних непогодливых местах, прилетел ветер. Прошумел за окном в старой рябине и вздохнул в просторной утробе чердака.

— Новые время пошли теперь,— словно оправдываясь непонятно перед кем, говорил сам с собой дед Пека.— Другой у Андрея курс и другая пала ему поветерь. Вот и перекладывай, мореход, паруса, а то кувырнет лодью килем вверх.

Словно отвечая одиноким стариковским раздумьям, скрипнула рассохшаяся потолочина, бренькнула под ударом ветра кованая щеколда на входной двери, гулко хлопнула на сарае доска.

— Слышу уж, чего шебаршишься-то по-пустому. Ты еще на своем месте стоишь, а других вон и вовсе на дрова попилили.

Лесу кругом невпроворот. И сушняка, и березы, и сосны-маломерки на мхах, а в деревне дома на дрова пилят. Дешевле выходит, чем из лесу возить. Такое и разумом не поймешь, пока глазами не увидишь.

— Так-то вот... Ешь корова солому, вспоминай красное лето. Пролетко в худых душах стал. Матвей-председатель крутится в делах, как водяной в мельничном колесе. Анфимья за пять камбал бочку выманила и глаз третий день не показывает. У людей своих забот по горлышко...

Ветер, словно потеряв в темноте главное направление, топтался в старом доме, рождая звуки, которые мы не слышим днем.

Петр Романович слушал их, смятенно принимая то, что в суматохе и толчее жизни представлялось ему всегда мелким, повседневным и нестоящим, что, казалось, легко и просто было отмахнуть в сторону. Сейчас эти легкие нити в ночных раздумьях, в неспешных, понятных лишь ему одному, разговорах со старым домом с каждым новым днем свивались друг с другом, обретая прочность якорного каната. Радостно было понимать их прочность, и брала опаска перед их скрытой силой.

— Ничего,— утешал дед Пека самого себя.— С лишним балластом по морю не ходят... Да и слово сказано. В обрат его теперь не поворотишь. Не ломали еще Вайгины уговоров.

Ночной ветер притащил из хмарной тайги рваные низкие тучи и пролил густой дождь. По дорогам разлились лужи, рябые и пузырчатые от ударов тугих капель. Раскиселилась земля, и с пригорков покатились мутные, сердитые ручьи. Прибитые хлесткими ударами струй, распласталась возле изгородей лопухи, сникла на задворках крапива, и огрузнела, застекленилась трава.

Река вздулась, вспухла, как человек заболевший водянкой, и пролилась в прибрежные низины и ложки. У крутояров завертелись воронки, на быстрине струи стали вязаться в тугие узлы и заплескивать на берег, под стены закоптелых жуковато-темных бань.

Не раз дед Пека выходил на крыльцо в надежде приметить в небе хоть малую просветлину. Но и на третий день тучи стояли обложной пеленой, и дождь лупил, не ослабевая.

С водостока, под которым теперь не было бочки, сливался, дробясь и брызгая на стену, настоящий водопад, катился вдоль двора, подмывал колья и разорял изгородь на картофельном поле.

Дед Пека постоял на крыльце, смахнул с бороды водяную пыль и не полез, как бывало раньше, под дождь с топором и лопатой. Первый раз ему не захотелось печалиться о погибающей изгороди.

— Погода — не вечная мука, переменится,— утешил он себя привычной присказкой и ушел в теплый дом.

После обеда к Вайгиным сутолошно ввалилась Анфимья.

— Петрей Романович, бежи-ко ты скорей! — от порога выпалила она.— Пристань ведь водой уносит!

— Эка беда! — всполошился дед Пека.— Говорено было председателю, что надо новые сваи бить...

— Некогда теперь рассусоливать! Добро пропадает, а ты виноватого взялся искать. Скорее поворачивайся и Андрея прихвати... Я еще к Грибановским слетаю.

Когда Петр Романович и Андрей прибежали к пристани, там уже суетилось десятка два человек. Председатель колхоза, одноглазый Матвей Елуков, перекрывая матерками бестолковый бабий вой, налаживал мостки к амбару на пристани, вполовину залитой разбушевавшейся рекой. В амбаре хранились удобрения, шифер для коровника и мешки с цементом.

— Бабы, выносить из склада! — скомандовал Матвей, когда были сделаны жиденькие, в одну досточку, мостки.

— Мужики, за мной на пристань... С топорами. Настил рубить! Скобы где? Чего скобы не несут, так вашу...

На мостки первой выскочила Анфимья. Взвизгивая от страха, прошла по раскачивающимся доскам над бурлящей водой, нырнула внутрь амбара и тут же появилась с бумажным мешком на плече.

— Давай, жонки! Ходи друг за дружкой! — взвинченным голосом крикнула Анфимья, ловко одолела мостки и с облегчением скинула на увале мешок с цементом.

Стиснутая обрывистыми берегами, вздувшаяся от дождей река, обрала на повороте край суглинка и подмыла сваи. Они наклонились, и половина пристани оказалась под водой. Река в слепом беге наваливалась на затопленный край, пригибала его, ломая скрепы и выворачивая настил. Причальный брус, отстегнутый от упоров, завис и тяжело раскачивался от толчков стремительной воды.

Подмытый край пристани надо было отбить, пока течение не свернуло его в тяжкий ком и не ударило по амбару с колхозным имуществом.

Осторожно, пробуя ногами опору, Петр Романович и Андрей прошли на пристань.

Черные от многолетней грязи, скользкие двухдюймовые доски настила с трудом поддавались топору. Вывернутые из пазов, они упрямо цеплялись за брусья, за бревна поперечных связей. В этой шевелящейся, пугающе поскрипывавшей путанице нужно было вышибать тяже-

лые пластины. До остервенения лупить по ним топорами, раскалывать, отбивать от свайных бревен.

Петр Романович с сиплым хряканьем хлестал топором. Мокрые штаны облепили тощие, с острыми мослатыми коленями ноги. В сапогах хлюпала вода, руки покраснели от холода. Дождь обмусолил редкую бороду в острый клин, с которого при каждом ударе срывались мутные капли. Андрей сутулил спину, облитую черным блестящим нейлоном куртки, и метался от доски к доске. Топор плохо слушался его, попадал не туда, куда целил. Топорище вывертывалось, будто смазанное маслом.

— Нажми, мужики! — азартно орал Матвей.— Поднатужьтесь, други милые, человеки земнородные!

По мосткам бегали женщины, и на берегу росла груда мешков и стопки шифера.

Узкая, с косой трещиной доска, впечаталась, казалось, в тесный паз. Удары обухом по торцу, острые зарубы лезвия не подавали ее и на миллиметр.

Андрей размашисто, сплеча, бил топором и тюкал им почти наугад, пытаясь подковырнуть доску. Мокрый, измазанный грязью с головы до ног, он готов был от злости кинуться на доску, как на живое, яростно сопротивляющееся существо. Готов был рвать ее, пинать, царапать скрюченными озябшими пальцами.

Чертова пристань! Идиотский амбар, куда безмозглый председатель свалил привезенный в карбасах груз. Теперь по его глупости люди мокнут, ковыряются в грязи, обдирают в кровь руки, хлещут топорами до зеленых попрыгунчиков в глазах.

Вскинув голову, Андрей увидел, как отец подбирается к краю пристани, где с глухим потрескиванием ворочался деревянный еж полуоторванных досок.

— Батя, ты куда! Собьет ведь... В реку собьет!

Петр Романович отмахнулся от сына и упрямо брел по колено в воде, ощупью угадывая остатки свайных брусьев. От холодной воды, от дождя, поливавшего без перерыву, лицо у Петра Романовича срезалось, было серым от зябкой бледности.

«Застудится,— подумал Андрей.— Застудится как пить дать... Ревматизм же у него. А он мокрый, на ветру. Вот же чертова работа...»

Один-два таких чрезвычайных происшествия, и старикан, либо сляжет вповалку, либо вообще душу отдаст. В его-то возрасте бродить в холодной воде! Пенсионеры в городе в дождь на улицу не выходят, у врачей каждую неделю проверяются, в скверах прогуливаются под зонтиками, чтобы голову не напекло. Хватит! Свое отец полной мерой отработал. Имеет право на отдых и на покой, и Андрей ему это обеспечит. В обиду не даст. Мировой же старикан, его родитель...

— Бойчей, жонки, бойчей! — подгоняла Анфимья своих подружек.

Ходи ноги, ходи печь!
К председателю бы лечь!..

На пристани колыхнулся хохот.

— Рано языки чесать! — загремел, покрывая его, командирский бас.

Матвей встал на раскачивающемся причальном брусе. Широкий, коротконогий, промокший насквозь, он рубил последнюю связь, удерживающую затопленную часть пристани. Взлетал и блестко падал топор. Брызгала щепа, маслянистыми желтыми ломтиками разлетаясь по воде. С каждым ударом все больше и больше раскачивался брус, и в глубине пристани нарастал угрожающий скрежет.

Доска, с которой возился Андрей, подалась неожиданно и легко. Топор скользом прошел по ней и вывернул из руки топорище. Наткнулся на гвоздь, закрутился волчком и полетел туда, где пробирался на край пристани Петр Романович.

— Берегись! Батя, берегись!

Топор пролетел в шаге от Петра Романовича и плюхнулся в воду.

Дед Пека вздрогнул, повернул голову и, увидев растопыренные руки сына, догадался, что произошло.

— Ступай теперь на берег... Бабам помогай! Без топора здесь делать нечего.

Андрей зло пнул злополучную доску, столкнул ее в реку и ушел с пристани. Зябко подняв воротник куртки, он достал сигарету. Бумага расползалась в мокрых пальцах, отсыревшая зажигалка не давала огня.

— Побойся!.. Ос-те-ре-гись! — разнеслось над пристанью.

Матвей последним ударом просек скользкий, квадратный брус и проворно отскочил от края.

Надсадно заскрипело дерево, всплеснулась фонтанами вода, взвизгнули выворачиваемые скобы. Затопленная часть пристани шевельнулась и медленно стала отплывать на стремнину. Свечкой вымахнуло бревно, обросшее водорослями, оголились пеньки источенных гнилью свай.

Напор воды утянул ворочающийся деревянный ком.

— Отбились! — крикнул Матвей и всадил топор в тулово смоляного, вполовину укороченного бруса. Смахнул рукавом воду с лица и поправил черную заплатку, прикрывавшую погубленный на войне глаз.

— Отбились, человеки земнородные!

В этот момент Петр Романович, у которого отплывающая часть пристани нарушила опору, боком упал в реку.

— Петрей потонул! — протяжно заголосила Анфимья.— Человек в воду пал! Мужили, чего глядите-то!

Андрей моргнул, ошарашенный исчезновением отца, и закричал, пронзительно и страшно, как насмерть перепуганный ребенок.

— Батя!.. Ба-тя-ня!

Кинулся на пристань, зацепился за стопу шифера и растянулся на скользкой глине.

Матвей прыгнул в реку и размашистыми саженками поплыл туда, где с бултыханием бил руками по воде дед Пека.

— «Батяня»,— передразнил он Андрея, когда Петр Романович оказался на берегу и возле него захлопотали женщины, унимая кровь, сочившуюся из ссадины на лбу.

— Чего попусту горло драть, когда человек тонет.

— Не успел я,— ответил Андрей, размазывая глину на куртке и не имея сил уйти от единственного председательского глаза.— Споткнулся, а пока прибежал на пристань, вы уже прыгнули.

— Вдогон надо было. Не я тебя ростил...

— Знаете, Матвей Афанасьевич,— озлился Андрей,— не читайте мне, пожалуйста, нотаций. За отца вам спасибо, а что касается всего остального, увольте от ваших поучений.

— Спасибо, говоришь,— усмехнулся Матвей, и бледные от озноба губы его покривились.— Купцы, говорят, раньше в таких случаях еще рублем одаривали... Ладно,

чего растабаривать. Ученый ты человек, от родимушки нашей ломоть отрезанный. Не поймем мы с тобой друг друга. Отца домой скорее веди, ему надо в сухое переодеться, а то на ветру до костей прознобит... А вы, дорогие жонки, чего полтиннички выставили? Был здесь мужской разговор и кончился. Айдате теперь гуртом амбар опоражнивать.

— Тебе бы, Матвеюшко, тоже домой сбегать, одежу переменить.

— Ничего, Анфимья, у меня шкура солдатская.

Приступ ревматизма уложил деда Пеку в постель. Он крепился из всех сил, стараясь одолеть навалившуюся хворобу. Растирал ноги пахучей мазью, которую принесла молоденькая фельдшерица Люба, грел мешочками с каленой на сковороде солью, кутал пуховым платком, оставшимся от покойницы-жены.

Андрей, обеспокоенный болезнью отца, с утра толокся на кухне. Неумело растопил печь, оттирал на куртке, пострадавшей в пристанской суматохе, грязные пятна, сгреб веником сор в угол. Сбегал в рыбкооп и купил для еды дорогую свиную тушенку и сливовый компот. Принялся ковырять вилкой волокнистое холодное мясо и запивать компотом.

— Самовар бы наставил,— посоветовал дед Пека, с усмешкой наблюдая бестолковое хозяйничанье сына.— Угли вон на загнетке, а лучину для розжига в запечье возьми.

— Обойдусь. Ты поправляйся скорее.

— Обсохнет моя болесть, как божья роса на крапиве. Я ведь знаешь какой — молотком на наковальне сработан. Впервой, что ли, меня ревматизм крутит... Обойдусь.

Превознемогая сосущую боль в суставах, дед Пека старался говорить бойко, чтобы хоть этим успокоить сына. Он опять ощущал себя виноватым перед Андреем. Угораздило его, старого разиню, в воду пасть. Не пал бы в воду, не довелось колодой на постели валяться. От работы Андрея оторвал, обиходить его не может как полагается...

Проведать деда Пеку заглянул председатель. Поздоровался, снял шапку и сел на лавку возле кровати, где маялся со своей болячкой хозяин дома.

По случаю гостя Андрей вспорол ножом еще одну банку с тушенкой и вытащил из шкафа графин. Матвей поблагодарил, но наотрез отказался от налитой стопки.

— На Ворзогорской пожне трактор в болотине увяз. Туда надо еще поспеть, выручить безголовых. Дать бы Семке отставку с машины, а кого вместо него ставить?

— Некого, Матвей Афанасьевич,— согласился дед Пека.

— Сейчас чуть подрос и в город смотрит, а то на ближний лесопункт. А здешнюю землю кому обихаживать? Не чужая ведь она.

— Верные твои слова,— снова поддакнул дед Пека и тут же осекся: сам ведь на старости лет в город нацелился. Завернет туда оглобли и назад не оглянется...

— Уж куда верней,— усмехнулся председатель и встал с лавки.— Значит, через три дня у тебя отвальное, Петр Романович... Без саней мы теперь остались. Будем зимой горе мыкать. Обещался ты с санями помочь. Помнишь, на собрании перед посевной народу говорил — будьте в надеже, пять саней я колхозу смастерю...

— Да ведь так вот дело вышло,— растерянно заговорил дед Пека, вспомнив собственные слова на собрании колхозников.— Разве думалось, что Андрей накатит... Внучата у меня в Ярославле. Колька да Димитрий...

— Понимаю, Петр Романович... Рыба, как говорится, ищет, где глубже, а человек — где лучше...

— Машины вам надо заводить, Матвей Афанасьевич,— вступил в разговор Андрей.— Савраскам с санями время отошло.

— Асфальт вот нам никак пока не проложат на Ворзогорскую пожню,— коротко ответил председатель, нахлобучил шапку и пошел к двери. Уже ухватившись за ручку, глухо, не оборачиваясь, добавил.— На отвальное ты меня, Петр Романович, не зови. Дел много, не успею я с тобой напоследок погостевать. Прямо тебе говорю, чтобы потом обиды не держал.

Нагнул голову перед низкой, тесаной притолокой и шагнул в темноту сеней.

— Да, приветливостью ваш Матвей Афанасьевич не отличается,— проводив взглядом вышагивающего по двору председателя, сказал Андрей.

— Скупой на разговоры, зато на работу щедрый... Людей в колхозе по пальцам пересчитать можно, вот

Матвей и вертится на все четыре стороны и не поспевает прорехи затыкать.

— Косо он на меня смотрит.

— А чего ему на тебя прямо смотреть? Прикатил через столько лет на родимушку и еще одного человека увозишь. Какая-никакая, а помога от меня колхозу есть. Хоть и ноги не бойки, а топор в руках еще крепко держится.

— Ты в самом деле обещал им сани сделать?

— Обещал,— поникшим голосом, словно уличенный в чем-то стыдном, подтвердил дед Пека.— Неладно у меня получилось. Людям обещание выдал, тебе согласие дал... Из головы у меня то собрание вывернулось. Туман какой-то навалился, затемнил все...

— Ладно, брось об этом думать. Через три дня уедем, и дело с концом.

— Нет, Андреюшко, не с концом. Никогда еще Вайгины своих слов попусту не говорили.

— Значит, сказали.

— Нет, не сказали,— отрезал Петр Романович и, упираясь руками, поднялся и сел на кровати.— Не поеду я с тобой, Андрей... Здесь останусь, на родимушке.

— Да ты что, батя, шутишь, что ли? Билеты ведь куплены.

— Освободи ты меня от нашего уговора, Андрей. Прошу тебя, освободи. Тоской я изойду, если отсюда уеду.

Голос у деда Пеки дрогнул, беспомощно и жалко.

— За приглашение твое спасибо, за заботу твою...

— Несерьезно все это, отец. Разве дело в нашем уговоре? Надо же по существу смотреть. Не могу я тебя здесь оставить. Ты болен.

— Выстану. Завтра выстану.

— Завтра встанешь, а через неделю свалишься. Потом случится так, что вообще не встанешь. Кому ты здесь нужен больной?

— Нужен, Андреюшка... Людям нужен. Матвею вот...

— Здоровый, чтобы сани сделать.

— Худо ты о людях думаешь.

— Реально надо мыслить, отец. Мне, Нине, внучатам ты любой нужен. Вот в чем принципиальная разница. И выбрось, пожалуйста, из головы фантазии. Через три дня мы с тобой уедем. Покажу я тебя в Ярославле хорошим врачам, потом в санаторий, подлечишься. Ваша

Люба-фельдшерица, наверное, ревматизм от сколиоза не отличает.

— Молодая еще. Всего год работает.

— Десять лет поработает, тогда все забудет, чему училась. Замуж выйдет и станет у нее главной заботой огород да собственный поросенок. Аспирином и ихтиолкой станет болезни лечить. Это ты понимаешь?

— Отчего ж не понять. Голова, слава богу, есть. И говоришь ты правильно. Только в этом деле еще одна закавыка имеется.

— Какая же?

— Курсы у нас с тобой разные, как у двух ладей в море. Ты с мотором правишь, а я под парусом иду. Только мое судно еще на плаву держится и свой ход имеет. Чего же мне с живого судна к тебе пассажиром пересаживаться.

— Мореходом себя еще считаешь?

— Считаю,— твердо ответил дед Пека и попытался встать с кровати.

Андрей кинулся к нему, уложил и подоткнул одеяло.

— Чудак ты, батя!.. Если бы ты только понимал, какой ты чудило! Знаешь, как мы в Ярославле заживем...

Андрей говорил, перескакивая с одного на другое.

Петр Романович слушал сына и не ощущал обычного стеснения и робости. От них освободила простая мысль, что, хоть и прошел Андрей многие науки, а постиг он еще не все. Что есть на свете такое, чему не выучит ни институт, ни диссертация. И это главное знал Петр Романович, а Андрей такое понятие пока не одолел.

И как бывало раньше, принимая вполуха бойкие рассказы младшего последышка, терпеливо слушивал он сына. Его округлые, без внутренней крепости, слова.

Дождь истратил наконец злую силу. Ветер прочистил небо и выгнал из густой ознобливой сини рваные клочья хмарных облаков.

Дед Пека вез сына на станцию. Телега катилась по ухабистому проселку. Колеса тарахтели по корням, по комьям рыжей глины, липнущей на спицы. В передке трясся лакированный нездешний чемодан. Пузатый мерин Негодяй, потряхивая слюнявой, в седой шерсти, мордой не ускорял шаг, раз и навсегда положенный им

для себя какой-то непостижимой лошадиной убежденностью.

Отец и сын шли рядом. Андрей скинул куртку. В рубахе с расстегнутым воротом, в туфлях, измазанных глиной, он казался Петру Романовичу проще и знакомее. На какой-то миг представилось деду Пеке, что никуда не уезжает сын, а идут они вместе на привычную деревенскую работу. То ли на сенокос в дальние пожни, то ли в заречные поля. Но взгляд наткнулся на большие белые руки сына, и мысль, обогревшая коротким теплом, исчезла, оставив щемящий жалобный звук, как неожиданно лопнувшая струна.

Дорога поднималась на медленный угор. Внизу причудливо завитой лентой петляла в лозняках и рябиннике успокоившаяся река. За ней сбегал к воде березовый, светлого ситчика свалок, пересеченный косой проплешиной.

— Конечно, хорошо здесь,— отвечая на какие-то собственные мысли, сказал Андрей.— Река гудит, березки... Вон та плешь зарастет, еще красивее будет.

— Зарастет,— раздраженно передразнил сына дед Пека и дернул вожжи.— Да двигай же ты веселей, тварь божья! Поле там наше было, где проплешина. Кременное называлось.

— Кременное? Какое странное название.

— Обыкновенное название. Камней-кремешков на нем было столько, сколько и земли. Прадед твой, дед да я с того поля камни своими руками выбрали, валуны выворотили, кустарник-дернину по корешкам вычистили. Запустошилось теперь Кременное. Некому его обихаживать... Но! Прибавь ты ходу, животина!

Дед Пека закрутил вожжи над головой, но не ударил Негодяя, опустил руку с хлестким ременным концом.

— Остарел конь. Сколько лет без отказу работал, а его суют и суют головой в хомут...

— Передние венцы надо у дома сменить. Денег я тебе пришлю.

— Ты деньгами не откупайся, Андрей. Внучат на будущее лето привези, уважь.

— Привезу, батя. Всем семейством к тебе закатимся. Что же с тобой делать, раз ты такой упорный.

— Флюгер на все стороны крутится, куда только ветер подует. А человек должен свою линию держать.

— Тебе семьдесят три года. Какая уж тут своя линия.

— До смертного часа она должна у человека быть. Не могу я родимушку бросить, Андрей. Не обижайся на меня. Как вспомню о нашем уговоре, мурашки по коже бегают.

— Может, все-таки передумаешь? Чтобы билет не сдавать...

— Внучат привези. Не обмани меня, Андрюша,— вместо ответа попросил Петр Романович.— Косим мы теперь на Кременном. Мы ведь сейчас не пашней, а скотиной держимся. Тут Матвей Афанасьевич верную линию взял...

Над зазубренной кромкой дальнего леса величаво плыло нежаркое солнце. Пенно белели перекаты на реке. Звенели овода. Негодяй мотал головой и ловко отбивал хвостом их наскоки.

На вершине очередного угора снова показалась деревня, раскинувшая на три конца низкие крутолобые избы с тесовыми крышами.

С одной стороны за домами расстилалась мглистая, в фиолетовой мари, тайга. С другой вздымались суглинистые, в промоинах и выкатах валунов, пригоры.

С них был виден клинышек недальнего моря и вонзалась в небесный окоем островерхим шатром с маковкой обветшалого купола церковь Николая-угодника, покровителя рыбаков и мореходов. Церкви было триста с лишним лет. Состоит она теперь под охраной государства. Об этом написано на железной доске.

Глядятся на реку старые, из тесаных в обхват кругляшей, неизносимые дома. Каждый на свой лик, на свою стать. Со своей, непохожей на другие, судьбой.

Уходят люди из деревни в другую жизнь.

«Родимушка»,— привычно отдалось в голове Петра Романовича, но невеселые думы вдруг перебила мысль, что не исчезают люди бесследно. Остаются на той же земле, где родились, и делают одно большое дело. А что уезжают из деревни — так всегда это было и всегда будет. Потому, что каждый выбирает свой курс, свой ветер и свою пристань...

Бочку вот только зря отдал, глупая голова. Теперь в непогоду у крыльца всегда будет мокреть. Надо что-нибудь под водосток приспосабливать.

Самый длинный уж

(Рассказ)

Паром задержался, и главного рыбовода я в конторе не застал. Уборщица сказала, что Клавдия Николаевна уехала на первый участок.

— Только что,— добавила она.

Я усмехнулся. Главный рыбовод, низенькая, рыхловатая на вид женщина была на удивление подвижной. Случалось, я целый день гонялся за ней и везде слышал:

— Только что...

Сегодня мне обязательно надо было условиться с рыбоводом о поездке на тоню со смешным названием — «Мартышка».

Я заторопился к первому участку, находящемуся километрах в пяти от главной усадьбы, куда вела узкая, в один след, тропка. Она вилась по береговому откосу среди кураев и кустов цепкого, с упругими стеблями, жидовельника, украшенного сиреневыми крупинками жестких соцветий. Матерые карагачи с изболевшей от прожитого времени корой просторно топорщили сочнозеленые косматые шапки. На них лепились какие-то жучки. Сытые, раздувшиеся лягушки столь самозабвенно откладывали икру, что их не пугал ни шум шагов, ни хищные щучьи тени, то и дело мелькавшие под берегом.

Участки рыбоводного хозяйства раскинулись вдоль судоходного рукава Волги километров на пятнадцать, соединенные друг с другом водой и такими вот тропками, по которым ухитрялись даже ездить на велосипедах.

Примет крупного промышленного хозяйства на рыбоводных участках не имелось. Здесь стояли неказистые мазанки, где располагались дежурные по участку и хранилось нехитрое рыбоводное имущество. Мазанки лепились к шлюзам магистральных каналов, уходящих в об-

валованные, отделенные от реки ильменя, в которых задерживались паводковые воды, образуя естественные и охраняемые нерестилища частиковых рыб — судака, леща и сазана.

Весной по магистральному каналу в сберегаемые человеческой заботой ильменя запускали производителей, а летом отлавливали молодь и вывозили ее в море на плавучих садках-прорезях. Там молодь выпускали на вольную волю, считая, что дальше уже она будет расти сама собой.

Возле мазанки на первом участка я увидел знакомую худенькую фигурку. Это была Сашка, второкурсница-практикантка рыбного института.

— Олег Петрович! — звонко крикнула она, сложив рупором ладони.— Здравствуйте, Олег Петрович!

— Клавдия Николаевна у вас? — спросил я Сашку.

— У нас,— ответила та и покосилась в сторону канала, который заворачивал в камыши.— В ильмень с Борисом уехали брать анализ на зоопланктон... Часа через два вернутся.

— Подожду,— сказал я, усаживаясь на прогретые солнцем бетонные ступеньки шлюза.— Хочу с ней договориться на тоню съездить, на Мартышку.

— Не возьмет,— сказала Сашка и снова оглянулась в сторону канала.— Она на баркасе зря и щепку не повезет... Да еще на Мартышку. Это же почти сто километров.

— Может, сговорюсь,— ответил я, зная, что Сашка недолюбливает главного рыбовода.

— Попробуйте,— отчужденно сказала Сашка и снова принялась за работу.

Она подметала возле мазанки. Широко размахивая метлой, старательно скребла рыжую глину, до железной твердости утоптанную рыбацкими сапогами. Мусор взлетал в воздух, но ветерок с реки подхватывал его и, покружив, просыпал на то же место.

Несколько минут я смотрел на работу Сашки, потом посоветовал:

— Ты по ветру подметай.

Сашка зашла с другой стороны, и дело пошло веселей. Через четверть часа она уже сидела рядом со мной

и, по обыкновению покусывая былинку, сокрушенно говорила:

— Как же это я, Олег Петрович, такого пустяка сразу не сообразила. Самой стыдно... Вроде как та вобла...

Сашка показала на шлюз. Там, у деревянных щитов — шандор, кишела мелкая вобла. Сквозь щели шандор били космы воды. Вобла настойчиво тыкалась в них. Наскакивала одна на другую, переворачивалась брюшком и била по воде хвостами, не понимая, что не протиснуться в крохотные щелки тяжелых шандор, отгораживающих канал от реки.

— Соображать надо,— посоветовал я Сашке.

— Я соображаю,— серьезно ответила она.— По математике у меня пятерки были... Только я задумываюсь...

Сашка сорвала новую былинку.

— Девчата в субботу в Астрахань поедут,— сказала она, проводив взглядом белоснежную «ракету», пролетевшую по реке.

— А ты не поедешь? — спросил я, уловив в ее голосе тоскующие нотки.

— Денег нет,— ответила она.— Второго зарплату получу, тогда уж махну... Можно, конечно, зарплату на два воскресенья растянуть... Только я растягивать не люблю.

Я подумал, что Сашка права. Скучное дело — растягивать практикантскую получку на два воскресенья...

Неожиданно Сашка вздрогнула и схватила меня за руку.

— Опять этот приплыл,— торопливо сказала она.— За воблой пожаловал, зараза...

Я поглядел вниз и увидел на воде мелкую рябь, оставленную извивающейся лентой с острой змеиной головой, по бокам которой желтели два приметных пятна. Лента скользила вдоль осоки, направляясь к щитам, где билась вобла.

— Этот самый длинный,— тихо сказала Сашка.— Он под корягой живет, на завороте...

Голос ее боязливо дрогнул и глаза ворохнулись по сторонам. Я понял, если сейчас уж скользнет из осоки на берег, Сашка кинется сломя голову бежать прочь.

Я с интересом разглядывал проворную темную ленту и голову, настороженно поднятую над водой. Уж в самом деле был очень большим. Это, наверное, был какой-нибудь патриарх ужиного царства, уж-богатырь, удачно

поселившийся неподалеку от шлюза, где всегда имелось вдоволь рыбы.

— Схватил! — крикнула Сашка.— Проклятый!

Вобла, попавшая в пасть ужа, отчаянно трепыхнулась и затихла. Уж стал неторопливо заглатывать ее.

— Каждый день сюда плавает,— сказала Сашка.— Будто в столовую... Сколько рыбы поел, проклятый!

— Как работа? — перебил я Сашку, чтобы снять боязливые нотки в ее голосе.

— Привыкаю,— невесело ответила она.— Клавдия Николаевна придирается. Все ей не так.

Сашка вздохнула, и мне стало ее немного жаль. Трудно доставалась ей первая практика. В рыбоводном хозяйстве Сашку не уважали. Рыбачки осуждали ее за то, что Сашка изо дня в день ходила в стареньком трикотажном костюме, который то ли был мал по размеру, то ли сел от многочисленных стирок. Линялый трикотаж обтягивал Сашку на манер циркового трико. Все выпуклости на ее теле выделялись с такой откровенностью, что рыбачки, до глаз закутанные в платки, не раз совестили Сашку:

— Срамота одна у тебя, а не одежда... Стыд ты, девка, потеряла.

Сашка в ответ упрямо встряхивала головой и так же упрямо носила тесный костюм.

Демобилизованные матросы, работающие на насосной станции в полкилометре от шлюза, обижались на Сашку, что она не ходила с ними на танцы в деревню и не разрешала провожать после кино.

Главный рыбовод не уважала Сашку за то, что та не умела грести, за то, что тайком выпускала в канал молодь, которую нужно было заформалинить в стеклянной банке. Сердилась и строго выговаривала, когда Сашка забывала чистить кутцы у шлюза и лишний раз взять пробу на зоопланктон.

Вместо этого Сашка возилась со своими посадками.

Она посадила возле мазанки пяток тополей, хилых светлокожих прутиков с вялыми листками. Вкопанные в ямы на пустой глине, они клонились от каждого порыва ветра, безвольно томились в полуденной жаре, а ночами мерзли от прохладного дыхания реки. Сашка ухаживала за ними, как за младенцами. Старательно поливала их, носила ведрами навоз с главной усадьбы, каждый

день рыхлила землю вокруг корней. Только благодаря таким героическим усилиям на топольках робко зазеленели листья и кое-где на стволах даже проклюнулись зародышки будущих веток.

Мне Сашка нравилась. Помню, на второй день по приезде я уселся на бетонном откосе шлюза. Сашка подсела ко мне и, недоверчиво оглядев темными глазами, спросила:

— Правда, вы из самой Москвы?

Я ответил, что правда.

— А я в Москве еще не была,— вздохнула Сашка и, ковырнув землю носком истрепанного кеда, доверительно сообщила: — Как кончу институт, так в первый же отпуск поеду... Все сама посмотрю... Три годика еще ждать.

Однажды, наблюдая, как практикантка старательно возится со своими топольками, я спросил:

— Почему ты в рыбный пошла, Саша? Может быть, тебе лучше было в сельскохозяйственный.

Она не спеша вылила из ведра остаток воды под крайний тополек и рассудительно ответила:

— Я думала о сельскохозяйственном, а потом решила, что лучше рыбный.

— Почему так?

— Я же родом из Баскунчака... Слыхали про такие места?

Про места я слыхал, но объяснения Сашки не понял. Она досадливо тряхнула головой и начала растолковывать:

— Соль у нас там... Кругом соль. И земля и озера, какие есть, насквозь соленые. В рот если воду нечаянно взять, три дня горчит... Ни одной рыбки у нас нет. Даже самой малюсенькой. Вот мне и захотелось в рыбный... Чтобы в каждой речке, в каждом озере было много рыбы. Выучусь, может, и для Баскунчака что-нибудь придумаю... Теперь ведь спутники запускают... Озеро можно плотиной перегородить...

В бессвязных словах Сашки я расслышал ее мечту, простую и хорошую. Жить для людей, делать для людей. Чтобы в соленых озерах плескалась рыба, чтобы расходились на зорьке у берегов тревожные круги и рыбацкие лодки стыли на зеркальной глади. Вода была прохладная и чистая, как шлифованный хрусталь, и ее можно было досыта пить в жаркий день...

— За что тебя главный рыбовод позавчера ругала? — спросил я Сашку.

— Ни за что... Вон стоит, как стояла.— Сашка кивнула на мазанку.— Грозилась с практики отчислить.

На стене мазанки я увидел бурые подпалины. Оказывается, два дня назад Сашка едва не сожгла дежурку. Поставив на керогаз чайник, она, по обыкновению, старательно занялась поливкой тополей. Про чайник вспомнила лишь тогда, когда из мазанки повалил дым. Хорошо у шлюза оказались рабочие. Они оттащили Сашку, которая хотела плеснуть на керосин ведро воды, и бросили на огонь брезент.

— Что мазанке сделалось? — сказала Сашка.— Добуду известки и побелю стенку. В выходной побелю, чтобы главная не придиралась... Нравится ей человека истреблять.

Конечно, Сашку надо было учить уму-разуму. Но, право, главному рыбоводу не стоило попрекать ее топольками, если Сашка припаздывала взять очередную пробу. Не стоило Клавдии Николаевне сердиться, если Сашка выпускала мальков. Ведь их можно было снова поймать сачком у шлюза. И ничего страшного не было для рыбоводной науки, если в банке с формалином вместо десятка мальков оказалось два.

Надо же было понимать, что Сашке не просто ездить в ильмень по узкому каналу, где на берегах грелись ужи. Полутораметровые страшилища с чешуйчатой кожей, которым ничего не стоило сползти в воду и приплыть к лодке...

— Одни вы понимаете, что я хорошая,— вздохнула Сашка.

Я ответил, что сразу все не узнается, что и другие тоже скоро поймут.

— Не все,— убежденно сказала она,— главная не разглядит. У нее, Олег Петрович, душа без глаз... Пойду мальков формалинить, а то опять скрипеть будет. Велела к приезду сделать.

Несмотря на вздохи и унылость в голосе, темные, как антрацит, глаза Сашки с утра до вечера задорно сверкали, и челка на лбу неприручаемо встряхивалась при каждом движении.

Проводив Сашку взглядом, я подумал, что костюм ей все-таки нужно носить размера на два побольше.

Я дождался главного рыбовода, и, вопреки убеждению Сашки, та охотно согласилась взять меня на Мартышку.

— Послезавтра поедем... Баркас у нас ходкий, за два дня обернемся...— сказала она, и мы пошли по тропинке к главной усадьбе.

Метров через двести нас остановил истошный крик:

— Спасите! Спа-си-те!

На мгновение мы остолбенели, потом главный рыбовод сказала упавшим голосом:

— Клочкина! Пропади она пропадом...

А меня ноги понесли, как лося, вспугнутого охотником.

Когда я выскочил на бровку канала, я увидел метрах в десяти от берега перевернутую бударку. Возле нее то появлялась, то исчезала голова практикантки. Сашка пронзительно кричала и сутолошно била по воде руками, вздымая тучу брызг.

«Она же не умеет плавать»,— обдала меня страшная мысль. Я на бегу рванул шнуровку тяжелых ботинок. Под ногами стало колко, и весенняя, непрогревшаяся еще вода, холодом резанула тело.

Несколько отчаянных гребков донесли меня до бударки в тот самый момент, когда Сашка, уже основательно хлебнувшая водицы, готовилась, видно, пустить пузыри и уйти под воду. Я успел ухватить ее за волосы, перевернуть на спину и вытащить на берег.

Через несколько минут она открыла глаза и бессмысленно поглядела на меня.

Я отвернулся. Мокрый трикотажный костюм теперь не только обрисовывал Сашкины формы...

Клавдия Николаевна сдернула с себя косынку и кинула Сашке.

— Прикройся... Насквозь ведь просвечиваешь. Как под рентгеном.

Щеки Сашки стали розоветь. Она торопливо прикрыла косынкой грудь и села, подобрав ноги.

— Живая,— сказала главный рыбовод и с усилием провела рукой по пухлой шее. Словно с нее только что сняли удавку.— В ножки теперь нам с тобой Олегу Петровичу надо поклониться. Тебя от смерти спас, а меня от тюрьмы...

— От какой тюрьмы? — удивленно вскинула голову Сашка.

— От обыкновенной, с решетками,— разъяснила рыбовод. В горле ее что-то булькало. Будто пар в котле, наглухо закрытом крышкой.— Я за технику безопасности отвечаю... Годика два по твоей милости бы огребла... За каким лешим тебя на бударку понесло? Ведь она же как решето. На дрова только и годится.

— Воду отлить хотела,— сказала Сашка.— Разве я знала, что она дырявая. Думаете, я нарочно?

— По глупости — так еще хуже,— беспощадно изрекла главный рыбовод, оглядывая с ног до головы мокрую Сашку, у которой на испуганном лице темнели растерянные глазищи.

— Иди в дежурку, обсушись. Завтра в контору явись, на приказе распишешься.

Когда мы шли на усадьбу, я попросил Клавдию Николаевну не наказывать Сашку строго.

— Я не буду наказывать,— ответила рыбовод.— Отчислю с практики, и все.

Это было несправедливо. Я стал объяснять, что Сашка хотела отлить воду из бударки, что ее замысел в основе был благой...

— Благой, говоришь? — переспросила рыбовод.— А завтра что она еще благое замыслит? У меня двое детей, и в тюрьму садиться из-за благих замыслов не хочется... Да и времени нет, путина.

Когда я разгорячился и стал настаивать, что главный рыбовод не права в своем решении, Клавдия Николаевна круто свернула с тропинки и привела меня к причалу.

— Вася, отвези товарища в поселок,— сказала она без всяких предисловий мотористу катера.— Притомился он по нашему солнышку ходить.

Я скрипнул зубами и прыгнул в катер. Такой бесцеремонности от главного рыбовода я не ожидал...

Через день я немного поостыл и решил махнуть рукой на характер главного рыбовода. Все-таки не в свое же удовольствие я должен был съездить на Мартышку... Сашка тоже не маленькая, надо соображать, когда в дырявую лодку лезешь. Утонула бы, в самом деле — Клавдии Николаевне пришлось отвечать. Как только она, бедняга, объяснит в деканате отчисление с практи-

ки... Плавать бы хоть научилась, раз в такой институт пошла.

С утра я перебрался на пароме через реку и пришел на усадьбу хозяйства. Главного рыбовода я увидел на крыльце конторы. Я поздоровался и спросил, когда поедем на «Мартышку».

— Не поедем,— устало ответила рыбовод.— С таким народом скоро и шагу не ступишь.

Я осторожно спросил, что случилось.

Клавдия Николаевна недружелюбно поглядела на меня. Ее сильные руки лежали на коленях, сжатые в кулаки.

— Все твоя, Клочкина... Голодовку объявила... Позавчера я приказ об ее отчислении подписала, так она с вечера заперлась в лабораторной кладовой... Второй день ничего не жрет. Подружки под дверями ревут, а я вот в конторе сижу как дура. Дел невпроворот, а куда уйдешь... Что ей еще в голову взбредет... Только я приказа не отменю, пусть не надеется на свои штучки.

Она говорила еще что-то грозное и сердитое, но в голосе внятно слышались растерянные нотки.

Признаться, такого от Сашки я не ожидал, но поступок ее мне понравился. И где-то в душе я немного позлорадствовал над главным рыбоводом, которая позавчера выпроводила меня, как мальчишку, с хозяйства.

Теперь я мог отыграться. Я уселся рядом с Клавдией Николаевной и, посетовав на строптивый характер практикантки, стал припоминать слышанные и читанные истории трагических исходов, связанных с голоданием. Каюсь, кое-что я прибавлял от себя, и истории обрастали в моем рассказе весьма живописными подробностями. Лицо главного рыбовода из багрового стало землистым, и глаза ее начали тревожно перебегать с предмета на предмет.

Говорил я, наверное, с полчаса, но кулаки на коленях Клавдии Николаевны так и не разжались.

«Нашла коса на камень»,— подумал я и отправился к месту происшествия.

Возле кирпичного сарая, где находилась кладовая, толпилось человек двадцать. Более половины из них была детвора. Мне наперебой принялись рассказывать о случившемся. Оказалось, что вчера главный рыбовод распорядилась взломать дверь. Но Сашка крикнула в

окно, что из кладовой она не выйдет, а если будут выводить насильно, выпьет кружку формалина из большой бутылки. Тогда от двери отступились и принялись Сашку уговаривать добром. Но она заявила, что пока приказ не отменят, будет сидеть в кладовой.

К вечеру сердобольные рыбачки разбили стекло и стали совать Сашке сквозь решетку разную снедь.

— Колбасы ей кинули целый кружок, хлеб с икрой, а девчата — две пачки печенья,— перебивая друг друга, докладывали мне мальчишки.— Сала еще... Пирожки...

— Воблу ей дали, так она, дяденька, как шваркнет ее назад, аж боязно стало,— скороговоркой выпалила веснушчатая девочка.

— Пропишите вы про такое безобразие,— сказала мне уборщица из конторы.— Разве можно из-за бумажки так над человеком изгаляться. Саша — ведь живая душа, а бумажка — это...

Она сделала выразительный жест, наглядно показывающий для чего может быть употреблена бумажка с приказом об отстранении Сашки с практики. Потом крикнула Толика и подала ему две бутылки с молоком. Гибкий, как ящерица, Толик поднялся по доске к зарешеченному окну и сунул в него бутылки.

Звона разбитого стекла я не услышал. Может быть, бутылки упали на что-нибудь мягкое, а может...

— Второй день ничего не ест,— восторженно сообщил мне Толик.

Я посмотрел на массивную кирпичную стену, за которой отсиживалась Сашка, и подумал, что трудно сказать, ест она там или не ест. Тем более что из всей снеди Сашка выкинула назад только воблу. Наверное, оскорбилась на скупердяя, который в таком положении расщедрился на пяток тощих вобл...

— Саша! — крикнул я.— Что с тобой, Саша?

Сашка поздоровалась со мной и объяснила, что объявила голодовку и требует отмены приказа.

— Неправильный он, Олег Петрович... Хоть месяц буду сидеть здесь, а добьюсь отмены.— Голос Сашки звучал зло, но бодро. Я прикинул, что срок голодовки определен ею довольно оптимистически. Значит, догадка моя насчет молока и воблы была верна.

Для приличия я поговорил с Сашкой еще минут пять и успокоенный пошел в контору. Клавдия Николаевна

была в лаборатории и занималась каким-то анализом. Я сделал расстроенное лицо, присел возле подоконника и стал приводить в порядок записную книжку. Клавдия Николаевна несколько раз пыталась заговорить со мной. Я отвечал сухо и односложно.

Через четверть часа у главного рыбовода выскользнула из рук пробирка, упал металлический штатив, и на стол пролилось что-то вонючее и желтое. Клавдия Николаевна чертыхнулась, туго повязала под подбородком платок и с треском укатила на мотоцикле из усадьбы.

На следующий день она сдалась. Оставила Сашку на практике, объявив ей строгий выговор с последним предупреждением за нарушение правил техники безопасности. Клавдия Николаевна самолично прочитала этот приказ под окном лабораторной кладовой.

— Копию мне дайте,— требовательно сказала Сашка. Толик просунул в окно копию приказа. Тогда Сашка начала торговаться с главным рыбоводом. Она соглашалась лишь на простой выговор.

Лицо Клавдии Николаевны стало багроветь. Тут уж я рассердился на Сашку, отчитал ее и посоветовал кончить выкрутасы и прекратить эту историю.

Через день Сашка снова возилась возле мазанки у шлюза, а мы с главным рыбоводом поехали на баркасе на Мартышку. Нам не повезло. При подходе к тоне баркас задел за корягу и повредил корпус. В машинном отделении появилась течь. Два дня пришлось ремонтироваться. На обратном пути поднялся сильный встречный ветер. Он разогнал по реке острые волны и на поворотах норовил прижать нас к берегу. В общем, от Мартышки против течения и ветра мы тащились почти двое суток.

И я обрадовался, когда за очередным поворотом показалась знакомая мазанка рыборазводного хозяйства.

— Куда прорези поведем? — спросил у Клавдии Николаевны капитан баркаса.

— Давай на первый, там половину выпустим и решим дальше.

Когда мы подходили к участку, главный рыбовод вгляделась в берег и встревоженно попросила бинокль.

— Что-то на первом стряслось,— сказала она, разглядывая берег.— Вон сколько людей у шлюза толчется...

Она опустила руку с тяжелым морским биноклем и, обернувшись ко мне, добавила:

— Если Клочкина опять что-нибудь вытворила, не стерплю. Сегодня же отчислю с практики. Пусть хоть топится, хоть вешается — отчислю!

По тому, как побелели пальцы Клавдии Николаевны, зажавшие бинокль, я понял, что Сашке этот раз несдобровать, если она провинилась.

Меня охватило беспокойство, которое возрастало по мере приближения баркаса к саманному домику на берегу банка. Почему-то я был уверен, что Сашка непременно имеет отношение к суетливой толчее возле шлюза.

Едва баркас приткнулся к берегу, я заторопился вслед главному рыбоводу.

Возле шлюза были грудой навалены изломанные шандоры и лежал разорванный кутец. Рабочие нашивали вдоль столбов дюймовые доски и приспосабливали к ним запасные щиты.

Белочубый Борис, напарник Сашки по дежурству на первом участке, доложил Клавдии Николаевне, что ночью разбило шлюз.

— Откуда-то бревно принесло, а тут ветер, как назло, волну разогнал,— говорил Борис, почему-то неловко вытягивая шею и мотая головой.— Бревном ударило по щитам... Вышибло одну шандору из пазов, а там уж пошло... Сами знаете как...

— Проворонили, значит, шлюз,— сказала Клавдия Николаевна.— Клочкина где?

— В дежурке Клочкина,— с усилием сказал Борис и потупился.— Застудилась она, Клавдия Наколаевна.

— С чего же она застудилась?.. Всю ночь спали, за шлюзом не смотрели, а она застудилась. Крутишь ты что-то, братец... Ладно, пойду ее спрошу.

— Не ходите, Клавдия Николаевна,— Борис решительно загородил дорогу рыбоводу.— Плохо Саше, врач ей уколы делает... Сердце у нее от холода зашлось. Она же всю ночь в воде простояла. Я во всем виноват.

Запинаясь и путая слова, Борис рассказал о событиях прошедшей ночи.

Оказалось, что Сашка уже не раз оставалась на ночных дежурствах одна. Борис завел в соседнем селе зазнобу. Когда наступал вечер, он начинал так томиться по своей Светланке, что Сашка не выдерживала и согла-

шалась отпустить его с дежурства. Каждый раз Борис обещал ей, что будет «одна нога там, вторая нога здесь». И каждый раз возвращался на утренней зорьке.

Так было и прошлую ночь... Оставшись одна, Сашка то ли придремнула в дежурке, то ли все произошло так неожиданно, что она не смогла ничего предупредить...

Слушая Бориса, я представил себе чернильную ночную темень, порывистый ветер, бьющий по ветлам и хлюпанье волн о берег. Представил себе одинокую мазанку, язычок привернутого фонаря и жиденький проволочный крючок на двери. Услышал скрежещущий деревянный треск у шлюза. Увидел Сашку, выскочившую в ветреную тьму. Она подбежала к шлюзу, свесилась через перила и, опустив фонарь, увидела, как тяжелое бревно бьет в шандоры, вышибая их из пазов одну за другой. Увидела, как речная вода тугим, тяжелым потоком хлынула в магистральный канал, и поняла, что за ночь производители уйдут через шлюз в Волгу и хозяйство останется пустым.

Другой, опытный и сильный, догадался бы отвести бревно багром, взять запасные щиты и закрыть шлюз. Сашка сделала по-своему. Она повесила фонарь на перила и прыгнула в воду. Почти до рассвета стояла она по горло в воде, отталкивая руками злополучное бревно, которое волны снова и снова подносили к уцелевшим щитам.

Возвратившийся со свидания Борис с трудом вытащил окоченевшую Сашку на берег и поднял тревогу.

...— Сомлела она, Клавдия Николаевна,— сказал Борис и непослушными пальцами стал вытаскивать сигарету из смятой пачки.— Хорошо, Генка на мотоцикле за доктором слетал... В общем, моя вина, а Сашу не трогайте.

Когда мы пришли в дежурку, врач уже укладывала свой чемоданчик, а Сашка спала на койке, с головой укрытая одеялом, поверх которого были наброшены два чьих-то ватника.

— Обошлось,— сказала нам врач.— Уколы я ей сделала и спиртом растерла. Пусть спит, а завтра я с утра наведаюсь.

Клавдия Николаевна увела Бориса в контору. Рабочие, окончив ремонт шлюза, разошлись, а я остался на

участке. Пошел к знакомым бетонным ступенькам на откосе шлюза. Тут я увидел ужа. Длинного толстого ужа, патриарха местных ужей. Того самого, которого до отчаяния, до паники боялась Сашка. Уж был мертв. Безвольной лентой висел поперек бруса, к которому чалили бударки. Чешуйчатая кожа его была тусклой, увядшей. Плоская голова покачивалась в воде.

Я подумал, что уж подвернулся под руку кому-нибудь из рабочих, ремонтировавших шлюз.

Я не заметил, как ко мне подошла Сашка.

Пальцы, прикоснувшиеся к моему плечу, были холодными, как льдинки.

— Легче стало,— сказала она, усаживаясь рядом.— К завтрему все пройдет...

Сашка машинально сорвала сухую былинку, но тут глаза ее остановились на уже.

— Висит ужище-то,— вздохнула она и, помолчав, добавила.— Я его убила... Ночью.

— Ты? — я удивленно уставился на Сашку, только тут начиная понимать, какой была для нее прошедшая ночь.

— Я...— подтвердила Сашка и, покусывая былинку, стала рассказывать вздрагивающим голосом все, что случилось у шлюза.

...— Рассветать стало, а Борька все не идет. Изругала я его по-всякому раз десять, а что толку... Ноги занемели, потом тошнить стало. Фонарь на перилах горит без всякой пользы. Бревно это проклятое вроде к берегу прибилось. Доска мне попалась, я немного пролом прикрыла. Все бы ничего, только чувствую, силы кончаются... Глянула я тут на берег — и вижу, возле осоки этот ужак плывет. Голову из воды высунул и на меня смотрит... От страха тогда у меня, Олег Петрович, в глазах потемнело. Думаю, подплывет он сейчас ко мне и схватит за шею. Как воблу...

— Ужи не трогают людей, Саша,— мягко сказал я.

— Знаю, что не трогают,— согласилась она.— Мыши тоже людей не трогают, а у нас в общежитии одна девчонка как мышь увидит, так и в обморок... Подплывает он ко мне все ближе и ближе и головой чуть покачивает. Вроде прицеливается, как бы лучше на меня кинуться. Я закричать хотела, а язык будто прилип. Не знаю как, только схватила я его обеими руками и сжала изо всех

сил. Сначала он бился, а потом что-то хрустнуло — и конец... Когда Бориска пришел, я так с ужаком в руках и стояла. Это он его сюда кинул...

— Ничего, Саша, теперь уже все позади,— утешил я девушку.

— Позади,— согласилась она и посмотрела на реку, где скользила по воде белоснежная «ракета».— Не останусь я здесь... Завтра заявление подам. Теперь Клавдия Николаевна наверняка меня отчислит. Так уж лучше я сама. Вроде добровольно уехала...

Уговорить Сашку, чтобы она не писала заявления, мне не удалось. Она была убеждена в своей виновности. Она же отпустила с дежурства Бориса и не уберегла шлюз.

Катер уходил. Сашка стояла возле сторожки в вылинявшем трикотажном костюме, в расшлепанных кедах, обутых на босу ногу, и махала на прощанье рукой.

Мне еще раз удалось увидеть Сашку. Это случилось в Астрахани, когда я ехал на вокзал в дребезжащем автобусе.

Сашка вынырнула из людской толчеи и подскочила к автобусу, который остановился перед светофором. Она поздоровалась и в ответ на вопросительный взгляд упрямо тряхнула головой. Темная челочка на ее лбу уже заметно выгорела.

— Изорвала Клавдия Николаевна мое заявление и не отпустила с практики. Бориске строгача закатила, он теперь как шелковый. С дежурства ни на шаг.

— Почему же ты в городе?

— Как почему? — удивилась Сашка.— Зарплата же вчера была.

Автобус тронулся. Сашка отскочила от окна и исчезла в уличном водовороте, который ощутимо стягивался к стеклянным дверям универмага.

Вечером, когда поезд катил по Заволжью, я долго простоял у окна. Мимо плыли глинистые, в трещинах бугры, поросшие бледно-зеленой колючкой, седые наплешины солончаков и темные, с мертвенным жестяным блеском, озера во впадинах...

Я стоял у окна, смотрел, вспоминал мечту Сашки и немножечко завидовал ей.

Холодная вода

(Рассказ)

Упруго гудел мотор. Под носом катерка, одолевавшего стремнину, вспучивались буруны и расходились острыми волнами, которые тут же смывало течение реки.

Весна выдалась добрая. Небо голубело неохватным хрусталем, обнимая ширь речной воды и разливы буйной зелени на берегах. Степные дали были затканы фиолетовой акварелью, и в ее летучей дымке смыкалась просторная земля с просторным небом.

На прибрежных ветлах сутолошно толклись грачи. Ветер холодил лицо, забирался сквозь расстегнутый ворот под рубашку и приятно шарил по груди и по плечам. Солнечные отсветы зыбкими стайками полоскались в текучей воде, как косяки разыгравшихся мальков.

Степан Одинцов сидел за рулем и просветленными глазами смотрел на реку, на грачей, на отсветы солнца, ощущая всякий раз неповторимость утреннего вешнего чуда.

За изгибом показались беленые саманные домики, по-старушечьи неподвижно греющиеся на солнце. Это была Маячинка, рыбацкое село, прилепившееся под скатом беровского бугра с разводами бледно-зеленой верблюжьей колючки на желтом тулове.

Маячинку надвое разделяла извилистая, с ленивой водой, протока. В ней рыбаки держали бударки, а мальчишки, уже до черноты облитые весенним загаром, ловили на удочки воблу, окуней, жерехов и подлещиков.

Против села раскинулся «плав», тоня — главный предмет забот инспектора рыбнадзора Степана Одинцова. На «плаву» медленно тащились по течению призе-

мистые остроносые бударки, раскинув в мутной воде крылья сетей.

Возле протоки притулился к истоптанному берегу дебаркадер рыбной приемки, обвешанный старыми автомобильными покрышками, которые служили кранцами для бударок, льнущих к дебаркадеру, как щенки к теплому материнскому брюху.

В сотне метров поодаль зеленела свежим пластиком палатка сельпо, где продавали слипшиеся от жары конфеты, хлеб, водку и папиросы.

Круто повернув руль катерка, Степан вошел в протоку и причалился. Замкнул каютку, свернул брезентовый плащ и облегченно подумал, что сможет отдохнуть после ночного дежурства.

— Шило приехал! Ши-ло! — раздался пронзительный крик, и босоногая орава, пристроившаяся с удочками на протоке, брызнула, как стая воробьев, учуявшая ястреба, по задворкам и кривым, в камышовых плетнях, проулкам.

Степан растерянно поглядел вслед улепетывающей ребятне, у которой не было никаких причин пугаться инспектора рыбнадзора.

— Шило! Ши-л-о! — неслись из-за плетней детские голоса, звенящие беспричинной жестокостью.

Одинцова сердило прозвище, которым его наградили в Маячинке. Пристало кинутое кем-то словечко к Степану, как репей к овечьей шерсти. Подошло, будто заранее припасенное, к худой, тонкокостной фигуре инспектора, к его покатым плечам, на которые была насажена голова с острой макушкой. К длинному худоскулому лицу, исчерканному ранними морщинами, а еще больше к глазам, сумрачно поблескивавшим в орбитах. Так, словно видели они вокруг только непорядок и осуждали его.

— Ш-и-л-о!.. Ш-и-л-о-о-о!

Степан вздохнул, удобнее перехватил плащ и пошел вверх по протоке, где располагалась конторка рыбного инспектора. В ней было и жилье Одинцова: маленькая боковуха с узким окном. В боковухе было душно и густо роились тяжелые зеленые мухи. Они ели на столе хлебные крошки, облепляли кастрюли и чайную посуду, надоедливо, с частокрылым жужжанием, бились в пыльном окне. Сладу с этими тварями не было никакого,

потому что недалеко от конторки находилась деревенская свалка. Можно было переменить жилье, но устраиваться в чужом доме на правах квартиранта Одинцову не хотелось.

Шесть лет Степан отработал в рыбной инспекции на Каме. К людям привык, а еще больше к тамошним местам. К простору лесов, к горам, что зелеными шатрами высились вдоль реки. К каменным щекам, где течение крутило лихие водовороты, а поверху, по самым макушкам, щетинисто лепились кряжистые деревья. Иная сосенка вымахнет на высоченной круче, аж в небо вопьется зеленой стрелкой и звенит на ветру от радости. И вода в Каме прозрачная, чистая, как хрусталь на ладони.

Потом все пошло, как у беса на болоте. Сначала с Аннушкой случилась беда... Смерть жены в родильном доме ударила Степана обухом по голове, и жизнь его враз почернела, будто вымазали ее печной сажей. Внутри все съежилось в холодный ком, и стало пусто, как в осеннем скошенном поле. На Каму стало тошно глядеть, словно и она с того дня тоже переменилась, верная его утешительница.

Потом этот дурак Анкудинов... Кинулся Степан в ледяную шугу, вытащил его, пьянчугу, на берег, от верной смерти спас. Анкудинов к утру протрезвел, а Одинцов заработал себе нефрит. Два месяца день в день вылежал Степан на больничной койке. Потом доктора строго-настрого велели перебираться в теплые края.

Так оказался Одинцов в Маячинке.

К здешней реке Степан привык. Вольная здесь река, простор — глазом не охватишь, и богатая. По рыбе, прямо сказать, с Камой не сравнишь. В путину на тонях берут саженных осетров и севрюг. Случается, в невод такая белуга навалит, что всей бригадой ее, голубушку, на берег вычаливают. Угадает счастье, так и белорыбица в рыбацкой снасти окажется. Знатная рыба. В иные времена к царскому и патриаршему столу прямиком шла. Не часто выпадает рыбакам этот фарт. На штуки считают в путину белорыбиц. Дальше так пойдет, только в музее и посмотришь знаменитую рыбку. Водилась, мол, такая в Волге-матушке.

К остальному Одинцов привыкал трудно. Но не по душе Одинцову пришлась пустая степь, что начиналась

за ильменями и тянулась в обе стороны на сотни километров. Выжженная солнцем, рыжая, голая земля, иссеченная змеистыми трещинами, испятнанная бесплодными солончаками. Круглыми и сухими, уставленными, как бельмастые глаза, в жаркое и пыльное небо. Ветер гонял по солончакам паучьи клубки перекати-поля, и сонные, равнодушные верблюды с облезлой шерстью на костлявых холках одиноко паслись на редких лоскутах несъедобных колючек. Ходили в маревом, жарком небе сонными кругами горбоносые беркуты, и желтые степные суслики уныло пересвистывались друг с другом.

Казалась Степану здешняя степь похожей на изболевшую душу старика, в которой уже не осталось ничего, кроме привычки дожить, дострадать до отмеренного судьбой смертного часа.

Не приживался Степан и в Маячинке. Пришлый человек в рыбацком селе, как заноза в пальце. Вроде и терпеть можно, а бередит с утра до ночи. Первые месяцы здешние рыбаки исподволь и зорко присматривались к новому инспектору. Приметили, что на работу он ярый: сутками пропадает на участке, разведывая протоки, перекаты, отмели и ямы, дотошно шныряет по извилистым ерикам и день за днем объезжает непролазные чащобы здешних камышей.

Узнали, что Одинцов мается почками и спиртного в рот не берет. Спаивать Степана никто не собирался, но в рыбацком селе непьющий человек, как яма на дороге. Всякий раз, хошь не хошь, а стороной объезжай. Ни на свадьбу, ни на крестины не пригласишь, за кружкой пива об жизни тоже не потолкуешь.

Валетом вроде новый инспектор хорош, а вот тузом он сгодится ли?

Кое-кто, видно, решил, что не так страшен черт, как его малюют. И когда подошло время путины, в вечерние и сумеречные часы на реку из боковых протоков и ериков стали выскакивать верткие моторки и неприметно выползать бударки, уключины которых были предусмотрительно обернуты мокрой мешковиной.

Тут инспектор Одинцов и показал маячинцам собственный характер.

Первым в его руки угодил Василий Бреев, детина ростом с добрый карагач. Приглушив мотор катерка, инспектор подплыл к бударке Бреева в тот момент, ког-

да тот выпутывал из сети метрового осетра, и попросил предъявить рыболовный билет. Разрешения у Бреева не оказалось.

— Чалься за меня,— приказал инспектор и привел бударку Бреева к маячинскому дебаркадеру. Здесь он по всей форме составил протокол, конфисковал у моториста добытого осетра, новенькую капроновую сеть и наложил семьдесят рублей штрафа.

— Помене бы, товарищ инспектор, штрафу дали,— попросил он, расстроенно моргнув белесыми ресницами.— Не осилю столько... Не на продажу ведь ловил. И за сеть надо с добрыми людьми рассчитаться.

— Скажешь, кто сеть дал, сбавлю штраф.

— Мой грех, инспектор, других марать не стану. У нас такого не водится,— хмуро ответил Бреев.— Я по-людски тебя прошу, а ты меня на пакость сбиваешь. Не круто ли гнуть начал? У каждой палки два конца.

— Пуганый я уже, Бреев,— коротко усмехнулся Степан.— Все равно узнаю, где сеть добыл.

— Моя сеть... Полная моя собственность. Так в своем протоколе запиши и больше этого предмета не касайся.

Когда инспектор велел нарушителю отнести на приемку конфискованного осетра, Бреев вдруг налился темной кровью, ожег Степана бешеным блеском вмиг поседевших зрачков и заорал на все село:

— Сам волоки! Тащи рыбину на собственной хребтине, а меня не касайся! Не обязан я таскать... Понасажали вас на рыбацкую шею! Возле реки живем, а свежей ухи нельзя попробовать... Все равно вам на сторону меня не своротить. Как ловил, так и буду ловить.

Бреев плюнул под ноги инспектору, выматюгался длинно и зло и ушел от дебаркадера.

Одинцов передал материалы о случившемся в товарищеский суд для общественного воздействия на упрямого Бреева.

Не один Бреев решил для себя, что «как ловил, так и ловить буду».

Вот вчера вечером, объезжая «плав», инспектор увидел крашенную в неприметный темно-свинцовый цвет моторку, которая, держась в тени камышей, быстро шла

сверху. Одинцов хотел поближе рассмотреть проезжающих, но моторка легко прибавила ход и скрылась от инспектора за поворотом. Вроде и ничего особенного в том не было — мало ли моторок проезжает по реке. Но чутье подсказало инспектору, что не зря объявилось возле тони шустрое суденышко, и Одинцов стал засадой в дальнем конце «плава», где начинались запретные для промысла места.

Ночь выдалась тихая и ясная. Свирепая комариная ночь. Летучее волчье племя без жалости грызло Степана, затаившегося в камышах.

Моторка больше не появилась, и, поругивая себя за излишнюю подозрительность, Одинцов, не сомкнувший глаз ни на минуту, утром возвратился в Маячинку.

Усталый и постаревший, с набрякшими мешочками под глазами, он тащился сейчас в свою неприютную нору и думал, что предстоит сделать кучу обременительных дел: снять одежду, вскипятить на электроплитке чай, помыть посуду, разобрать постель, выпить лекарство и лечь спать, зная, что все равно не уснешь в дневном напряженном свете, в живых движениях и шуме голосов, пробивающихся в конторку. Закутайся хоть с головой одеялом, все равно не спрячешься от тоски в своем непоправимом сиротстве, от одиночества в бойкой толчее людей.

Возле мостика через протоку Одинцов встретил колхозного бухгалтера Фильченкова. Степенного, в пожилых уже годах человек, с коротким телом и коротко стриженной головой с приметной седловинкой посредине.

— С дежурства, Степан Андреевич? Ну как, прихватил сегодня карасиков?

— Попусту съездил... Моторочка тут вечером возле тони хвостом вильнула...

— Как золотая рыбка,— засмеялся Фильченков и вынул сигареты.— Теперь хвостами вилять научились. Особенно женское племя... Покурим за компанию.

— Покурим, Валентин Павлович,— согласился Степан, угощаясь сигаретой.— Ушла та моторка... Знатный ход имеет.

— Не зря, видно.

— Конечно, не зря,— подтвердил Одинцов, глубоко затягиваясь, чтобы прогнать дремотную пустоту в голове.— Попусту ночь проваландался.

— Я вот тоже чуть не до утра сидел над отчетом,— сказал Фильченков, зевнул, обдав Степана легким запашком водки и копченой тарани, и похлопал жесткой ладонью по рту.— Баланс никак не сходился. Один проклятущий рублик влез в неположенную строку и путал всю бухгалтерию...

«Часа три бы сейчас поспать... Нет, лучше — четыре»,— думал Одинцов, с трудом одолевая сухую тяжесть в напухших веках.

Фильченков принялся длинно и скучно рассказывать, почему не сходился баланс. Перебить его Степан по деликатности характера не решался. Фильченков, не в пример другим маячинцам, и поздоровается всегда первым с инспектором рыбнадзора, про житье, про работу расспросит, про свои дела расскажет. Нравилось Степану и то, что Валентин Павлович не одобрял браконьерства, хотя и советовал Одинцову не брать быка за рога, а сначала к его норову примериться. Работа, мол, у инспектора деликатная, и здешние рыбаки — люди с характером. Не всякого из них строгостями одолеешь, надо к ним потоньше примеряться.

По просьбе Степана, Фильченков выступил на товарищеском суде по делу Бреева общественным обвинителем.

Бреев на суд пришел под хмельком, вины в злостном браконьерстве не признал, а рассуждения Фильченкова слушал с кривой, непонятной Одинцову усмешечкой.

— За одного осетра семь шкур с человека хотите спустить,— зло отругивался Бреев.— Весной по икре пешком ходили, дохлых мальков на полях лопатами сгребали...

Председательствующий стучал карандашом по графину, но Бреев не хотел униматься.

— Ты мне теперь рот не затыкай! — бестолково и растерянно размахивая длинными руками, ярился он.— Раз вытащили сюда, я вам всю правду напрямик выложу. Шампанское пьем, а на спичках думаем сэкономить.

— Верно говорит Василий! — поддержали Бреева из зала.

Стук председательского карандаша о графин терялся в нарастающем шуме.

— Вконец скоро рыбу изведем. Она что, тварь бессловесная, мрет себе потихонечку... На рыбе ведь мы держимся. Что нам без нее в Маячинке делать?

— Ты, Бреев, по существу говори. Объясняй, что тебя касается.

— А меня все касается. От моего осетра рыба в реке не переведется, а вот беды я боюсь.

— На большие дела начальство есть...— твердо перебил его Фильченков.— Наша власть за ними смотрит. Ловко ты вопрос от себя отворачиваешь. Послушать еще — и окажется, что империалисты виноваты в том, что ты незаконника на тоне хапанул. Грамотные стали, все на высокие проблемы переворотить умеем. Нет, ты в первую очередь себя в чистоте соблюдай. С каждого свой спрос, и вина у каждого не общая, а личная.

Бреев взглянул на бухгалтера странно заблестевшими глазами, но, наткнувшись на ответный строгий взгляд Фильченкова, вяло махнул рукой и сел на место.

Валентин Павлович повернулся к Одинцову, сидевшему обок председательского стола.

— Спрос с каждого должен быть за его вину. На других нечего переворачивать, как это Бреев хочет сделать... Только у меня такое есть соображение. Суд наш товарищеским называется, и это забывать нельзя. По-людски к промашкам подходить надо. Где можно, и простить человеку ошибку...

— Тогда в рыбный надзор надо, Валентин Павлович, не инспекторов назначать, а монахов. Они грехи отпускают,— кинул Одинцов реплику.

— Зря ты так, Степан Андреевич,— возразил укоризненным голосом Фильченков.— Кроме инструкции надо еще и придерживаться, что душа подсказывает. Душевность у людей всегда в большой цене...

Бреев при таких словах непонятно хмыкнул и крутнул вихрастой головой. Одинцов пожалел о некстати вырвавшихся у него словах. Если разобраться, то насчет душевности бухгалтер верно сказал.

На Степана не раз накатывали порывы веры в человеческое добро и справедливость. Но случалось в том обманываться. Это всегда расстраивало, заставляло замыкаться, уходить в себя, становиться колючим и нелюдимым. Может быть, потому, что Степан хорошо знал себя. Понимал, что обман не истребит в нем эту веру и

через малое время она очередной раз выплеснет наружу. Но жизнь упрямо учила относиться строже к таким наивным порывам, и теперь Степан чаще и без нужды растопыривал во все стороны колючки.

Фильченкова поддержал бригадир ловецкой бригады Шерстобитов.

— Насчет власти тут говорили. Я так понимаю: на власть надейся, но и сам не плошай. И за малым делом, и за большим глаз требуется. Потому в первую очередь самим мараться нельзя. Учти, Бреев, пакостничать под носом не позволим. Сами изловим, хуже будет. Три раза окунем, а два вытащим. Дадим водицы хлебнуть не в то горло — и сразу очухаешься...

В зале теперь поддерживали репликами Шерстобитова, а Бреев сидел потухший, уткнув в пол глаза.

— Ты, товарищ Одинцов, тоже в этом деле с одного боку зашел. Ты ему в нос злостное браконьерство тычешь. Баловал бы он по тоням, давно дом под железом держал. Крыша у нас — примета верная... Малявка он, Бреев, вобла бестолковая, а ты инспектор, руки расставил, будто белорыбицу ухватил... Правильно здесь говорили, что рыбу изводим и виноватого не сыщешь. Нынешний год станции опять воду недодали... Не от того у нас иной раз душа кровью обливается, что осетренка на уху выдернут такие, как Бреев. Все мы здесь одной веревочкой связаны, и хорохоришься ты, инспектор, попустому. Без нас ты ноль без палочки. Василия за дело ты наказал, и правильно, что он срам при народе принял. Но не в нем главный вопрос, инспектор. Большие хищники по тоням орудуют, икру берут. Три дня назад к нам в невод опять располосованная севрюга угодила.

— Кто же полосует?

— Знал бы, не стал покрывать,— твердо ответил Шерстобитов.— Нам такие еще больше, чем тебе, поперек горла стоят.

Одинцов поверил, что Шерстобитов не знает, кто разбойничает на тонях. Но в зале сидело человек двести, и из них наверняка кое-кому были известны фамилии матерых браконьеров. Однако никто не встал и не назвал ни одной. Так, как Бреев упрямо не говорил, кто продал ему снасть.

У Степана было ощущение, что вместе с Бреевым обвиноватили и его. «С одного боку зашел...» — мысленно

повторил Одинцов слова Шерстобитова и разозлился. Тоже ведь к всепрощенью инспектора подталкивает. Мол, других ищи, а наши вроде неразумных шалунов. Нет уж, этого вы от Одинцова не дождетесь. Со всех боков он будет заходить. И крупных ворюг поймает, и Бреева отучит браконьерничать.

После суда, помнится, Степан заскочил в чайную. Купил на ужин пяток пирожков с повидлом и булку, бывшую французскую, а теперь городскую. Пышнотелая буфетчица с ледянистыми глазами, которую в Маячинке все величали Клавушкой, не глядя кинула сдачу на клеенку, липкую от пролитого пива. Когда Степан попросил завернуть пирожки, буфетчица поджала губы и заявила, что нет бумаги.

— На протоколы, сказывают, всю извели,— добавила она и повернулась спиной к инспектору Одинцову.

«Гуртом наваливаются,— подумал тогда Степан.— Нашла коса на камень... Теперь либо камню расколоться, либо косе не быть...»

— ...Бухгалтерия — наука тонкая. Каждую копейку нужно учитывать, все в полном ажуре держать...

Рокочущий басок Фильченкова перебил воспоминания Степана о недавнем суде.

— Каждый расход уметь в нужную строку поместить, чтобы закон не нарушить и положительному итогу в балансе помочь...

Слушать Фильченкова было уже невмоготу. Докуренная сигарета огнисто цапнула за палец, на мгновение прогнала сонную одурь. Прикидывая, куда ловчей швырнуть окурок, Степан повернулся. Глаза скользнули в дальний конец протоки и удивленно застыли. За знакомыми рыбацкими бударками стояла моторная лодка. Крашенная в свинцовый цвет, с подбористо срезанным носом. Наметанный инспекторский глаз высмотрел объемистый ящик с двумя замками на крышке и короткие брусья, привинченные к бортам.

«Ого!» — удивился Одинцов, сообразив по величине ящика, что там находится автомобильный, сил на сорок, а то и побольше, мотор, что на брусьях при нужде можно пристроить пару подвесок, и тогда ход у лодки будет вровень с «метеором».

— Хорошая посудинка? — услышал Степан голос Фильченкова. Перехватив взгляд инспектора, он тоже смотрел на моторку.

— Подходящая... Чья же такая будет?

— Моего племяша,— охотно ответил Валентин Павлович.— Вчера вечером в гости из города прикатил. За полчаса, говорит, до Маячинки домчал. Добрый ход мужик уважает. И впрямь, не моторка у него, а чистый самолет... Ему фасонить можно. По торговой части в начальстве ходит. Не то что мы с тобой, Степан Андреевич,— мелкота на ровном месте. Может, ко мне заглянем. С племяшем познакомлю...

— Нет, домой пойду... Извини, Валентин Павлович, глаза у меня слипаются.

— Понимаю. Иди, отдыхай... Зря ты нашим народом брезгуешь, товарищ инспектор. Умненько да ладом человек всегда больше достичь может.

Неуютно ворочаясь на жесткой кровати, Степан отгонял надоедливых мух и тоскливо смотрел в окно, расчерченное частыми, словно решетка, переплетами. Вдобавок ко всему от бессонной ночи, проведенной на воде, начала разгораться в левой половине живота знакомая сосущая боль.

«Неужели опять прихватит?» — встревожился Степан. Сунув руку под майку, он принялся гладить живот, успокаивая боль, как не во время проснувшегося младенца.

Мысли невольно возвращались к моторке, примеченной в дальнем конце протоки. Чем больше Степан думал о ней, тем больше она казалась похожей на ту, вчерашнюю, ускользнувшую за камыши от инспекторского катерка. Каким образом моторка прошла незамеченной в Маячинку? Степан же всю ночь не сомкнул глаз. По пальцам мог сосчитать всех, кто прошел по реке. Мог голову на плаху положить, что этой моторки не было. Миновать глаз Степана она не могла. Не по воздуху же сюда прилетела...

Боль в животе отступила, убаюканная теплом, и усталость в конце концов взяла свое, подарив инспектору неожиданно глубокий сон.

Под вечер Одинцов решил поближе рассмотреть загадочную моторку. Но на протоке ее уже не оказалось.

— Счет не сходится? — услышал Степан за спиной насмешливый голос Бреева, подошедшего с веслами в руках.

— Не сходится,— признался Степан.— Моторочка тут одна была.

— Была, да сплыла... Глаз у тебя, товарищ Одинцов, меток, да зуб редок. Так моя бабуся высказывается.

Степан решил задать еще один вопрос:

— Не встречали, случаем, сегодня в Маячинке племянника Фильченкова? Того, что из города в гости приехал... По торговой части служит.

— Может, и встречал. У нашего бухгалтера племянников хоть отбавляй. Что торгаш, то ему и племяш.

Бреев с грохотом кинул весла в бударку и затарахтел о борт жестяным черпаком, отливая воду. Ветхая, с заплатой на носу, бударка осела в протоке чуть не на четверть.

— Далеко собрался?

— К теще в гости,— ощерив рот, с веселой яростью ответил Бреев.— Телеграмму отбила. Приезжай, пишет, дорогой зятек, блины покушать. Чарочку, как положено, тоже обещает...

— Масло бы тебе, Бреев, язычиной пахтать... В самый раз переменить профессию.

— К тому дело и идет, товарищ Одинцов. Придется профессию менять, а то на нынешней работе твоих штрафов не осилишь.

«Вот язва!» — без злобы думал Степан, наблюдая, как бугристо ходят под старенькой ковбойкой крупные лопатки Бреева и медленно убывает вода в латаной бударке. На виду у инспектора собирается на промысел. «К теще в гости»,— мысленно, не меняясь в лице, улыбнулся Одинцов. Работа приучила его молчать, и мысли, которые другие высказывали вслух, превращались у него в сдавленные, незаметные для окружающих переживания. Он глядел, как отваливает бударка от берега, и думал, что на такой развалине далеко не уедешь. Грести на ней — каторга. За час руки отмотаешь до бесчувствия. Будут тебе блины горячие, Бреев, если опять рыбнадзор накроет. Разобраться, так он был весь как на ладошке, прозрачен с головы до ног, как стеклышко. Характер решил показать, глупая голова, а того не понимает, что упрямством себе же беды наделает.

Неожиданно Степану стало жаль Василия Бреева, которого природа с лихвой наградила силой. Прав бригадир Шерстобитов — не белорыбица Бреев, а вобла-сеголеток, что кидается сдуру на любой мальчишечий крючок.

Вечернее солнце уже приклонялось к заречным камышам. Косые лучи его проложили на воде светлую дорожку. Сгустившиеся тени милосердно затушевали пыльные ямины на маячинских улицах, узорчатыми отсветами расписали приземистые, здешней степной породы, яблони и абрикосины во дворах, звончее проявили опрятную известковую белизну стен домов и раскроили протоку косыми тенями стоящих на приколе лодок.

От всего этого повеяло вдруг на Степана уютом жизни, ход которой не сбивают ни беды, ни ненастья, ни человеческие ошибки. Извечным, положенным порядком вершится она исподволь и прочно в каждом уголке земли и незаметно протягивает нити между собой и людьми, родившимися здесь и пришлыми, неназойливо вовлекая их в орбиту своего размеренного хода, в течение простых и необходимых дел.

Бударка Бреева вышла из протоки, развернулась и напрямик двинулась к кромке дальних камышей, за которыми находились заповедные для лова места.

«Вот ведь, дьявол упрямый! Дернул бы, сатана, где-нибудь в боковой протоке пяток-другой судаков, и дело с концом. А он из принципа на рожон лезет. А может, хитрит Бреев, глаза Степану отводит от тайного своего замысла?»

На реке все на виду, а уйти от лишнего взгляда бывалому человеку проще простого. Неоглядно колышутся, курятся душными туманами камыши, и петляют в их чащобе малые речные рукава. Далеко расходятся полои — заливные низины с островами осоки и лозняков, где на прогретых отмелях шныряют мальки и разжиревшие от обильной еды щуки лениво охотятся на лягушек. Потаенно ныряют в ильмени жилки — узкие ерики, которые, не зная, не приметишь и в двух шагах.

Легче найти иголку в стоге сена, чем увертливую моторку, нырнувшую в такую жилку.

После товарищеского суда Одинцов еще строже стал исполнять свою работу. Сутками мотался по реке, сидел в засадах, перебирался с катерка на попутные рыбацкие

бударки и появлялся в тех местах, где его не ждали. Не давал браконьерам никакого спуску. Увеличивал штрафы, отбирал незаконную рыбацкую снасть. Старался, как мог, а на последнем совещании начальство сделало Степану строгое замечание, что в Маячинке вроде приторговывают икрой. Требовало изобличить виновных. Бдительность призывало повысить, совершенствовать методы работы, профилактику налаживать.

Ночь была ветреная, и комарье, слава богу, не донимало. Затаенно и глухо шумели камыши. В вышине плыли невидимые и душные тучи. Иногда ветер разрывал их пелену, и в просветы вываливались куски неба, закованные звездами. Светляки их блестели просительно и тревожно, словно жаловались на одиночество в пустой и холодной бездне.

Ночная, угольной черноты, масляная вода, отдавала сырой прелью. Подкатывалась волнами к камышам, раскачивала катерок и недовольно взбулькивала, разбиваясь о крутой борт.

На реке перемигивались разноцветными огнями проходящие суда. Порой вскидывался, рождая тягучее эхо, неожиданный гудок. Едва различимая, проплыла баржа, высоко груженная снопами камыша. Он парусил, сбивал баржу к берегу. Крохотный буксир с натугой булгачил воду и густо сорил летучие искры из невидимой в темноте трубы. Промчалась, рассыпав бледно-голубое электрическое сияние иллюминаторов, полуночная рейсовая «ракета». На корме ее стояли люди и настойчиво пытались заглянуть в речную, туго затвердевшую темень. Никто из них не знал, что на другой стороне реки в просторном затоне одиноко сидит инспектор рыбнадзора, чутко слушая ночь. Что, глядя на пролетевшую «ракету», он недобро помянул собственную работу и позавидовал тем, кто через час, через полчаса будет в теплом доме, а ему, как проклятому, торчать в камышах до последних петухов и затем возвращаться в неприбранную комнату с тусклым окном и казенной посудой в казенной тумбочке. И ничьи глаза не обрадуются его приезду, и никто не жалеет, что сидит он в камышах.

Степан терпеливо осиливал медленно истекающие в темноте минуты, движение которых можно было угадать

лишь по фосфоресцирующей стрелке часов, с механической настойчивостью прыгающей от деления к делению.

В камышах шарил неприметный ветер. Что-то ворошил в глубине, шуршал и потрескивал. Словно хотел улечься и никак не мог выбрать место. Чернильная темнота рождала непонятные загадочные звуки. В конце ильменя протяжно ухал филин, вылетевший на охоту. Низко и бесшумно хищник скользил над камышами, выглядывая поживу желтыми круглыми глазами, которые не видят днем.

Рокот мотора за ильменем Степан почуял уже далеко за полночь. Привстав, инспектор вслушался в неясные звуки, долетевшие с ветром. Так и есть. В той стороне, где была запретная зона, приглушенно и опасливо, на малых оборотах, рокотал мотор.

Хватаясь за камыши, Степан вытянулся из укрытия на чистую воду и осторожно двинулся на веслах туда, где поднимался и опадал вкрадчивый звук.

Время шло к рассвету. Небо еще не прояснилось, но Одинцов понимал, что ночь уже переломилась, темнота стронулась, стала слабеть, оголяя над смоляной водой тугую кромку камышей и грузные, пугающие силуэты прибрежных ветел, днем таких зеленых.

Звук мотора становился отчетливее. Браконьерничали в Икрянинском затоне.

«Вот куда, сволочуги, залезли... Совсем уже обнахалились!»

Степан поудобнее передвинул кобуру пистолета. От таких можно всего ожидать. Два месяца назад в Оранжерейном ахнули по инспектору картечью в упор. И не копнулся, бедолага...

Камыши стали забирать вправо. Степан догадался, что подплывает к Икрянинскому затону, отделенному от реки протокой метров двадцать ширины.

Выискав подходящее место, Одинцов решил подождать, пока рассветет. В темноте браконьеры могли и ускользнуть от инспектора. Отрезая же им выход, Одинцов брал хищников наверняка. Перед засадой браконьеры окажутся как на голой тарелке. Тут им ни черт, ни дьявол не поможет. А за ружьишко схватятся, так из камышей их пистолетом пугануть будет удобно.

Ночь неохотно светлела. На восходной стороне неба прорезалась белесая щель, наливающая светом невиди-

мого еще солнца. Степану доводилось видеть много речных закатов и восходов. Он знал, что рассвет поначалу будет подступать медленно, неохотно обозначать контуры облаков, горбатых бугров и деревьев, загонять в буераки и глухие камыши остатки ночи. И только после этого полыхнет и станет наливаться сочным сиянием, густо розоветь заря и в высветленный ею простор легко и всегда неожиданно выкатится солнце.

Мотор в затоне загудел басовитее, и звук его стал приближаться. Похоже, что браконьеры двинулись к выходу. Теперь надо было спокойно подождать, пока они подкатят к засаде, и взять с поличными.

Степан вынул из кобуры пистолет, проверил обойму и сунул оружие на грудь, под телогрейку. Холодная тяжесть пистолета успокаивала напряженный стук сердца.

Течение лениво вынесло из затона на протоку что-то длинное и продолговатое. Одинцов пригляделся и едва не задохнулся от ярости. Вода тащила полутораметрового осетра с располосованным брюхом.

Те, кто хищничали на затоне, брали только икру. Пойманных осетров и севрюг они потрошили, брали у них черные пластины дорогой икры, а тушки выбрасывали за борт. Кидали в реку красную рыбу!

Это было уже не браконьерство, а разнузданный, бессовестный разбой!

«Что делают, подлюги! — свирепо подумал Степан, понимая, что не усидит сейчас на месте.— Хуже стервятников!»

Яростно взревел мотор, и катерок выскочил на гладь затона, разворачиваясь к неясной тени, шевелящейся поодаль.

Так и есть! Чуяло сердце инспектора, что увидит знакомую, крашенную в свинцовый цвет моторку. В ней темнели три полусогнутых фигуры, неразличимые в брезентовых плащах с низко нахлобученными капюшонами.

— Стой! — заорал Одинцов, вскинул руку и дал предупредительный выстрел.

Рулевой моторки, не оглядываясь, погрозил кулаком в ответ на выстрел. Его широкая спина, манера сидеть, чуть ссутулившись, показалась Степану чем-то знакомой.

Моторка удирала. Заливисто стрекотали на низких бортах многосильные подвески, и полого выгибалась за кормой потревоженная вода.

На полном ходу браконьеры мчались прямо на глухую стену камышей.

«Куда их несет? — обеспокоенно думал Степан, удивленный маневром моторки.— По суху, что ли, решили удрать? Неужели такую посудину бросят. По ней ведь можно будет и хозяев отыскать... И бросят! Когда дело тюрьмой пахнет, не то что моторку, жену с малыми ребятишками иной раз бросают».

Подлетев к камышам, моторка резко застопорила ход. Тот, кто скукожившись сидел на носу, взмахнул багром. Инспектор оторопело заморгал, увидев, как камыши, ухваченные багром, послушно сдвинулись, и в их зеленой стене высветлилось что-то вроде распахнутых дверей. Моторка проворно юркнула в этот лаз.

«Потайная жилка! — запоздало сообразил Одинцов.— Вот где у них был ход! Вот почему моторка прошла в Маячинку, миновав инспекторский догляд».

Когда катерок оказался у камышей, Степан разглядел нехитрую механику. По ильменю к затону тянулась узкая и глубокая протока. Выход ее замаскировали камышом, пристроенным на легком дощатом плотике. Стоило отвести его в сторону — и открывалась укромная лазейка.

Провели Одинцова, облапошили, как малого дитятю. Степан еще удивлялся, почему в затоне течение. Не мог, глупая башка, сообразить, что если вода утекает, то она должна и откуда-то притекать. «Фильтрация через ильмень,— вспомнилось собственное объяснение.— Надо же было такое придумать! Чесать левой ногой правое ухо, вместо того чтобы осмотреть как следует камыши».

Узкая и извилистая поначалу жилка метров через двести выпрямилась. На браконьерской посудине взвыли на полном газу моторы, и она стала уходить от катера инспектора. Степан снова выстрелил в воздух, но на новое предупреждение не обратили внимания. Можно было, конечно, положить пистолет на согнутую руку, прицелиться получше и всадить в рулевого свинцовую дулю. Но инструкция разрешала применять оружие только в случаях... В общем, такой случай она не предусматривала.

Мотор катера выл на предельной ноте. Неслись мимо путаные камыши, и ошалело сыпались в воду насмерть перепуганные лягушки.

Жилка становилась шире и просторнее. Судя по направлению, она выходила на реку, к судоходному фарватеру. Это успокоило Степана — на реке к инспектору придет помощь. Главное — не упустить этих субчиков из виду. Опытные, видать, сволочи, могут опять в какую-нибудь тайную дыру сунуться. Места вокруг, похоже, знают, как собственные пальцы. Чужой так в здешних протоках и ериках не разберется...

Когда впереди открылась ширь реки, в стрекоте удирающей моторки вдруг что-то изменилось. Она рыскнула и стала забирать вправо, описывая широкий полукруг. «Подвеска сдала!» — обрадованно догадался Степан, приметив, как трое в плащах суетливо начали двигаться с места на место, пытаясь, видимо, выровнять ход.

Одинцов рванул напрямик, нагоняя браконьеров.

Глухой удар резко вздыбил катерок. Дно яростно заскрежетало, и высунулся в нем черный рог. Толчок выкинул Степана в реку. Холодная вода ожгла тело, забила рот, удушливо хлынула в горло и темным пологом сомкнулась над головой, увлекая в вязкую глубину.

Когда Степан вынырнул, он увидел уходящую вверх ровно и быстро моторку браконьеров и круто задранный нос катерка, тяжело осевшего кормой. По лицу текла кровь, солоновато ощущаясь на губах, нестерпимо саднило висок, и нельзя было двинуть правой рукой. Вывернутая в плече, она висела, тяжелая и чужая.

Кое-как Степан добрался до катерка, уцепился за искореженный борт и отдышался. Дно от носа до кормы было располосовано корягой. Мотор сорвался с болтов, накренился и завис над рваной пробоиной.

«Навели»,— догадался Степан. Снова объегорили инспектора браконьеры. Нарочно приглушив один подвесной мотор, они объехали коряги на выходе в реку, а Одинцов очертя голову ринулся напрямик.

Степан провел рукой по лицу, стирая кровь, которая липко выжималась из рассеченного виска. Правая рука залубенела, наливалась болью. Пистолет выскользнул из-под ватника и ушел в воду.

Катерок едва удерживался на коряге. Осевшая корма с тяжелым мотором при первой же подходящей волне могла стянуть искалеченное суденышко с ненадежной опоры.

Судоходный фарватер пролегал в добром километре у противоположного берега. Ни с пароходов, ни с проходящих по реке буксиров не заметят разбитого инспекторского катерка, возвышающегося над водой всего на десяток сантиметров. И Одинцова, барахтающегося возле него, тоже не увидят. И крика его никто не услышит.

С другой стороны колыхались камыши Икрянинского затона. Топь и ни одной живой души на десяток километров. С вывихнутой рукой топь не одолеешь и реку не переплывешь.

Вдобавок ко всему в животе сосуще заныло. От холодной воды подкатывала проклятая хвороба. Еще немного — и она заставит Степана корчиться как червяка, насаженного на крючок, лишит последних сил. Если приступ разыграется по-настоящему, конец инспектору Одинцову. Гроб ему с покрышкой...

Вспомнилось маячинское кладбище. Унылое и пустое. С голыми холмиками могил на склоне иссушенного солнцем бугра. Ни дерева, ни куста, ни единого цветочка не было у могил. Торчали лишь темные и тяжелые кресты, сработанные электросваркой из железных труб. Пыльный ветер сиротливо и надоедливо бренчал на крестах жестяными, поржавевшими венками, обвитыми истрепанными матерчатыми лентами.

Стучали, словно в лихорадке, зубы, и стук их не было сил сдержать. Пугающий холодок неотвратимо подкатывал к груди, где загнанно тукало сердце. В глазах наплывала красноватая, в дымчатых разводах, пелена.

Совсем уже ободнилось. Солнце величаво поднималось над степью. Лучи его били Степану в лицо. Повернуться, уйти от них он не мог, принимая напоследок и эту неожиданную казнь. В ушах попискивали невидимые комарики, и с каждой минутой их писк становился нестерпимее. Боль из левой половины живота перебралась на поясницу, растекаясь по телу, как вода из опрокинутого кувшина. Степан кусал губы, елозил о борт окровавленной головой, отчаянно ворочал глазами по сторонам. Потом закричал, моля о помощи. В голосе не было силы. Крики, как в вате, терялись в камышах.

Неуклюжая бударка выползла из-за заворота так неожиданно, что Степан в первое мгновение подумал, не привиделось ли ему. Но это была не галлюцинация.

В бударке с заплатой на носу сидел человек в клетчатой ковбойке. Выписываясь на фоне светлого неба, он мерно греб, не примечая ни полузатопленного катерка, ни прильнувшего к нему инспектора Одинцова.

«Бреев... Это же моторист Бреев! Василий...»

— Помогите! — просительно и жалко крикнул Степан, рванулся, повыше высовываясь из воды.— Бреев!.. Спаси!

Моторист крутнулся в лодке, разогнал волны на воде.

— Скорей!.. Чего ты там! — заорал Степан, ощущая, как катерок, тронутый волнами, начал медленно сползать с коряги.

— Помоги!.. Васи-ли-й!..

Бреев нагнулся, по-стариковски сгорбатив спину, и принялся что-то суетливо перебирать на дне бударки.

«Снасть хоронит и садок с рыбой»,— горько сообразил инспектор. Сначала улики в реку выбросит, место обозначит, а потом уже спасать начнет... А может быть, и не подъедет Бреев к погибающему инспектору. Вспомнит штраф, товарищеский суд и завернет за камыши. Ничего, мол, не видел и слышать ничего не слыхивал.

Перед Степаном вдруг обреченно, сгустившись в тугой ком, провернулась вся его не очень сложившаяся жизнь. Встала перед глазами ласковая и тихая Аннушка, накрепко верившая, что самое главное в человеке — доброта, честность и отзывчивость. Вот как обернулась Степану ее чистая вера... Перед памятью жены он в меру своих сил старался быть и добрым, и честным, и отзывчивым, понимая, что за это тоже нужно платить.

Он ослабил руку и опустил голову, чтобы не смотреть на суетящегося в бударке крепкоспинного моториста Бреева. Детину, ростом с осокорь.

Воля к жизни истаивала, как льдинка на солнечном припеке, перед этим последним ударом судьбы.

В эту минуту Бреев выпрямился в бударке и часто замахал веслами.

Потом бударка шла по реке. Зябко кутаясь в просторный ватник машиниста и баюкая боль в животе, Степан рассказывал о встрече на затоне. Морщился, облизывал сохнущие губы, с усилием выталкивал из себя слова и смотрел на дно бударки, где под спутанной накидушкой

лежал «незаконник» -- маломерок осетр, добытый Бреевым в ночной поездке.

Когда показались плоские, уютно смотрящиеся в воду дома Маячинки, моторист хмуро спросил:

— Протокол будешь на меня составлять, Степан Андреевич?

Одинцов поглядел на спасителя, тронул висок, где коростой спеклась темная кровь и вздохнул.

— Составлю, Василий... Ты не сердись на меня — составлю.

В крутом отмахе Бреев неловко задел веслом воду и вскинул над бортом тучу брызг, в которых солнце полыхнуло короткой, как молния, радугой.

— Понимаю,— негромко откликнулся он, пристально вглядываясь в Одинцова, словно впервые увидел его.— Шило ты!.. Шило и есть... Штрафу хоть много не наваливай. За того осетра я еще не рассчитался.

— Много не навалю,— пообещал Степан и переложил правую руку, пухнущую в плече.— Кто в той моторке был? Ты же видел ее на реке.

Глаза Бреева налились тусклым свинцовым блеском зрачков и скулы с крепкой кожей взбугрились желваками.

«Не скажет,— горьковато подумал Степан.— Нипочем не скажет... Все они друг дружку покрывают...»

— Панышева моторка,— осевшим голосом заговорил Бреев, косясь на вывихнутую руку инспектора.— Из города он. Второго не разглядел. А на руле был маячинский.

— Маячинский?

— Наш бухгалтер... Фильченков.

— Валентин Павлович?

— Он самый, гладкая морда. Он коноводит в компании этих хищников. Ты, инспектор, их не жалей. У тебя характера хватит... Он меня тогда сетью выручил... Помнишь, которую ты у дебаркадера конфисковал?

— Помню,— кивнул Одинцов, осознавая, что Бреев говорит трудную правду. Теперь ему было ясно, почему показалась знакомой спина рулевого в удирающей по протоке бударке, понятно, над какими балансами трудился по ночам степенный и обходительный Фильченков. Лиса этакая, змей корыстливый!..

— Стребовал с меня за сеть столько, что я теперь на полгода в долгах увяз,— негромко продолжал Василий.— Не жалей этого гада.

Степан выискал в приближающейся Маячинке дом Фильченкова. Просторный с четырехскатной крышей, блестевшей оцинкованным железом. «Крыша у нас примета верная»,— вспомнились слова Шерстобитова, сказанные на товарищеском суде, видно, со значением, которого инспектор не понял.

— Да уж не пожалею... За сегодняшнее ему расчет сполна устрою.

— Доказать еще нужно, Степан Андреевич. Ушла ведь моторка. А не пойман — не вор, есть такая присказка.

— Докажу, Василий. Наследили они столько, что докажу. Тебя возьму в свидетели. Или не пойдешь? Скажешь, что ничего не видел.

— Вот хрясну тебе веслом по кумполу, инспектор,— озлился Бреев.— И так у меня душа не на месте, а ты еще и норовишь ковырнуть. Шило ты, как есть шило.

Неоконченный рейс

(Рассказ)

Возиться с корреспондентом, нагрянувшим в жаркое время путины, директору рыбоводного хозяйства не хотелось. Он покрутил в руках редакционное удостоверение Ивашина, кинул в трубку надоедливо звонящего телефона: «Сейчас!.. Да сейчас же!..» — и взгляд его убежал в угол.

— Чего я буду вас за ручку по хозяйству водить? — сказал он добрым голосом.— Завтра «Жерех», наш буксир, пойдет на тоню брать производителей. Прокатитесь, путину своими глазами поглядите... Погодка стоит что надо. Совместите, так сказать, полезное с приятным.

Круглые глаза директора хитровато прижмурились. Как у кота, знающего повадки сутолочного мышиного племени и потому положившего для себя зря не утруждаться.

— Два дня туда, три обратно...

Ивашин шевельнулся на стуле, пытаясь сообразить, каким образом директор прознал, что его командировка кончается ровно через пять дней.

— Может, вас цифры интересуют? — уловив замешательство гостя, спросил директор, и в голосе его прорезались царапающие нотки.— Можем и цифры представить. Хоть за пять лет отчеты выложим. По первичным документам все посмотрите. Динамику роста, проценты выполнения...

Услышав про «первичные документы», Игорь понял, что так именно и будет — за пять лет. Пуда три пыльных папок и в придачу бухгалтер в сатиновых нарукавниках, который станет толковать про баланс, сальдо, акцепты и дебеты. В этих мудрых словах Ивашин, кончивший всего два года назад факультет журналистики, смыслил не

очень, а кроме того, преподаватели и нынешний редактор его наставляли, что писать надо о людях. Для себя же Игорь сделал уточнение — о молодых людях, о тех, за кем будущее.

Он поглядел на осетренков и севрюжат, запломбированных в стеклянных банках, подумал, что они похожи на крохотных крокодильчиков, и сказал, что поедет на «Жерехе».

Директор облегченно отдулся, снова поднял трубку набатно трезвонившего телефона, сказал, что выходит.

— Шандоры на магистральном канале надо срочно ремонтировать, а плотник на сестрину свадьбу укатил. Не люди, а настоящие изверги,— рассказывал директор, на ходу надевая мятый пиджак.— Приспичило в путину жениться. Времени у них другого нет. Теперь хоть сам за топор берись...

«Жерех» оказался сорокасильным приземистым суденышком с прямым, будто обрубленным носом, с красной полосой на тощей трубе и широкой округлой кормой, где были сложены бухты троса, бочки, багры и черные, тяжелые цепи. Над выступом машинного отделения с зарешеченными кругами иллюминаторов возвышалась буксирная дуга. За ней вделанный в корпус гак — кованый крюк для крепления буксира.

На палубе был устоявшийся запах рыбы, истертых канатов, мазута, крашеного железа и вешней речной воды, отдающей сырым, подвальным холодом.

Капитан «Жереха» Иван Трофимович Усик встретил корреспондента без энтузиазма.

— К нам, значит, начальство сбагрило,— с грубоватой откровенностью сказал он, сонно моргнул маленькими глазами и почесал пальцем лысую голову, похожую формой и цветом на перезрелый огурец, что рачительные хозяйки оставляют на грядках семенниками.— Интересного у нас ничего не высмотрите. Вода и рыба — вот все наши картинки. Разносолов на котле тоже не держим. Одним словом, житье не разлюли малина.

Ивашин слушал капитана и пытался угадать его возраст. Усику можно было дать и тридцать лет и пятьдесят. Пропеченное, выдубленное до густой коричневости ветром, слепящим солнцем, влажным дыханием реки,

лицо капитана с приплюснутым по-утиному носом, прочно законсервировалось на какой-то непонятной возрастной отметке. Манера без нужды скрести возле уха согнутым пальцем и смотреть при разговоре мимо собеседника делали эту задачу неразрешимой.

— А так — прокатитесь... Места на буксире хватит... Василий, отдай чалку!

Молодой матрос в опрятной ковбойке и расклешенных джинсах с фирменной нашлепкой «Милтонс» пробежал, как циркач по проволоке, по узенькой кромке фальшборта, легко перемахнул на пристань и скинул с кнехта петлю причального троса.

— Вперед помалу! — негромко скомандовал капитан в раструб переговорной трубы.

Рейс начался. «Жерех» должен был отвести на тоню порожние прорези — пузатые плавучие садки с продольными щелями в корпусе и воздушными отсеками на корме и на носу. В прорези приемщики рыбоводного хозяйства берут на тонях производителей судака, сазана и «красной» рыбы — севрюг, осетров и белуг.

Обратным рейсом «Жереху» предстояло доставить в хозяйство этот живой, деликатный груз.

Майское слепящее солнце удушливо колыхалось в синем, промытом и вычищенном до блеска небе. На просторной воде, рябеющей от ровного ветра, переливались мириады ослепительных зайчиков, от которых ломило глаза. Солнце припекало голову и плечи, а ноги стыли в сырой прохладе реки, не прогревшейся еще после паводка. На разливах мокли косматые, с корявыми стволами ветлы. Переливались зелеными волнами камыши в неоглядных ильменях. Ветер отгонял жару к плоским берегам. На их иссушенных склонах темнели промоины от коротких, буйных весенних дождей и лепились сизые лоскуты перекати-поля, неведомо как набравшего угрюмую силу на растрескавшейся, пропеченной солнцем, словно сковороде, глине.

Из четырех человек, составлявших команду «Жереха», появлению Ивашина обрадовался лишь молодой матрос в опрятной ковбойке. Через час Игорь разговаривал с Василием Бабичевым, как со старым знакомым.

Матрос спросил Ивашина, читал ли он книгу «Огонь в полночном океане». Игорь напряг память, но вынужден был признаться, что такой книги не читал.

— Мировая книженция,— похвалил Василий неизвестное Ивашину произведение литературы.— Про Героя Советского Союза капитана Гаджиева. На его подводную лодку наскочил эсминец и три катера. Начали, заразы, глушить ребят глубинными бомбами, а Гаджиев всплыл и — бенц! — одной пушечкой раздолбал фашистов на макароны. Вот это мужик. С таким куда хочешь люди пойдут...

Бабичев покосился на капитанскую рубку, где Усик неспешно крутил штурвал, и Игорь мысленно согласился, что капитан «Жереха» не походит на героического Гаджиева и только жизненные обстоятельства вынуждают людей состоять под его командой.

— Мой родной дядя, главстаршина Бабичев Петр Михайлович плавал на подводной лодке у Гаджиева... Не вернулись они. Ушли на задание и не возвратились на базу.

Матрос посуровел и уставился на широкую воду задумавшимися глазами. Ивашин видел его профиль с крутым, четко прописанным лбом и чуть тяжеловатым подбородком, на котором темнел косой шрам, оставшийся, наверное, еще от мальчишеских драк. Взгляд карих, опушенных по-девичьи густыми ресницами, глаз был строг и прям. Василий Бабичев думал сейчас о собственном дяде. Он знал его по рассказам старших.

— Мать говорит, что я на своего дядьку похож. Вылитый, говорит, в него...

Василий подобрался телом и просторнее развернул прямые плечи. Наверное, чтобы Игорь мог высмотреть в нем сходство с неведомым главстаршиной, погибшим в далеком Баренцевом море задолго до того, как нынешний матрос «Жереха» впервые пискнул в родильном доме.

Это простодушное желание Василия тоже понравилось Игорю. Он внимательно пригляделся к новому знакомому и приметил в нем ту особую ладность в одежде, которая по его убеждению присуща только настоящим морякам.

Капитан буксира носил стоптанные кирзачи с вытертыми голенищами, усатый механик явно пенсионного возраста щеголял в заплатанных кедах с обрывками шнурков. У Василия же ботинки сияли чуть не лаковым блеском и закатанные рукава обыкновенной ковбойки выгод-

но оттеняли мускулистые, отличного рисунка загорелые руки с тонкими и сильными запястьями.

На палубе буксира, выбитой подковами рыбацких сапог, замусоренной скорлупами сухой чешуи, испятнанной мазутом и подтеками битума, выдавленного из пазов жарким солнцем, ботинки Василия сверкали, как укор любой неряшливости. Игорь невольно подобрал ноги, чтобы его кожимитовые туристические вездеходы, ободранные на носах, оказались подальше.

Василий приметил движение и снисходительно улыбнулся.

— У подводников порядочки строгие... И корабль, и оружие, и роба — все чтобы как стеклышко. Капитан Гаджиев по высшей марке требовал.

Ивашин ощутил тебя законченным неряхой.

— Жили люди в то время! Бой, канонада, жизнь или смерть. Один на один выходили, ни бога, ни черта не боялись. А теперь?

— Теперь тоже есть. И бои, и канонады, и схватки. Называется все это по-другому.

— Понимаю — трудовые подвиги. Так это ведь БАМ, Антарктида... Целину вон ребята покоряли. Мосты через реки строят, тоннели проходят. Читаешь газеты — и завидно иной раз становится.

— Можно не только завидовать...

— Мать у меня сильно болеет,— признался Василий.— Одну оставить нельзя. А то бы я уже давно с этого корыта смотался. Махнул бы на китобойный или к Таймыру подался, к нефтяникам... Здесь разве работа? Посудины со снулыми судаками волочим, чтобы они провалились!

— С начала сезона тридцать восьмой рейс. До осени сотни две отшлепаем, а с будущего года начинай сначала. План, конечно, перевыполняем. Товарищ Усик ради прогрессивки будет в зубах с тони носить производителей. Своего пятака не упустит.

Матрос снова покосился на капитанскую будку, где Иван Трофимович крутил штурвал, делал отмашки встречным судам и подавал негромкие команды в машинное отделение.

— Василий, проверь буксир!

Бабичев быстро прошел на корму.

— Порядок, Иван Трофимович,— возвратившись, доложил он капитану, вынул из заднего кармана аккуратно свернутую бархотку и смахнул пыль с начищенных ботинок.

— Ты бы еще маникюром занялся! — ворчливо крикнул Усик, высунув из рубки огуречную голову, увенчанную зеленым беретом с помпончиком на макушке.— На вахте стоишь, за делом глядеть полагается. Кранцы переберн!

— Послал бог кэпа на мою голову,— вздохнул Василий.— Сам зачуханный, на неделе раз бреется и хочет, чтобы другие тоже коростой обросли. Капитанит неплохо, а нуда, каких не придумаешь. И пилит, и пилит с утра до вечера. То ему не так, то ему не этак.

Василий выщелкнул за борт окурок сигареты и громко ответил в сторону капитанской рубки.

— Есть перебрать кранцы!

Повернулся к Ивашину и добавил:

— Разве это работа? Я такое дело люблю, чтобы на сто километров звенело. Ничего, еще два годика осталось терпеть.

— А потом?

— Институт заочный кончу, синие корочки с гербом в карман положу и займусь настоящим делом.

— Где вы учитесь?

— Да так, потихоньку грызу гранит... Третий курс юридического.

— Шерлоком Холмсом решили стать?

— Нет. Буду специализироваться в другой области... Морское право. Тайм-чартер, чертепартия, коносамент. Вы, наверное, таких слов и не слышали. Поинтереснее, чем разбираться, кто ломиком замок у пивного ларька своротил. И опять же море. Какой-нибудь крупный порт, корабли. А я водичку люблю. На ней родился и вырос.

Насчет того, что на буксире разносолов не держат, капитан Усик оказался не совсем точен. Часа через три хода «Жерех» вдруг круто повернул к берегу, где у стены камышей жалась остроносая рыбацкая бударка. Приметив маневр буксира, на ней замахали веслами и двинулись навстречу.

— Василий, прими чалку!

После того как полчаса прошли обратным курсом, у дебаркадера рыбной приемки была получена плата за

подтаску. С бударки на палубу шлепнулся увесистый, килограмма на три, темноспинный язь, отливающий золотом на сытых боках, и пара плотненьких сазанов.

— Заработали обед,— подмигнул Ивашину матрос, деловито осматривая рыбу.— Подходящая... Позавчера один паразит тухлятину кинул. Десять километров его, гада, против течения тащили, а он снулого судака всучил. Сейчас будет уху соображать. Нашу, двойную, рыбацкую.

В объемистом чугунке сначала был отварен язь, затем туда кинули пригоршню картошки, лавровый лист, щепоть перца и свалили распотрошенных сазанов.

Обедать расположились на полубаке под выгоревшим до белизны тентом, мягко хлюпающим под ветром. Хлеб был нарезан увесистыми ломтями, соль подана в консервной банке крупная, сизо отливающая крупитчатым блеском. На выскобленной доске покорно лежал язь, уставив белые, как фарфоровые шарики, незрячие глаза. Когда была снята крышка с чугунка, на буксире потянуло ароматным запахом свежей рыбы, терпкого дымка и влажного ветра, явно способствующих аппетиту.

Уха была отменной. Густо подернутая янтарными блестками жира, она обжигала рот и мягкой тяжестью укладывалась в желудке.

Ивашин поставил бутылку коньяка, прихваченную в рейс, и холодок равнодушия между ним и командой дал заметную трещину. Стопка коньяка прошла у Игоря как глоток газированной воды. Нерасчетливо выхлебав до дна алюминиевую миску, он уже с некоторой робостью поглядывал на распластанного язя.

После обеда капитан Усик принялся пытать гостя осторожными вопросами, сопровождая каждый из них оговоркой, что человек он простой и, может, кое-что недопонимает и потому хочет получить от столичного товарища полную ясность. Он дотошно выспрашивал о пенсиях, большое ли вышло повышение и будут ли дальше прибавлять, о парагвайском диктаторе, о палестинцах, о событиях в Ольстере и лазерных лучах, которыми вроде приспособились палить людей.

Игорю хотелось растянуться под тентом и бездумно глядеть на низменный, в свежей зелени, берег, неспешно проплывающий мимо. Тем более что о парагвайском дик-

таторе он знал не больше, чем о жизни на Марсе, и прибавками к пенсиям по молодому возрасту интересовался весьма поверхностно.

Ивашин выкручивался, как мог. Покалывая его шильцами маленьких глаз, в которых теперь вместо сонного равнодушия светился интерес, Усик внимательно выслушивал ответы. Иногда молчал, задумчиво скреб пальцем возле уха. Иногда соглашался:

— Правильно. И у нас так люди говорят.

Василий с аппетитом доедал отварного язя. Аккуратно выбирая кости и выщипывая плавники, он уплетал один за другим сочные куски.

— Вкуснота, кто понимает,— сказал он сытым голосом и неторопливо вытер руки.— И польза большая от рыбы. Пишут, фосфору в ней много. А он для головы нужен. Особенно, когда у тебя сессия на носу.

— Скоро останемся без фосфора,— усмехнулся Усик.— Браконьеры, сволочуги, ради лишнего рубля готовы собственными штанами всю живность из реки вычерпать.

— Я бы им собственноручно головы откручивал,— горячо поддержал капитана Бабичев.

— Тебе-то какая печаль? Кончишь свой институт и нацелишься подале, где бифштексами кормят. Это нам с Максимычем о рыбешке нужно печалиться. Мы на ней с рождения стоим и до конца дней стоять будем.

— Сидите вы с Максимычем на рыбе,— перебил капитана Василий.— Мало сидите — норовите брюхом лечь. Дома под шифером наживаете, заборами огораживаетесь, в шантельках с кумовьями чаи распиваете.

— Укоротил бы язык, Василий. Говорено уже было о том не раз...

Игорь догадался, что Бабичев продолжает с Усиком какой-то давний спор. В этом споре, судя по тому что говорил молодой матрос, Игорь был на его стороне.

— Мохом обросли. Шуршите, как тараканы за печкой, а вокруг такая жизнь идет. Газету раскроешь — голова кружится, героическая мечта тебя от земли поднимает... Нет, я на здешней канаве всю жизнь болтаться не намерен.

— На полюс, что ли, двинешься? — усмехнулся механик.— Гляди, Василий, поморозишь там мягкое место.

— Он в кабинет сядет, с центральным отоплением и

еще чтобы секретарша была,— добавил Усик.— Героически мечтать, конечно, хорошо. Только надо кому-то и не героическую работу справлять... Самолучший на земле тот край, где ты человеком сделался. Так я, лично, понимаю.

Капитан снова встал за руль и принялся негромко понукать старательного «Жереха» в раструб переговорного аппарата.

Разбегались от носа волны, журчала вдоль бортов мутная, в сизых нефтяных подтеках вода, тянулся и таял за кормой взбулгаченный винтами след. Под кручами, где река завивала воронки, грузные прорези сбивались в сторону. Натягивался струной, жалобно скрипел буксирный трос. «Жерех» вздрагивал, вилял кормой, напрягался и осиливал сопротивление реки.

Вечером капитан Усик снова показал характер. Высмотрев под бухтой троса драчовую пилу, красную от свежей ржавчины, он устроил Бабичеву разнос.

— Из-за паршивой железки, Иван Трофимович, вы готовы человека со свету сжить,— в сердцах сказал Василий, оттирая тряпкой, смоченной в солярке, ржавчину на пиле.— Шваркнуть ее за борт, и все дело. Из-за чепуховины людей грызете.

— Люди эту чепуховину делали, а ты ее — за борт. Я, Василий, выше всего труд человеческий уважаю. В следующий раз такое замечу, из твоей зарплаты вычту!

— По какому же праву вы из моей зарплаты будете вычитать? — вскинулся Василий.— Я законы знаю. Трудовое право от корки до корки проштудировал. Ни копейки вам у меня не вывернуть. При социализме живу. Советский закон защищает трудящихся от произвола.

Вечером, когда Ивашин и Бабичев, расстелив на полубаке брезент, улеглись спать на вольном воздухе, Василий вспомнил недавнюю стычку с капитаном.

— Завтра часов в пять поднимет... Правительство установило семичасовой рабочий день, а тут вкалываешь от темна до темна и никакой тебе благодарности. Еще грозят из зарплаты вычитать... Человек социалистического общества должен всесторонне развиваться, образование повышать, а тут часу лишнего не выкроишь, чтобы в учебник перед сессией заглянуть.

— Полагаются ведь отгулы за переработку.

— Полагаются. Только их у нашего кэпа ни за какие коврижки не получишь. Сам не гам и другим не дам. Копит товарищ Усик переработку для буренки.

— Для какой буренки?

— Обыкновенной, с хвостом и рогами. Соберет отгулы к покосу и ишачит по ильменям от зари до зари, корм запасает. В магазинах молока хоть залейся, а ему непременно требуется персональная буренка. Он же хозяйство развел, как у мелкопоместного дворянина... Корова, телок, два кабанчика, гуси, курей десятка два...

— А у вас есть кто-нибудь?

— Надумала мать весной козу покупать, но я так ее шуганул, что в один момент эта затея кончилась. Мы, говорю, в данный момент всем обществом в коммунизм шагаем. Ты что, туда и козу на веревке потащишь? Читала, говорю, какие кругом животноводческие комплексы строят на началах сплошной индустриализации?.. Обидно ей, видите, что у соседей хозяйства, а у нас по двору одна кошка гуляет. Неловко ей в магазине молоко покупать, бабы над ней подсмеиваются. Одним словом, отсталая психология. Этот рейс сплаваю и выбью у кэпа отгулы. Конечно, к сессии я еще с зимы подготовился, но сейчас полагается все повторить, методист советует.

Ивашин подумал, что методист советует правильно. Но если в путину Бабичев начнет следовать его советам, несознательная рыба скатится в море, и хозяйство останется без производителей.

Разбудило Игоря солнце. Багровый, каленого кирпича шар вылез из-за стены камышей и озорно ударил в лицо косыми яркими лучами. Игорь перевернулся на другой бок, но и там его настигло неугомонное солнце, брызнув в глаза отсветами в стеклах капитанской рубки. Сообразив, что никуда не денешься от ликующего во всю ширь пригожего утра, Ивашин сел и закурил сигарету, чтобы поскорее прогнать остатки сладкого сна на полубаке.

Иван Трофимович сдал вахту помощнику, обошел судно, потрогал буксир и уселся покурить рядом с Игорем.

— Сны, наверное, Василий досматривает,— сказал капитан, кивнув на Бабичева, просторно разметавшегося

по брезенту. Матрос посапывал, чмокал губами и морщил лоб. Наверное, ему грезились голубые океанские просторы, шумные порты, коносаменты и тайм-чартеры. А может, он просто ссорился с Усиком, выбивая у него честно заработанные отгулы...

— К вечеру на тоне будем. Там быстро управимся, и обратно. Скучно вам у нас. Я же говорил, что ничего интересного не будет. Вам ведь подавай героические случаи. А у нас тихо. Нормально работаем, без героических случаев.

Вглядевшись пристальнее в лицо Усика, Игорь сообразил, что капитан «Жереха» все-таки не стар. Кожу на его лице выдубили не прожитые годы, а работа на ветре, на солнце, на стуже, на воде.

— Не люблю я этих самых случаев,— говорил Иван Трофимович, потягивая сигарету и оглядывая широкую реку глазами, в которых снова стыло успокоенное и сонное выражение.—Я недомерком еще матросить начал. Отца в сорок пятом под Прагой убили, нас у матери четверо осталось, и я в двенадцать лет за старшего... Война в разное время для каждого кончилась. Один в День Победы отвоевался, а мне еще десятка полтора лет пришлось сражаться, пока всех на ноги не поставил. Время тогда было крутое, голодное. Это теперь — получил зарплату, топай в магазин, и никаких тебе заботушек. Тогда своим хозяйством держались, да еще рекой. Добрая у нас река, хорошая. Прикипел я душой к ней сызмальства так, что бульдозером отсюда не сдвинешь. Сына тоже хочу речником сделать. Мал он еще, третий класс кончил, а у отца хитрая думка есть.

Ивашин слушал капитана и думал, что хитрой думкой Усик будет привязывать сына не только к реке, но и к гусям, боровкам и корове, что разгуливают у него по двору, огороженному наверняка прочным забором.

— Поднимать надо студента... Не толкнешь, до обеда продрыхнет. Спит так, будто на пожарника экзамен сдает... Отец его у нас капитанил, да восемь лет назад беда случилась, и погиб мужик. Мать пенсию получает. Справно живут, в чистых туфлях с малолетства ходить приучен. Не пошел парень по батьковой тропочке... Вставай, Василий! Пора приборку делать.

Пока матрос протирал глаза и потягивался, Усик дал указание по приборке, не забыв упомянуть и о ржавчине

на якорной цепи, и о краске, содранной на борту при швартовке, и о лопнувшем причальном тросе, который надо было срастить.

— Слыхали? — сказал Василий, когда капитан ушел отдыхать.— За двое суток не управиться... Ладно, дома он на собственном хозяйстве спину дугой гнет. Но здесь-то зачем ему вытягиваться. Трос же новый можно со склада выписать. Будто наше государство жлоб, будто у него лишней бухты троса не найдется. Половине мира помогаем, а он на паршивой веревке экономию наводит... Знает же, что мне еще надо три предмета повторить, а наваливает и наваливает работу. Ему хоть воду толки, а чтобы без работы никто не сидел. Дождется, со своими замашками, что ему опять в прорези пролом устроят.

— Какой пролом?

— Вставили прошлую путину нашему кэпу фитиль,— засмеялся Василий.— До сих пор по исполнительному листу платит.

— За что же?

— Виноватого не нашли, и пришлось Усику, как материально ответственному лицу, собственными денежками отдуваться. Какой-то тип у груженой прорези борт потихоньку проломил. Пока мы прорезь буксировали, чуть не половина рыбы в пролом ушла. У нас народ крутой, его до крайности доводить нельзя, а наш кэп всюду нос сует. Браконьеры ему, например, не по нраву. И мне эти хапуги поперек горла. Но на такое дело есть же рыбная инспекция. Наш Иван Трофимович хочет быть святее папы римского.

На тоне управились быстро. Сдали порожняк, завели буксир на груженые прорези, поели ухи, досыта запили ее зеленым калмыцким чаем и отправились в обратный путь.

Снова рокотал мотор и вздымались под носом буруны. Теперь, когда шли с грузом и против течения, берега тянулись невыносимо медленно, и иной раз часами надоедливо маячил какой-нибудь матерый карагач, стоящий на береговом угоре.

К ночи пал ветер, развел на реке волны и притащил тучи, просыпавшие мелкий, как пыль, надоедливый

дождь. С полубака пришлось убраться в тесный кубрик, душно пропахший соляркой. Койка оказалась коротка, и Игорь всю ночь проворочался почти без сна, слушал, как сердито плещут за железной стенкой борта разыгравшиеся волны, покрикивает в переговорную трубку капитан Усик и по-звериному тоскливо воют ревуны встречных судов.

Едва в иллюминаторы пробился рассвет, Ивашин вышел на палубу и поежился от промозглого ветра.

— Идите в рубку, Игорь Петрович! — пригласил капитан.— Вишь, как распогодило. Прорези течением сносит, а тут еще волна расходилась. Лопнет буксир, хлопот не оберешься.

Иван Трофимович сноровисто крутил штурвал, и глаза его посверкивали остро и зорко, вглядываясь в ненастную пелену, закутавшую реку. Навстречу то и дело выплывали размытые силуэты буксиров, за которыми темнели громадины груженых барж и тупоносых плашкоутов, возникали белесые призраки быстроходных пассажирских теплоходов, совались чуть не под нос тени вертких баркасов. «Метеор», выскочивший из туманной пелены, пролетел всего метрах в пяти от прорезей.

— Куда тебя черт несет! — испуганно крикнул Усик, поспешно перекладывая руль, чтобы держаться поближе к берегу со своими неповоротливыми прорезями.

Пугающе выли сирены, мигали тусклые огни бакенов, трепыхались едва различимые флаги отмашек. Кисель дождя лишал видимости. Иван Трофимович, наверное, не глазами, а чутьем угадывал фарватер, примечал тревожные мигалки на мелях, буруны на перекатах и створные знаки.

— Огневку бы проскочить,— обеспокоенно сказал он.— Худое место... Мель на мели и заворот крутой. Ветром в корму ударит, прорези начнет мотать. В общем, гляди в оба на этой Огневке и оглядываться не забывай... Василий, как там у тебя!

— Чисто! — глухо, как из погреба, откликнулся матрос. Он сидел на носу впередсмотрящим, с головой укутавшись в брезентовый плащ, топорщившийся на сгибах.— Можно ходу прибавить! Плетемся, как черепахи! Давай полный, кэп!

— Ладно, не торопись... Прытко бегают, так часто падают!

На Огневке — широком мелководном разливе, порыв ветра сбил прорези и стал заносить их вправо, где белесой гривой вскипали буруны. Иван Трофимович приказал убавить буксирный трос и скомандовал полный ход. Корпус «Жереха» натужно задрожал, но ветер тащил прорези к бурунам.

— Прибавь еще, Максимыч!

Капитан не крикнул, как всегда, коротко и отрывисто, а сказал в медный раструб переговорной трубы напряженным, спотыкающимся голосом.

— Сколько можешь прибавь!

Дрожь корпуса стала гуще. Мотор заклокотал на самой высокой ноте, кидая горячую силу на поршни и шатуны.

Руки Ивана Трофимовича хватко уцепили штурвал и расчетливо начали выворачивать руль. Прорези удалось провести в нескольких метрах от наката, кипевшего на косой отмели.

Потом снова мотало из стороны в сторону, то угрожающе прижимало к берегу, то тянуло к предательским мелям.

Наконец, осилив стремнину вылетающей из-за поворота реки, «Жерех» оказался под защитой берега, подмытого половодьем до отвесной крутизны.

— Одолели вроде холерную Огневку!

Иван Трофимович стянул с головы берет, тыльной стороной ладони вытер пот со лба и попросил у Игоря закурить.

— Самое муторное место на реке. Довелось мне три года назад здесь на мели куковать. С неделю мытарились, пока на чистую воду выбрались... Теперь спокойнее пойдем. Может, еще к сроку и домой поспеем...

И тут произошло неожиданное. Сначала Ивашин ничего не понял в необычной тишине, свалившейся на буксир. Услышал шелест дождя на крыше рубки, свист ветра в такелаже, хлюпанье слабо закрепленного фала.

Потом сообразил, что не стучит мотор.

— Максимыч, что там у тебя! — крикнул капитан и торопливо вывернул руль так, что течение стало прибивать буксир к берегу.

— Что стряслось?

Дизель отчаянно взревел, оглушительно выстрелил кольцами синего дыма и снова замолчал.

В рубке было слышно, как внизу лязгает что-то металлическое и неразборчиво ругается механик.

— На винт намотали, не иначе,— упавшим голосом сказал Иван Трофимович и швырнул в окно недокуренную сигарету.

Зорко всматриваясь в приближающийся берег, капитан расчетливо и точно перебирал штурвал, целясь к матерому карагачу, высившемуся на кромке глинистого, в узких промоинах трехметрового откоса.

— Василий, чалку готовь!

Матрос сбил с головы островерхий капюшон и повернулся к рубке белым, испуганным лицом.

— Да поворачивайся же ты, гладкий черт! Приставать будем... Вон, к карачагу примеряйся!

Василий махом скинул неуклюжий дождевик, ухватил трос и застыл на носу, приготовившись к прыжку.

— Вот так, ладно... С кручи не сорвись!

— Не сорвусь, кэп... За меня не беспокойся! — с веселым азартом откликнулся матрос.

Едва буксир коснулся берега, Василий стремительным прыжком оказался на откосе и мгновенно закрепил трос за карагач.

Течение тут же прижало буксир и прорези к глинистому увалу.

— Приехали! — сердито сказал Усик и снова попросил у Игоря сигарету.— Прикатили, значит... Хорошо зацепиться успели, а то вынесло бы на Огневку — и беда была. За милую душу могли буксир гробануть и сами концы отдать. На воде живем, не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Василий-то, прямо олимпийский чемпион по прыжкам!

Потом собрались на корме, промокшие и злые, и ежась на ветру, стали соображать, что делать дальше.

Клокотала вода, била прорези, заплескивала на обрыв, подмывая глину. Рыжие клинья ее с глухим уханьем сваливались с кручи. Вода на мгновение мутнела, жадно заглатывала добычу и снова принималась наскакивать на вековую преграду берега.

Перегнувшись через борт, Усик минут десять шарил багром под кормой.

— Так и есть, намотали,— хмуро сказал он.— Развели в реке настоящую помойку, валим что попадет, а по-

том сами же и чухаемся... Верно говорят, что не плюй в колодец... В воду теперь надо лезть!

Седоусый Максимыч стеснительно засопел и отвернулся. Рыжеватый, узкогрудый помощник капитана откашлялся в кулак и собрался было уже шагнуть к борту, но Иван Трофимович остановил его.

— Ты, Андрей, в эту кашу не суйся. Будешь потом со своим радикулитом половину сезона бюллетенить.

Игорь был уверен, что как и полчаса назад, когда требовалось сделать рискованный прыжок с буксира на скользкую от дождя глинистую кручу, Бабичев сдернет опрятную на молниях куртку и решительно выйдет вперед. Но матрос смотрел куда-то в сторону и присвистывал сквозь губы, словно случившееся его совершенно не касалось.

— У Василия, значит, сессия на носу...

— Сессия, кэп. Воспаление легких схватить не имею права. И по охране труда не положено.

— Водолазов, что ли, дожидаться будем? Пока приедут, все наши производители будут вверх брюхом плавать.

— Давайте я нырну!

— Нет уж,— решительно воспротивился Усик предложению Игоря.— Не хватало гостя в воду сунуть. По всей реке смех пойдет...

Иван Трофимович расстегнул тесный в плечах, заношенный китель, скинул кирзачи и стянул через голову тельняшку. Тело капитана оказалось неожиданно белым, словно слепленным из тугого пшеничного теста. Заветренная до черноты голова и такие же кисти рук были чужие на этой белизне, будто отрезанными где-то и приклеенными к туловищу.

Иван Трофимович пристегнул к запястью ремешок финки, прошлепал босыми широкими ступнями по настилу палубы и, зябко прислонившись тощим животом к железному обводу кормы, медленно стал сползать в реку.

Весенний паводок нес с верховьев талое снеговое половодье. Солнце не успевало прогревать его, и вода в реке была обжигающе холодна. Едва ноги Ивана Трофимовича коснулись воды, тело его взялось на плечах и на груди знобкими пупырышками, кожа посинела и щетина на капитанском подбородке показалась Игорю много гуще. В глазах Усика, поднятых к мутному небу, сеюще-

му нескончаемый дождь, он увидел острое желание выбраться обратно.

— Водичка, мать ее за ногу! — клацая зубами, жалобно сказал Иван Трофимович, шумно вздохнул и с головой ушел в реку.

Остальные четверо свесились через борт, ожидая, когда капитан снова окажется на поверхности.

Сердце забухало в груди Игоря, словно ему вдруг стало тесно. Он, торопять, отсчитывал секунды. Насчитал уже порядочно, а Иван Трофимович так и не показывался. Холодок подползающего испуга стал разливаться в пальцах невольной дрожью.

В это мгновение, разорвав беспокойно ворочающуюся за кормой воду, показалась лысоватая голова. Желто-белая, как вымытая кость, с темными прядями жидких волос, прилипших к вискам. Иван Трофимович жадно глотнул воздух. На палубу полетел скользкий обрывок сети, и голова снова ушла под воду.

Так продолжалось пятнадцать немыслимо долгих минут, заставивших то неуютно поеживаться от страха, то облегченно вздыхать.

— Чего там кэп ковыряется? — услышал Игорь голос Бабичева.— Дело ведь пустяковое. Чиркнул бы финарем пару раз как следует — и порядок. А он целую обедню развел.

Ивашин сжал челюсти и удержался от комментария. За него высказался Максимыч.

— Заткни хлебальник! Ряха светится, как у бугая, а сам небось в эту обедню не сунулся.

— Мое дело палубное, дед. Чалку кидать, за буксиром следить. В остальном пусть разбираются те, кому положено. Не я же сеть на винт изловил.

— Еще и теории разводит! — снова вскипел механик.— Паразит ты, Васька! Культурный паразит. Из нынешней породы.

— Паразиты, дед, те, кто на шее у других сидят, а я собственными руками хлеб зарабатываю. Так что прошу без оскорблений!

Максимыч плюнул на палубу и отошел подальше от Бабичева. Матрос усмехнулся и недоуменно пожал плечами. Взять, мол, с механика нечего. Остарел дед, соображает лишь крутить до отупения гайки на дизеле, а в остальном не имеет никакого понятия.

Когда винт был освобожден, мы отвели Ивана Трофимовича в кубрик и щедро ливанули солярку в чугунную печь. У капитана были поседевшие от лютого озноба глаза, полоска закоченевших губ, белые, как бумага, ногти и маслянистые подтеки нефти на лице. Он, казалось, усох телом, утратил подвижность, сжался в клубок и не имеет сил расправить окоченевшие мышцы. Помощник с кряканьем растирал его шерстяной рукавицей. Усик тихо постанывал, тянул к печке руки, обжигающе хлебал из кружки крутой кипяток и дрожал.

— Вода прямо ледяная. Кукарекать нам здесь теперь, орелики. Ко всему прочему топляк под винт сунулся. Одна лопасть начисто срезана, а вторая погнута.

— То-то на Огневке ход был слабый,— откликнулся механик.— Я на полную железку прижал, а ты, Иван Трофимович, просишь еще добавить... Винт сменить недолго. Вот если втулка разболталась...

— Да уж, наверное, не уцелела твоя втулка, Максимыч,— невесело добавил капитан, к которому возвращалась возможность осмысленно воспринимать окружающее.— Придется к доку буксироваться. Там поднимем корму и починимся.

— Опять скажут, что литья нет,— вздохнул помощник, нагревая у печки шерстяную рукавицу.— Поворачивайся, Иван Трофимович, опять левым боком... Одна ругань в этом доке.

— Не говори,— вступился механик за неведомый Ивашину док.— Ругани, конечно, много, а где бы буксиры не ремонтировались, все равно в док приходят доделываться. Там один Павел Терентьевич Саламатин сто сот стоит. Доводку сделает так, что любо-дорого. Ему бы еще литья вдосталь.

— Прорези надо в хозяйство отправить, а потом уж ремонтироваться,—хмуро перебил Усик.— Заморим производителей, каши не расхлебаешь.

Прорези согласился отвести в хозяйство капитан проходящего мимо баркаса гидрографической службы.

— Крюк придется дать километров тридцать,— сказал молодой румяноликий капитан в щегольской мичманке с блестящим «крабом».—Начальство за такую инициативу погладит против шерсти.

— Понятно,— сухо ответил Усик и вытащил из кармана бумажку, сложенную крохотным красным квадратиком. Олег догадался, что это был капитанский НЗ, прихваченный в рейс.— Держи!

— Ты что мне суешь! — неожиданно писклявым, сорвавшимся голосом закричал капитан баркаса.— Ишь миллионер выискался! Ради червонца, думаешь, я твои зачуханные прорези поволоку? Сами здесь зубами будете щелкать...

— Прости, браток,— смущенно сказал Иван Трофимович, спрятал десятку.— Выйдем из ремонта — пузырек за мной.

— Это другой коленкор,— улыбнулся капитан и поправил фуражку.— Отбрешусь как-нибудь от начальства. Они ведь тоже человеки.

— Пассажира нашего прихвати,— попросил Иван Трофимович.— Из газеты приехал путину описывать, да вот на мель сел. Чего ему теперь по-пустому с нами хороводиться. В командировке он, срок кончается...

Игорь категорически отказался покинуть «Жерех», хотя понимал, что помочь ничем не может, а хлопот капитану прибавит.

— Чего ты будешь здесь собакам сено косить? — недоуменно спросил Иван Трофимович, выслушав сбивчивый отказ.— Максимыч наладится берегом в док, чтобы там все заранее приготовить. А мы с буксировкой управимся, как помогу пришлют...

— Я останусь с вами,— ответил Ивашин и ушел в кубрик, чтобы кончить бессмысленный, по его мнению, разговор.

Усик посмотрел вслед упрямому корреспонденту, поскреб пальцем возле уха и повернулся к матросу, сидевшему возле рубки.

— Ты, Василий, насчет отгулов спрашивал... Вот, значит, и подгадало время. Даю тебе полных четыре дня. Ясно?

— Расщедрился кэп, как к стенке приперло,— сказал матрос Ивашину, спустившись в кубрик.— Четыре дня! Мне, между прочим, для подготовки к сессии две недели законного отпуска полагается. Постановление есть. Пусть Усик хоть наизнанку вывернется, а две недели я тоже выколочу. В нашей конституции записано, что право на образование должно реально обеспечиваться.

Игорь молчал. Смотрел, как здоровенный парень укладывает в чемодан отутюженные рубашки, чесучовый китель с начищенными пуговицами, безразмерные носки и джинсы с желтой форменной нашлепкой «Милтонс».

— Книжечку «Огонь в полночном океане» я вам обязательно из дому привезу. Успеете до отъезда прочитать. В ней всего сорок восемь страниц. А что сейчас в Москве танцуют?

Игорь не выдержал. Забыв, что пребывает в ранге специального корреспондента, вышвырнул из кубрика уложенный чемодан с блестящими пряжками и, схватив Бабичева за рукав, повернул его к выходу.

Он думал, что Василий разозлится и даст сдачи. Но Бабичев лишь легко освободил рубашку из пятерни Ивашина.

— Некультурно обращаетесь, Игорь Петрович,— с усмешкой сказал он, недобро прищуривая красивые глаза.— За такие штучки можно вам дельце пришить, что не проглотите...

— Мотай отсюда!

— Спасибо скажите, что у меня характер добрый.

Отставив зад, обтянутый нарядными выходными брюками, Бабичев полез по трапу. У выхода из кубрика он оглянулся и добавил:

— Написать бумаженцию в редакцию, и вас как клопа придавят за рукоприкладство. Я законы знаю...

У Игоря потемнело в глазах. Но в это время рядом с начищенными ботинками появились на палубе рыжие косо стоптанные кирзачи, и это помогло усидеть на месте.

Шумела под берегом стремительная река. Бухали подмытые клинья глины. Ревели в тумане сирены проходящих судов.

Дождь стих. Облака уходили вверх, просторнее открывая землю, и к вечеру сквозь голубую проталину ударило солнце.

Содержание

ИБ 1053

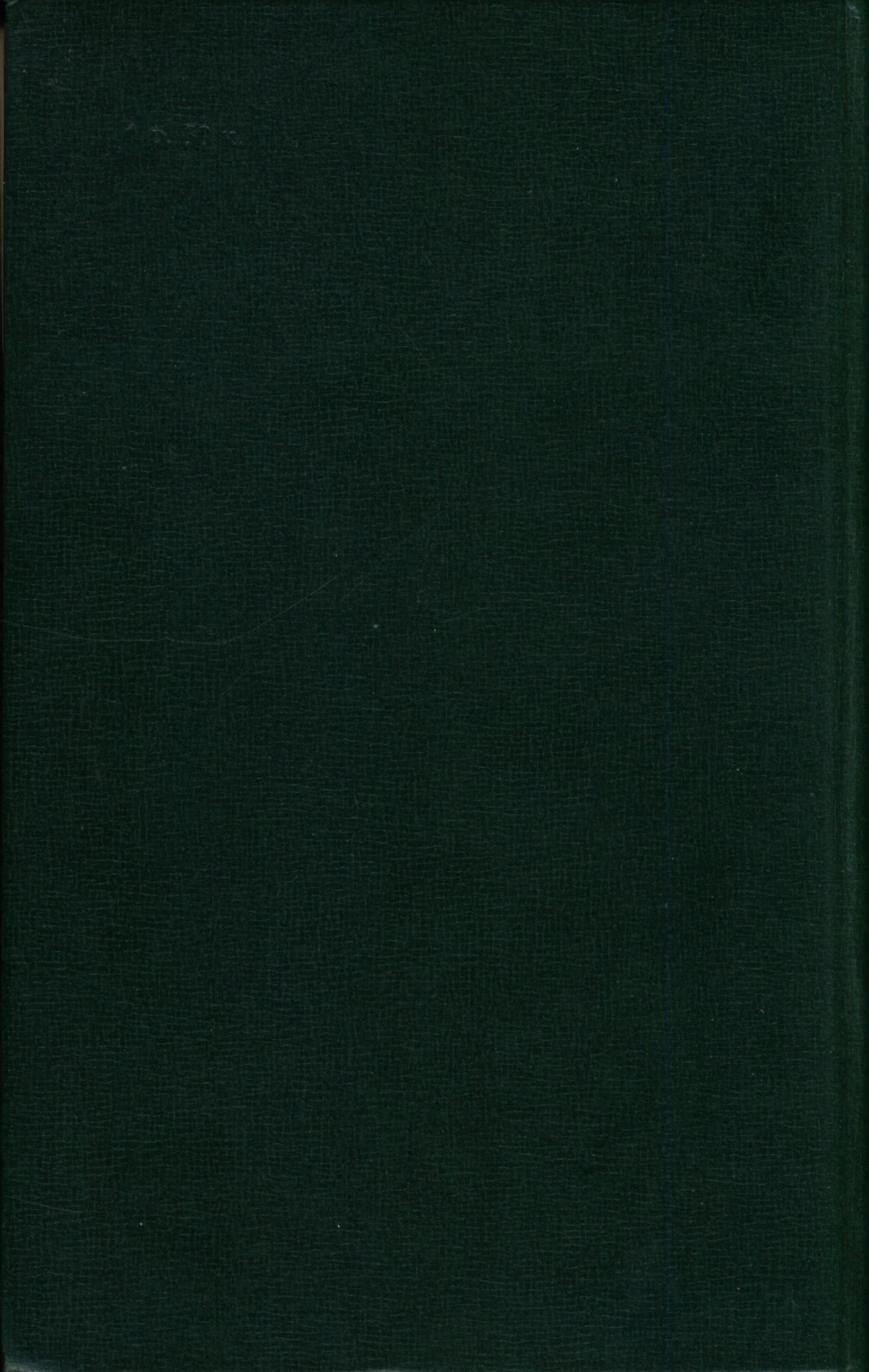
Михаил Иванович Барышев
ВОРОНИЙ МЫС
(Повести, рассказы)

Редактор **Г. Коледенкова**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **Л. Дунаева**
Корректоры **Н. Саммур, З. Князькова**

Сдано в набор 31/X—77 г. Подписано к печати 23/II—78 г. А09327. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 11,0. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 18,83. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1113. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова полиграфкомбинатом им. Я. Коласа Госкомиздата БССР. Минск, Красная, 23.



Михаил Барышев Вороний мыс